

*«Эта книга о любви, редкостной, героической и жертвенной. Но уникальность этой истории – в раскопке глубоких слоев памяти. Роман Ариадны Борисовой продолжает традиции Гросмана, Солженицына, Шаламова...»*

*Людмила Улицкая*



*Ариадна  
Борисова*

# Бел-горюч камень

**Ариадна Борисова**

**Бел-горюч камень**

*Посвящается семи народам, кровь которых  
течет во мне.*

© Борисова А., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014

# Часть первая

## Огокко<sup>[1]</sup>

### Глава 1

#### В третьей ссылке

Мария была русская, Хаим – еврей, оба родом из Клайпеды, откуда русских повымело за несколько месяцев до Первой мировой войны, а евреев – за два года до Второй<sup>[2]</sup>. 14 июня 1941 года по решению советского правительства чету Готлибов в числе десятков тысяч представителей буржуазии и интеллигенции без суда и следствия вывезли из Литвы в Алтайский край. Официальным поводом насильственного перемещения послужила политическая неблагонадежность ссыльнопоселенцев. Спустя год их перебросили в Заполярье, на острова Великого Ледовитого океана, поднимать подточенную войной рыбную промышленность страны.

Через несколько лет рыболовецкий участок № 7, названный по фамилии заведующего Мысом Тугарина, был ликвидирован. Небольшую группу бывших рыбаков, куда вошли Мария и Хаим, определили на кирпичный завод в поселке близ Якутска, остальных отправили в шахтерские места добывать каменный уголь. Иного вида деятельности для социально чуждого контингента, кроме ТФТ<sup>[3]</sup>, советская власть не предусматривала.

Районный поселок широко растянулся вдоль берега Лены. Заводской околоток находился глубже, в южной стороне рядом с деревней. Дальше простирались колхозные поля и темнели поросшие хвойным лесом горы. Прибывшие встали на учет в здешней спецкомендатуре НКВД, где им сообщили, что они теперь имеют право голосовать за кандидатов в депутаты районного Совета трудящихся и Верховного Совета СССР. Комендант дежурно зачитал правила ежемесячной регистрации и предупредил о запрете выезда за пределы поселка на пять километров без письменного разрешения. Самовольная отлучка каралась штрафом или недельным арестом, что узникам, подверженным режимным ограничениям

не первый год, было хорошо известно.

С трансформацией ТФТ изменилось и привычное бытие. Совсем недавно переселенцы ютились в многолюдных, промерзших насквозь земляных юртах с ледовыми окошками и железными камельками, а тут заводское начальство выделило каждой семье по комнате с настоящей печью и застекленным окном. Снаружи бревенчатый барак, в котором досталось жильё Марии и Хаиму, был утеплен завалинками, засыпанными землей и шлаком, входная дверь вела в длинный коммунальный коридор. Предыдущие жильцы содержали комнату в чистоте. Выпросив на пилораме досочные обрезки, Хаим сколотил тахту, стол и табуретки, Мария повесила на окно вышитые крестом занавески из белой американской мешковины. Любуясь новообретенным гнездышком, Готлибы наконец-то поверили, что полярная ночь, штормовые ветра и неотвязный запах рыбных кишок отступили в прошлое.

Некоторое время зарплату выдавали продовольственной нормой: по два килограмма крупы, по полкилограмма масла и сахара на человека в месяц и ежедневный хлеб. Роскошь по сравнению с пайком на морском побережье, где в первые годы умерли от голода больше трети «врагов народа», преимущественно стариков и детей.

Осень выдалась долгой. Все свободные часы умудренные полярным опытом люди собирали в окрестных лесах бруснику и, по совету заводчан, чагу. Эту березовую губку, объяснили Марии, крошат и заваривают из нее чай. С добавлением сушеных ягод шиповника напиток очень вкусен и полезен для желудка.

За помощь в сборе картофельного урожая агроном колхоза распорядился доставить Готлибам на подводе два куля овощей. Хаим подобрал на поле кучу брошенной свекольной ботвы и, пересыпав брусникой, проквасил не успевшие повянуть листья в брезентовом мешке. Получилось неплохо. Как могли, подготовились к зиме.

Завод работал в три смены со скользящим выходным. Мария доставляла из сушильных камер кирпич-сырец к печам в рельсовой вагонетке и возила к пункту приема штабеля готовой продукции. Хаим стоял на обжиге: на море приходилось вытаскивать рыбу из жгучей, как кипяток, ледяной воды, теперь он вынимал из печей раскаленные кирпичи. Двухслойные брезентовые рукавицы, сколько их ни латай, быстро обгорали и рвались. Скоро к оставшимся от обморожения рубцам прибавились шрамы ожогов – муфельный жар выкручивал исковерканные стужей кисти рук, пузырил и обдирал кожу с пальцев.

Когда отдел спецпоселений разрешил выплачивать перемещенным

лицам зарплату, выяснилось, что десять процентов заработка поверх подоходного налога с них удерживаются по-прежнему, но само жалованье почти в четверть больше. Появилась возможность покупать в колхозе картофель, молоко у частников, рыбу и дичь – рябчиков и глухарей, в изобилии водившихся в близкой тайге.

Местные жители не видели в ссыльных врагов и относились к ним так же, как к другим рабочим. Жизнь вроде бы повернула к лучшему... Раненные тоской о первенце, потерянном в Каунасе по воле злосчастного случая, Готлибы снова решились на ребенка.

В малокровном теле Марии беременность протекала болезненно, но плод сумел зацепиться и держался крепко – отцовское упрямство уравновешивало терпение матери. За три дня до родов Хаим предложил назвать сына – если будет сын – Зигфридом, а если дочь – Изольдой.

– Изольда? – не поверила своим ушам Мария. Мужское имя она пропустила: опытная фельдшер-акушер уверенно предсказала ей пол ребенка. – Изольда! Ты понимаешь, что говоришь?! Мы сами кое-как вырвались из льда!

– Мы выжили, – тихо возразил муж.

С юности влюбленный в музыку Вагнера, он не разделял народной неприязни, отметававшей все немецкое, будь то Вагнер, Дюрер или Гете. Острое чувство прекрасного превосходило в Хаиме национальную осторожность, которую евреи впитывают с молоком матери. А может, в его жилах текла какая-то новая, огнеупорная кровь, более стойкая, чем у остальных детей Израиля. Он легче других сносил напасти и в непредвиденных обстоятельствах мгновенно переходил от растерянности к действию. Вопреки экспериментам пересеченной бедствиями судьбы, в нем не угасал огонь неиссякаемого жизнелюбия. Хаим сохранял душевное равновесие в пыточном холоде, не отчаивался, если тело грыз голод, и, вопреки всему, радовался счастью быть рядом с любимой женщиной. На самом деле, думала Мария, муж оставался таким, каким человек был создан изначально, – с любовью к жене, семье и миру, и сторонился людей потому, что они изменились с тех пор, как ушли от Бога.

– У имени «Изольда» синие глаза...

– Твоя привычка все поэтизировать иногда неуместна... и просто невыносима! – простонала Мария. – Ты забыл, что исландская принцесса была несчастной? Что станет с девочкой? Отчество с фамилией как скроешь?

Хаим настаивал чуть хрипловатым голосом:

– Она будет счастливой.

Хрипотца, словно он молниеносно простыл, возникала у мужа от волнения, но, когда он пел, его голос не звучал хрипло. У Хаима был чудесный оперный баритон.

– Почему не Анна, не Ирина? Не Софья – по имени моей мамы...

Он с улыбкой обнял жену:

– Я представляю нашу дочь солнечной, как ты.

– Разве ты не видишь – я седая!

– Все равно рыжая, – засмеялся Хаим. – Моя королева.

– Ты хочешь, чтобы девочка походила на королеву Кристину из фильма... на Грету Гарбо, как я когда-то, и переживала из-за этого, как я?!

– Ты не Гарбо, ты – Мария, и другой такой нет на свете...

Впервые ее томила и угнетала спокойная уверенность мужа, упорно не желающего выходить за пределы выстроенного им мирка. Хаим вел себя так, будто зло на земле развеялось не стоящим памяти прахом и всеильное счастье ожидает их будущего ребенка. Только теперь Мария искренне почувствовала матери Хаима: в свое время Генедел Рахиль Готлиб тщетно пыталась вести борьбу с возмутительным романтизмом сына.

– Никаких Изольд! Ни за что!

Он промолчал.

Мария не разговаривала с мужем почти до поступления в больницу. За годы их брака это была единственная серьезная размолвка.

## Глава 2

### Вещий сон

В маленькое родовое отделение стационара Мария попала одновременно с якуткой Майыыс Васильевой, жительницей прилегающей к поселку деревни. Санитарка выдала им одинаковые байковые халаты. Женщины переоделись, посмотрели друг на друга и оторопели.

Мария едва не рассмеялась: Майыыс можно было назвать Гретой Гарбо в азиатском исполнении, точно небесному ваятелю позировала одна и та же сменившая грим натурщица. Одного роста и сложения, примерно одного возраста, с неправдоподобно родственными чертами лиц, они вызвали изумление и у акушерки:

– Ну надо же! Прямо как родные сестры!

Больничную тишину не взорвали свирепые крики рожениц. У изнуренной схватками Марии не доставало сил, а Майыыс не кричала из-за

присущей женщинам ее народа выносливости. Зато дети оказались горластыми. Первым подал басовитый голос якутский мальчик. Спустя полминуты девочка, покинув надсаженное недужными почками материнское лоно, заплакала сердито и на удивление громко для ребенка весом в два кило триста, словно спешила завоевать право кормежки из богатой молоком груди Майыыс. Мария выдавила из своих сосков лишь несколько капель молозива.

Вручая мамочкам наборы в бумажных пакетах с изображением ликующего младенца – по восемь метров яично-желтой фланели, марлевые салфетки и коробочки с тальком для предупреждения детской потницы, – медсестра торжественно провозгласила:

– Подарок товарища Сталина!

Лицо Майыыс благоговейно вспыхнуло. Она о чем-то спросила, и по тому, как развеселились окружающие, Мария поняла, что простодушную якутку заинтересовало, откуда Сталин узнал о рождении их детей.

– Всем такие дают. Товарищ Сталин считает своим долгом помочь каждой советской женщине, – снисходительно пояснила медсестра на якутском, затем перевела для Марии.

К вечеру за окном под чьими-то нетерпеливыми шагами закрипел ранний снег. Возбужденно переговариваясь, у окрашенного белой краской окна палаты топтались двое мужчин.

– Стапан, – обрадовалась Майыыс и ткнула в себя пальцем, поясняя, что один из них – ее муж.

Второй начал насвистывать песню оруженосца Курвенала «Так вот, скажи Изольде ты...» из вагнеровской оперы.

Мария чуть приоткрыла форточку, и вместе со студеным дыханием осени в палату влетел газетный самолетик. С краю крылышка карандашные каракули Хаима оповещали от имени обоих отцов: «Завтра мы придем за вами. Спасибо, любимые!»

Отделение, пустовавшее в годы войны, теперь было переполнено, и долго рожениц в больничке не держали.

Майыыс уловила знакомое русское слово «спасибо». Ей не терпелось похвастать подарком вождя. Сияя, она высунула в оконную створку уголок государственной фланели и закричала громким шепотом:

– Стапан, эгей! Пасиба табарыс Сталин!

– О-о, Сталин! – донеслось снаружи, а следом возмущенный женский вопль:

– Подглядывать приперлись, извращенцы проклятые?! Ну-ка, марш отсюда! – это мужчин прогнала вышедшая вылить помой санитарка.

Ночью Марии приснился немецкий город Любек – не тот, куда она ездила с Хаимом незадолго до военных событий, а утонувшая в веках свободная столица союза Ганзы. Повторялся сон, привидевшийся однажды на рыболовном мысе. С обмирающим от дурного предчувствия сердцем Мария настороженно ступала по извилистым улочкам с темными зевами арок, разверстыми в колодезные дворы. Шла мимо окутанной хмельным паром пивоварни, мимо госпиталя с греющимися на солнечном крыльце калеками и старцами в полосатых казенных хламидах, мимо сказочной кирпичи, за чей острый шпиль зацепился кружевной облачный подол... Шла в смятенном неведении до тех пор, пока шквал ветра, пропитанный марципановым ароматом знаменитой кондитерской Нидереггеров, не донес до слуха отдаленный рев и вопль толпы: «На Каак его! На Каак!»

Понимая во сне, что это сон, возвращенное памятью недоброе знамение, Мария хотела повернуть обратно, но тесные здания не пускали, все улочки кончались тупиками. По единственной дороге, распахнутой с глумливым гостеприимством, она в отчаянии побежала навстречу гвалту, похожему теперь на крики вороньей стаи, – к Рыночной площади, пестрым торговым рядам, к Кааку перед магистратом – меднолобой беседке с позорным столбом наверху.

«Ка-ак! Ка-ак!» – в жестокой радости скандировала толпа.

Сердце лопалось от горя, от невозможности отвести поджидающий впереди ужас, ветер шибал в лицо порывами приторного благоухания орехов и сахарной пудры, оглушительно свистел в ушах... Или то свистели и улюлюкали, выбивая преступнику глаза камнями, веселые горожане?..

Свист и карканье неслись отовсюду. Мария и сама закричала, не слыша себя в страшной какофонии звуков, в черном смерче, рухнувшем с неба. Визжащий вихрь подхватил, затянул куда-то ввысь, завертел над Кааком, не давая углядеть прикованного к столбу человека, пронес через входы ветра – сквозные окна в кровельной надстройке ратуши – и вышвырнул на твердь льдистого берега.

Стоя в ключьях тумана на коленях у края кипящей пропасти, Мария увидела, как проваливается в дымную воронку город-остров. Каленные огнем и солнцем, кирпичные ладони древнего Любека сдвигались в произвольном молитвенном жесте. Осыпалась брусчатая мостовая, зеленые берега каналов приближались друг к другу, мосты и арки надевались на шпили соборов с легкостью петель, нанизываемых на вязальные спицы... Медленно, медленно уходили в дремучую темь груды обломков красноглиняной кладки и многолюдный ганзейский порт, всасывая за собой бухту с флотилией груженых товарами заморских

кораблей.

Не было сил отворотить взор от выгнувшейся крутым луком площади, где все еще слабо маячил тупой деревянный срезень Каака, устремленный в вечность. Толпа захлебнулась потоками воды и щебня, не успев насладиться ни дозволенным прилюдным убийством, ни зрелищем человеческих страданий. Поднятое к небу невредимое лицо белело из глубины пятном прощального света, и орган церкви Святого Якоба вторил колокольному реквиему Мариенкирхе, сотрясая воздух над морем тяжелыми брызгами финального аккорда...

Мария вдруг поняла, что мужчина приговорен к бессрочному наказанию за гордыню любви... и горячие пальцы горя окунулись во вновь открывшуюся рану под свежим рубцом. Душа Марии плакала, проклиная непрошенный, данный ей от природы дар предвидения, которым она предугадывала, но не могла предотвратить беду.

...К обеду следующего дня, когда женщин с детьми готовили к выписке, за ними явился один Степан. В ночную смену на Хаима обрушился штабель готовой, только что обожженной продукции. Прежде чем он успел ощутить ожог и боль, проломленное кирпичами ребро мягко, как нож в масло, вошло в осчастливленное рождением дочери сердце.

## Глава 3

### Разбитое равновесие

Под керосиновой лампой кругло серебрились изящный игрушечный столик и два «венских» стульчика, искусно вырезанные из гибкого баночного железа. Кромки гнутых спинок и ножек были свернуты ювелирным кантом, чтобы острая жесть не поранила чьи-то нежные пальчики. Хаим любил красивые вещи... Перед глазами Марии в рамке с креповой лентой покачивалось его лицо, кружились граненый стаканчик с не успевшей испариться водкой, подернутая струпьями сухости кутья в блюде, ломтик хлеба, скукоженный сбоку, и окно, в котором качался пористый блин луны. Затем взгляд снова обегал окно с поминальной луной, хлебную дужку с края блюда, горстку засохшей кутьи, непраздный стаканчик, лицо Хаима в рамке восемь на одиннадцать сантиметров и спотыкался о витые ножки кукольной мебели. Некому было остановить этот пьяный хоровод, страшно видеть серое, безумными кругами плавающее лицо мужа. Мария перестала смотреть.

За чертой приглушенного нефтяного сияния таилась затянутая сумраком вселенская зыбь. В нее, как в пучину вечного моря, безвозвратно ускользали осколки опрокинутых дней. К ночи на стенах вырастали хищные тени, ожидая малейшего движения женщины, чтобы выкинуть длиннопалые руки и унести, и поглотить во тьме. Оцепеневшее тело пребывало в пограничье дремы. Потревоженным роем вихрились, жалили сны-воспоминания.

Литовский ветер рвал листву с ветвей печальной березы на заброшенном православном кладбище. Запахи свежей выпечки неслись из приоткрытых дверей – в пристрое молельного дома на улице Перкасу просвирня готовила хлеб... Чайки рассыпали крикливую тоску над солнечным гарусом балтийских волн. Белые пески раздвигались пристанью прянично-баркового Любека, с купеческой думой о выгоде повернутого парадом изразцовых фасадов к гостевой стороне. Мелькали забавные фигурки моста Пуппенбрюкке – провожатые до ворот крепости Хольстендор. Между башнями-близнецами над въездной аркой блистал девиз свободного города: «Concordia domi – foris pax»<sup>[4]</sup>...

Призрачное эхо извлекало из ниоткуда чуть хрипловатый от волнения голос: «...я выхожу в высокую дверь туда, где светло...». Остылая кровь Хаима тонким ручьем стекала в аморфное вещество памяти. Мария с невероятной отчетливостью чувствовала, как трудно, ветвь за ветвью отдираются вросшие в ее живую плоть вены мужа, и, внезапно очнувшись от ощущения, что лежит головой на родной груди, в слепой надежде проводила рукой по постели. Наваждение гасло с немислимым, всегда поновому чудовищным открытием – его больше нет.

Запрокинув голову, она падала на подушку, снова надолго замирая в полузабытьи, и оказывалась на берегу полярного залива, где кобальтовый вечер как две капли воды похож на кобальтовое утро. Здесь, в шеренге убогих юрт, с горьким сарказмом названной аллеей Свободы, обитали подобия людей с кофейными тенями вокруг глаз, независимо от пола и возраста уравненные во внешности и жребии. Еле передвигая ноги в обменянных на обручальное кольцо пимах, Мария замыкала шествие бредущих с работы «рохлядей», как называл переселенцев хозяин участка.

За порогом последней лачуги ее окутывало душное тепло с запахом тухлого рыбьего жира и того тлетворного, невыразимого словами смрада, которым несет от сгущенной человеческой нищеты. Мария утомленно извещала: «Хаима больше нет».

Бывшие соседи смотрели с вопросительным недоверием. Юозас, напуганный в детстве собакой, отвечал необычно длинно для привыкшего

к немногословию заики: «Он не мо-ог уме-ме-мереть, за-завтра мы идем в мо-оре. Туга-арин велел под-подгото-овиться, подош-швы ва-валенок хорош-шенько пропи-питать смо-олой».

Мария спохватывалась, рассудок поправлял небрежную оплошность сна: Тугарин с милиционером Васей давно «вылечили» речевой дефект паренька, подвесив его вниз головой на Змееве столбе и напустив на него собак.

«Ты, наверное, ошиблась», – без запинок говорил Юозас в новой редакции недреманного сознания.

Витауте первой постигала правду. Взметывалась тощая косица, – девочка с плачем прижималась к матери. Нервная Гедре, прежде чем неистово разрыдаться, сверкала страдающими глазами и быстро, злобно бранилась на литовском. Во всех бедах, в гибели Хаима она привычно винила советскую власть, правительство, коменданта, змея-заведующего – кого придется...

Маленькому Алоису, пережившему всех своих сверстников на рыбацком участке, хорошо было известно, что такое смерть. Подпрыгивая на руках плачущей Нийоле, малыш понятливо кивал одуванчиковой головой: «Каим усол туда, где много нельмы<sup>[5]</sup>».

Выйдя из бреда, Мария пожелала, чтобы люди, ближе которых для нее и мужа не было никого на диком Мысе Тугарина, сумели выстоять в беспросветных шахтерских заботах.

А грешная и святая пани Ядвига осталась в грезах. Она не сказала ни слова, но Мария чувствовала горячую боль ее сострадания.

Скоро в горьких снах рядом с покойной соседкой смутно, словно в цинготном тумане, начал проступать силуэт Хаима.

– Сво-олочь цинга-а, какая же ты сво-олочь, – пела старуха и, трубно чихая, высмаркивала из носа вшей. Иконописное лицо ее, цвета листовенничной коры от голода и старости, теперь излучало благодать – таким оно было, когда пани Ядвигу хоронили на холме. Перед смертью она простила всех, кого ей довелось ненавидеть за долгую жизнь проданной в бордель девочки, проститутки, хозяйки борделя и ссыльной. Пани Ядвига полагала, что и сама прощена Богом.

Сквозь дымку куриной слепоты Мария замечала на лице мужа то же умиротворенное выражение, словно, искупив загадочное предначертание, он освободился. Стал свободен по-настоящему, и она не любила это по-новому просветленное лицо – предательством чудилась обретенная мужем свобода.

До сих пор Мария была надежно защищена от внешнего мира любовью

Хаима. Душа его, отрешенная от внешних воздействий настолько, насколько представлялось возможным при ГФТ и прочих спецпоселенческих издержках, окутывала жену бережным коконом заботы. Мария запоздало поняла, что муж с беспечным видом брал на себя большую часть ее повседневных трудов, несмотря на любую усталость, с осторожностью дозировал недобрые вести и, как угли в печи, раздувал крохи редких радостей... А она принимала это как должное или вовсе не замечала.

Вместе со смертью Хаима рухнуло искусственное равновесие, еле обретенное после потери сына. Марии предстояло самой налаживать контакт с миром, а искра не загоралась. В особенно невыносимые минуты хотелось помочь себе оторваться от натужного существования, но удерживали молитвы, упадок сил и стыд.

Испытывая душевную уязвимость как физическую боль, Мария мягкотело, безвольно погружалась в сумерки непрерывного отчаяния. Ее пугала близость сороковин, а о ребенке и обвальных проблемах быта она вообще боялась думать... Якутская женщина Майыыс взяла девочку на время больного горя овдовевшей матери.

## **Глава 4**

### **Гарри**

Солнечное, совсем не осеннее утро ломилось в окно. Мария не могла вспомнить, ела она вчера или третьего дня и топила ли вечером печь. Из коридора доносились обычные утренние звуки: повизгивание соседского щенка, плеск рукомойника, торопливые голоса и шаги. В норе, свернутой из одеяла и телогреек, не осталось никакого тепла. Пар от дыхания в выстуженной комнате взвивался к потолку, будто дымок из печной трубы.

«Я жива», – удивилась Мария, испытывая странное чувство новорожденности и жарко прилившую к сердцу радость. Повернула к окну тяжкую голову: «Боже, как хорошо...»

Вещи прочно пристыли к своим местам, безумный хоровод остановился. Солнце пробило лунку в тонком инее, сквозь нее в барачную полумглу струился мир. Светлые слезы мира, стекая на подоконник, капали на пол. Черная тоска втянулась в мироточащую лунку и, понемногу иссякнув сумраком, вернулась прозрачной печалью.

Припухшие дремой веки вновь смежили в ресницах холодный воздух.

Мария полежала немного, прислушиваясь к приятно поламывающей истоме. Странно, что суставы до сих пор не заоченели, и зябкие мышцы, вместо того чтобы окаменеть в судорогах, нетерпеливо покалывает в ожидании движения.

Кризис миновал. Она воскресла для незнакомого бытия – без мужа, но с ребенком. Когда-то мысли о гибели сына едва не свели ее с ума, теперь думы о дочери востребовали вялую душу с неожиданной силой. Казалось, наблюдая депрессию жены из другого пространства и отчаявшись пробудить в ней угасающее желание жизни, Хаим сумел зажечь искру остатком своей энергии и подтолкнул от манящего необитания к новой тропе и свету.

Греясь у огня перед раскрытой печной дверцей, Мария грызла горбушку зачерствелого до древесной твердости хлеба, размоченную в чаговом кипятке, ела кисленькую, со свеклой, капусту – муж успел заквасить в лагушке<sup>[6]</sup>... Хозяйственно, с будничной досадой на заводское начальство, думала: «Долг Хаима за дрова, конечно, на меня перебросили». Летом на субботниках жильцы барачников заготовили лес для себя и нужд предприятия. Деньги за вывоз и предоставление деляны бухгалтерия удерживала из зарплаты.

Вечером в незапертую дверь постучал и, не дожидаясь ответа, ввалился земляк по Каунасу и мысу Гарри Перельман, бывший напарник мужа в рыболовецкой артели. Забыл поздороваться, сел машинально на табурет у двери и, глядя куда-то вкось, вытер шапкой мокрое от слез лицо:

– Мария, меня снова выслали из Тикси... сюда на завод... Поставили на обжиг... только что узнал – вместо Хаима... Его нет... Как же так... я не мог поверить...

Гарри еще не научился плакать, потому что был молод.

...Семнадцатилетний юноша перешел на второй курс Каунасской консерватории, когда арестовали его отца, уполномоченного одной из литовских фирм. Гарри с матерью отправили на мыс в море Лаптевых, где мать скончалась от голода. Ледяная вода превратила руки музыканта в клешни. Он и такими играл на клавишных инструментах. Два года молодой человек преподавал пение, музыку и уроки этикета в морском порту Тикси, но в отделе спецпоселений в конце концов сочли, что враг не научит ничему хорошему. Больше всего сотрудников отдела возмутили уроки буржуазных правил поведения советским детям.

Продолжая всхлипывать, Гарри рассказал о судьбе отца. На запрос о нем официальные органы ничего не ответили. Позднее кто-то из знакомых, с кем Элиас Перельман находился в лагере Сысьва, разыскал адрес сына и

написал, что по решению Особого совещания НКВД отец был казнен через полгода после начала войны. Местечко, в котором приговор привели в исполнение, по жестокой воле случая называлось Гарри...

Сообщение о собственном несчастье перебило новые слезы. Успокоившись, Гарри выпил кружку горячего чая и убежал, а спустя полчаса вернулся с сумкой, набитой банками американских консервов.

– Тут говяжья тушенка, свинина с чечевицей и – смотри! – абрикосы, – бормотал он, радуясь посветлевшим глазам женщины. – Мне ребята в Тикси целый мешок всякой еды собрали. К Новому году тоже пришлют. Праздники с омулевой строганинкой встретим. Тебе надо лучше питаться, дочку забереешь скоро...

## **Глава 5**

### **Досье для вечности**

Гарри позаботился о том, чтобы Мария окрепла. Горестные остатки декретного отпуска поглотила живая домашняя работа – побелка комнаты и шитье распашонок из батиста, купленного по «детским» талонам на госпособие, для дочки и сына Майыис. Теперь следовало выписать девочке метрику в поселковом совете и передать в комендатуру последние документы Хаима: медицинское заключение о смерти и справку спецпоселенца. Такой справкой – листом бумаги с фотографией в левом углу – снабжали каждого «социально опасного элемента». Эти удостоверения заменяли паспорта. Справки «ходили» только здесь, на ограниченной поселком и колхозом территории, а дальше их некому было показывать.

Оперработника на месте не оказалось, в кабинете отдела перед кучей бумаг за столом сидел начальник. Увидев Марию, он не поздоровался. Багровый от злости, размахивая журналом регистрации, закричал:

– Почему я должен узнавать от людей, что ваш супруг помер? Музыкант, спасибо, известил, ходатайствовал за вас – мол, не в себе вдова, лежит-болеет, погодите немного... Два месяца, между прочим, с тех пор прошло! Два месяца! В других местах спецпоселенцы еженедельно отмечают, тут мы и так чересчур лояльны! Я уж решил послать за вами – пожалуйста, придите для собственного же блага! Повезло, что проверки не было! А если бы нагрянула? А-а?! Вы чуть не подставили нас своей неаявкой... своим саботажем! Вы понимаете, что я обязан наложить на вас

административное взыскание за уклонение от учета? Подвергнуть штрафу или арестовать, причем не на пять, а на десять суток! Нет, вы вообще хоть что-нибудь понимаете?!

– Не надо арестовывать... У меня ребенок, – замямлила Мария. – Я действительно не могла... Может, написать объяснительную?.. Простите, прошу вас... Такое больше не повторится...

До нее только сейчас дошло: время потеряно, она сама потерялась во времени, не думала, что ее здесь ждет.

Офицер сообразил, что женщина вот-вот потеряет сознание, и, затухая, пробурчал:

– Мне известно о ребенке... Давайте сюда заключение. Успокойтесь, сядьте, вон стул.

Извлек из несгораемого шкафа знакомую Марии канцелярскую папку личного дела Хаима. В ней, с пачкой аккуратно подшитых протоколов, справок, анкет с ответами на множество бессмысленных на первый взгляд вопросов, хранилось довоенное письмо – тайный отчет «арийца английского происхождения» мистера Дженкинса, адресованный каунасскому руководству фирмы «Продовольствие», в которой когда-то работал Хаим. Там же находились литовский и русский переводы этого послания.

...Получив германское подданство и желая выслужиться перед новой «родиной», коллега-коммивояжер обвинил Хаима и переводчицу Марию в причастности к большевистской агентуре. Сметоновская<sup>[7]</sup> полиция отправила бы «кремлевского резидента» в тюрьму, если б не вмешательство отца Хаима. Ицхак Готлиб выкупил у следователя свободу сына. Жаль, что отправитель письма так и не узнал, как оговоренные им люди были ему потом признательны. Старый донос случайно помог Хаиму избежать отправки в советский лагерь для политических заключенных...

На поле мельком открывшейся первой страницы папки Мария с удивлением заметила жирно отчеркнутую красным карандашом приписку: «Хранить вечно». Справка спецпоселенца легла поверх справки о смерти и карточки учета.

Давеча в поселковом совете, пока секретарь выписывал дочкино свидетельство о рождении, Мария собиралась с духом, чтобы осведомиться у оперативника, можно ли ей забрать фотографию мужа со справки – к чему системе снимок врага, если с ним покончено? Теперь, виноватая, не дерзнула спросить у коменданта.

Неисповедимы пути чекистские... Не понять, исходя из каких потребностей органы внутренних дел с иезуитской дотошностью собирают

в досье для вечности все бумажки, вплоть до врачебных отписок о болезнях. Из пунктуальности? Как доказательство вины ссыльного, дабы кому-то легче было, в случае чего, оправдаться?.. Нет, не понять.

Идя в поселок, Мария с благодарностью думала о начальнике. Встречаются и во власти хорошие люди. Не арестовал, скрыл оплошность «саботажницы», и проверяющие из Якутска в этот раз не приехали... Впрямь повезло. Но, когда показались первые сельские дома, она совершенно забыла о произошедшем в конторе, легко поплыла по тронутому морозцем воздуху, хмельная от его оживляющей свежести. Бездумно повторяла в такт шагам имя Майыис – с ударением на первом слоге, хотя в якутских словах оно обычно ставится на последнем. Грубое «ы» в конце слова облегчала мягкая редукция: «Май-ис». Снег крахмально и празднично поскрипывал под ногами: Май-ис, Май-ис... Мария радовалась, что вышла из тягучего каменного забытья и муж где-то там, у себя, счастлив за нее. Закольцованная с Хаимом радость туго натягивала отвыкшие от улыбки щеки. Мир вокруг звенел, как молочные струи о дно цинкового подойника, сугробы искристо вспыхивали недавно отлитым серебром... Если у Майис есть корова, наверняка удастся договориться о молоке для ребенка.

Кроме распашонок, Мария несла благодетельнице серебряную ложку. Последнюю ложку из столового гарнитура, подаренного некогда золовкой Сарой. На Алтае и Мысе Тугарина Готлибы обменяли все мало-мальски ценные вещи, захваченные с собой в ночь сборов при высылке из Каунаса. Еда и теплая одежда были нужнее... На память о Литве у Марии остались только янтарные бусы.

## Глава 6

### Семья кузнеца

Круглощекий сын дожидался своей очереди, чмокая в люльке сосцом, отрезанным с коровьего вымени. Аптечный пузырек, на который был насажен прокипяченный сосец, энергично дергался – Сэмэнчику нравилась подслащенная вода. Держа безымянную девочку у груди, Майис тихо дула на ее вспотевший лобик, помеченный углем домашнего очага, и огорчалась по поводу равнодушия кремлевских министров. Не озаботились большие начальники доложить товарищу Сталину о нехватке резиновых сосок в северном краю, иначе товарищ Сталин непременно распорядился бы добавить эти жизненно необходимые вещицы в подарки новорожденным советским гражданам. Трудно придется Марии с кормлением дочки.

– Огокком<sup>[8]</sup>... – Печально вздыхая, Майис расправила сжатый кулачок девочки и с наслаждением принюхалась к младенческому запаху. Полюбовалась тонкими завитками за ушками, длинными ресницами, начавшими густеть...

Как оторвать от ребенка свое неразумное, успевшее прикипеть сердце? С помощью мужа Майис выучила сложно произносимые чужие слова и не раз мысленно обращалась к русской женщине: «Моя хоросо, молоко-сиська есь, корми есь. Дай огокко моя дом. Пасиба».

Майис, конечно, не осмелилась бы это сказать. Просто мечтала. Степан тоже был бы рад удочерить девочку. Но кто б согласился отдать такое славное дитя! А мать малышки, похожая на Майис внешне, наверное, и характером с нею схожа. Как бы тяжело ни пришлось, ни за что не отдаст.

Впервые столкнувшись с Марией в больнице лицом к лицу, Майис испытала укол пронзительного испуга. Показалось, что стоит перед зеркалом, волшебным образом искажившим ее лицо и волосы: вместо черных глаз – синие, а волнистая коса взметнулась вокруг головы огнем и дымом. В рыжих, как беличий хвост, волосах Марии распушились ранние седые пряди...

Все, кто видел женщин рядом, удивлялись: «Сестры-двойняшки!» Степан тоже сказал: «Из одной формы, будто серьги белого золота<sup>[9]</sup>, вас отливали».

От внезапной мысли о том, что Мария, возможно, станет долго горевать по мужу и не скоро явится за дочерью, Майис содрогнулась и отругала

себя: «Ой, нет, нет! Пусть скорее выздоравливает!» Отмахнулась, отгоняя вредоносных духов, нашептавших дурное, и тут в дверь кто-то постучал...

Приход ожидаемой гостьи обрадовал и в то же время огорчил хозяйку. Быстро перепеленав детей в нарядную «сталинскую» фланель, она высунула голову из-под пестрой веревки из конского волоса, унизанной крохотными тусками. Во время летнего праздника ысыах<sup>[10]</sup> такие веревки с символическими подношениями добрым духам якутский народ протягивает на счастье между березками.

– Доро́обо<sup>[11]</sup>, Марья-балты́м<sup>[12]</sup>!

Мария едва не вскрикнула – навстречу ей угрожающе растопырились агатовые когти засушенной медвежьей подошвы, подвешенной сверху перед берестяной люлькой.

Степан объяснил, что дух «лесного старика», как называют медведя якуты, оберегает малышей от детских болезней. Ступня зверя мягко пружинит на мху, обтекает сухие ветки подушкой лапы и глушит треск. Так же, не пугая дитя, лапа бесшумно, но тяжело наступает на руки демонов, тянущиеся к ребенку со всех сторон. Злыдни обращаются в бегство и оповещают остальных о грозном младенческом обереге.

– Духи нету, духи – непрабда, – стыдливо улыбнулся Степан. – Оннако так нада, старик охранят ребяты, тогда ребяты нету болеть.

Сытые дети тихо сопели, лежа в люльке валетом. Марии, два месяца назад убитой страшным известием, было не до ребенка, а тут не поверилось, что кроха, которую запомнила горластым краснокожим лягушонком, так сильно поправилась и похорошела. Светлое личико обрамляли кудряшки собольего цвета, легкая Хаимова ямочка виднелась на подбородке. Носик был в меру тонок и длинен, но с намеком на горбинку...

Свидетельство принадлежности к древнему народу, столь нежелательное в прямоносом арийском мире, заставило Марию вздрогнуть. Видит ли Хаим «оттуда», как дочь похожа на него и как далека она от вагнеровской Изольды?.. Белокурый мальчик, их потерянный сын, – вот кто напоминал скандинавского принца. Только темные глаза его были чуть приспущены к вискам. Верхние ресницы, соединяясь с нижними, придавали взгляду легкую томность и характерный отблеск вечной семитской скорби...

А какого цвета глаза у дочки?

Колебясь и мешкая, Мария отошла от люльки. Пусть ребенок спит.

Хозяйка с восторгом поохала над подарками и захлопотала у стола –

налила чаю с молоком, настрогала в деревянное блюдо мерзлую жеребьячью печень.

Мария привыкла к рыбьей строганине на промысле. Припрятанную и с риском для жизни принесенную домой рыбу во избежание разоблачения часто ели сырой. Бело-розовая плоть ее пахла с мороза огурцовой свежестью, смотрелась аппетитно, как и должно выглядеть деликатесу, а тут было нечто другое, сомнительное на вид, – суриковые стружки со свинцовым налетом изморози и железистым, нутряным запахом крови.

– Есь, есь, нету бойся, – угощала Майис, угадав сомнения гостя. – Кулун<sup>[13]</sup> хоросо, кулун скуснай!

Мария с опаской прикусила тающий в пальцах коричневый лепесток. На вкус печень оказалась чуть сладковатой и чем-то ностальгически напомнила сочную мякоть маринованного говяжьего языка.

– Надо же... очень вкусно.

Майис подвинула ближе тарелку со щедро наломанными кусками пресной якутской лепешки-лабырык.

– Тоже вкусно, – попробовала Мария. – Это зерна? Сначала подумала – орехи! Как вы такие лепешки печете? Мне бы рецепт узнать.

Хозяйка беспомощно оглянулась на мужа. Гостя повторила вопрос.

– Моя не пекла, – отрицательно качнул головой Степан, сидящий у печи с каким-то заделем. – Майис лабырык пекла.

– Научите меня?

– Моя не могу, Майис делай лабырык там, – он ткнул пальцем в печную плиту.

– Так я у Майис и спрашиваю, – удивилась Мария и наконец догадалась, что хозяева не поняли обращения на «вы». Демократичное «ты» остается у якутов неизменным в любых ступенях отношений.

Смущенно прихлебывая забеленный молоком чай, она не решалась справиться о том, что волновало ее больше всего. В просторном дворе Васильевых Мария не заметила хлева.

Редко кто из колхозников держал скот. Себе дороже выходило из-за высоких государственных сборов. «Коровьих» усадеб в деревне было по пальцам пересчитать, поэтому за литровую банку молока, если еще повезет столкнуться, хозяева требовали двадцать рублей. Впрочем, столько же, говорят, он стоил и в продуктовых точках Якутска, хотя закупщики в погашение сельскохозяйственного налога забирали часть надоенного по цене меньше рубля за литр. В местном магазине молоком почему-то вовсе не торговали.

Майис словно почувствовала мысленные метания гостя и сообщила:

– Стапан искал молоко купит-продать!

Оказалось, Степану удалось договориться с владельцами дойных коров. После сдачи поставок у них оставалось целое ведро молока. Проникшись бедственным положением вдовы с «кирпички», они условились продавать ей два литра в день всего за четыре рубля. Почти даром!.. К тому же выяснилось, что эти сердобольные люди живут на краю села возле заводского околотка.

У Марии камень с души свалился. А сюрпризы на этом не кончились! Майис приготовила девочке роскошное приданое: берестяной рожок для кормления и девять бесценных по уникальным свойствам подгузников – лоскуты тонко выделанной жеребьячьей шкуры.

Ворс на ощупь был изумительно мягким. Влага, пояснил Степан, не утяжеляет шерсть северных лошадей – волосы ее полы и воздушны. Стирка меховым подгузникам не требовалась, они быстро отчищались и высыхали, а чтобы запах выветрился, достаточно было подержать их на морозе.

Подарила Майис и аптечный пузырек с коровьим сосцом:

– Один, дба три день ына́х<sup>[14]</sup> сиську чай кидай, мала-мала кипит, огокко молоко корми. Потом сиську ыт<sup>[15]</sup> кидай, ыт ам-ам.

Мария сообразила: пока ребенок не приноровится к рожку, можно прикармливать из сосца, слегка прокипятив его, а по истечении трех дней выбросить сосец собакам. Растроганная, она не знала, чем отблагодарить Майис, и предложила научить ее русской грамоте.

– Оголóр<sup>[16]</sup> болсой дба, три год – солó<sup>[17]</sup> есь, пасиба, – согласилась та.

Степан ухмыльнулся:

– Грамотной баба, да? До ночь книга читай, потолок плюбай? Лабырык не пекла, обед нету, печка холодной, моя – голодной! Э-эх, оннако, Майис клуб отдам! Другой, неграмотной баба домой беру!

Мария, смеясь, заметила, что он неплохо говорит по-русски, и Степан посерьезнел:

– Была один русскай догóр<sup>[18]</sup>...

Веселая тарабарщина Майис, приправленная выразительными жестами, придавала общению особый колорит. Куцый русский словарик ее заметно расширился. Чуткая к языкам, Мария радовалась и своему подзабытому свойству с ходу запоминать значение и произношение новых слов.

Женщины разговорились. Удивляясь тому, что слезы уже не саднят, а успокаивают сердце, Мария вспоминала о Хаиме.

– Понимаешь, Майис, он ни перед кем не склонял головы. Даже если

кто-то пытался его унижить, не было такого, чтобы сам он унижился до ненависти, до брани в лицо, а тем более за спиной. Люди чувствовали в нем непоказную гордость и уважали в Хаиме редкую душу, Майис, правда... Он уверял меня, что несчастья не способны убить человека, пока человек сам не начнет верить в их силу. Хаим и смерти не боялся. Оставить меня одну – вот единственное, чего он боялся. Но ушел и оставил... Наверное, нельзя быть счастливым вопреки всему, а он был счастливым, он обнимал теплом каждого, кто жил рядом с ним, и, кажется, не задумывался о своем даре...

Мария говорила и говорила, больше для себя самой, слова приносили облегчение, растворяли горе... Но Майис слушала внимательно и несколько раз кивнула: «Да, да-а...» Опасливо оглянувшись на Степана, она и сама рассказала о том, как сбылась их главная с мужем мечта.

Супруги жили вместе с юности и почти уже смирились с бездетностью, а тут соседка посоветовала Майис сходить к шаману. Старик дал ей секретное снадобье, изгоняющее беса бесплодия, и велел пить каждый день перед сном. Узнав об этом, Степан рассердился: шаманы – вредители, варят какой-то опиум для народа, вдруг Майис отравится?! Она все равно украдкой продолжала пить капли и понесла. Муж перестал злиться, только запретил упоминать вслух имя знахаря...

Майис вздохнула с потаенной печалью. Степан стыдится верить в духов, ведь он – передовик, и незадолго до Отечественной войны ездил на Всесоюзный съезд колхозников-ударников в Москву. Собственными глазами видел великого товарища Сталина, который подарил детям такие хорошие пеленки! А в войну округа не могла остаться без кузнеца, и Степана не пустили на фронт.

– Пронт нету, Стапан – уус<sup>[19]</sup>.

– Моя хотела на пронт, – буркнул Степан.

– Ок-сиз<sup>[20]</sup>, – подбоченилась Майис. – Погибай храбрай смерт? Огдо пылаття память нету?

Мария поинтересовалась, что значит «огдо пылаття», и Степану, слово за слово, пришлось вспомнить старую историю о том, как в Гражданскую войну его спасло от смерти платье Огдо, младшей сестры.

Власть в селе в то время беспрестанно менялась. Оставшись после смерти отца за старшего в семье и кузне, Степан, бывало, помогал красноармейцам – подковывал им лошадей, чинил ружья и ремонтировал повозки. А однажды осенней ночью село заняли белобандиты, и атаман велел привести к нему кузнеца Васильева, по слухам, сочувствующего

красным.

Мрак за окнами и в юрте стоял кромешный, камелек потух. Посланные за мастером бойцы, страшно крича, раскидывали лежанки и лавки. Перепуганная мать не сумела зажечь лучину и в спешке сунула сыну одежду, какая попалась под руку. Степан натянул штаны, тесную рубаху братишки Митрея, торбаза не стал искать.

«Как пойдешь босой?» – заплакала мать.

«Не понадобятся мертвому торбаза», – гоготнул кто-то из непрошенных гостей...

В доме, где разместился штаб, горела свеча. Главарь всмотрелся в арестованного и как завопит: «Я вас за ковалем Васильевым отправил, а это что за чучело?!»

Степан и сам тихонько охнул – «рубаха» оказалась пестрым платьем сестрицы Огдо! Подол вывозился в лужах, ноги в грязи... Парень не растерялся, решил повернуть конфуз себе на пользу и закосил под дурачка.

«Васильев?»

«Васильев».

«Кузнец?»

«Коров я пока пасу, но скоро ковать буду, а кузнецом отец мой был, да помер недавно».

«Красные в деревне есть?»

«Да, есть, вчера баба Анныска, хозяйка комолой буренки, красного <sup>[21]</sup> принесла».

«Откуда?» – не понял атаман.

«Стесняюсь сказать...» – Степан потупился и завозил грязной ногой по полу.

Толмач, дословно переводивший допрос, не выдержал, рассмеялся, а с ним те, кто смыслил по-якутски.

Как бы ни был атаман раздосадован, и он захохотал, когда ему разъяснили, в чем дело. Приказал дать слабоумному розог и отпустить восвояси...

Высекли Степана добросовестно, еле домой приполз. Зато живой! Не повесили.

– Люди моя «красной огокко» имя дала, – улыбнулся он.

Майис скорбно качнулась:

– Собесскай бласть нету пасиба, на тюрьма сади Стапан!

– За что? – удивилась Мария.

С досадой зыркнув на жену, он пояснил:

– Моя хотела убийбай краснай командир.

...Случилось так, что недоглядел Степан за двенадцатилетним братишкой Митреем. В округе утвердилась советская власть, однако продолжались набеги белобандитов, к которым ушел сосед. Для борьбы с бандой прибыл отряд красноармейцев, и сын соседа уговорил Митрея бежать в тайгу, предупредить отца.

Они не успели, кто-то донес. Сестрица Огдо вплавь добралась через протоку на остров, где старший брат готовил шалаш к предстоящему походу. Известила о беде, но Степан опоздал. К его возвращению ребят уже расстреляли на пустыре за сельсоветом, несмотря на то, что в пытках они во всем признались. Отряд тронулся брать банду.

Догнав красноармейцев, Степан наставил ружье на командира, а выстрелить в человека не сумел. За покушение на жизнь красного офицера юному кузнецу дали небольшой срок с учетом заслуг перед советской властью...

Степан хмуро уставился на мерцающие языки огня в открытой печи.

– На тюрьма был хоросай челобек Юрий. Он учил мне русского ясыка.

Социал-демократ Юрий не только языку учил, но и давал сметливому сокамернику своеобразные уроки философии и политической грамоты. С какими-то доводами меньшевика кузнец не согласился, какие-то заставили его размышлять о мире и власти. Эти думы сильно поколебали наивные представления о новом государственном строе в стране.

Степан жалел, что не хватило времени на изучение русского алфавита. Выйдя из тюрьмы, он за год прошел программу трехклассного якутского ликбеза<sup>[22]</sup>. Не безоглядно стал относиться Степан к некоторым установкам руководства, и центрального, и местного. Вслух он своих соображений, разумеется, не высказывал и старался в разговорах не касаться политики, а тут вдруг проницательно взглянул на гостью:

– Бласть слал сюда люди с Ленинград, с другой мест... Ты с какой мест?

– Я из Литвы. Нас с Хаимом переселили на Север потому, что он – еврей, – ответила Мария, не задумываясь, и поспешила поправить: – Мы были признаны социально опас... неблагонадежными.

Степан коротко кивнул:

– Браг народа.

– Ябрей – нассия? – спросила Майис.

– Да, еврей – нация...

Майис заявила:

– Люди нет нассия!

– Как это нет, Майис? На земле очень много национальностей...

– Нету многа! Ну́ча<sup>[23]</sup>, саха<sup>[24]</sup>, ябрей, немес – нету! Люди дба нассия – хоросай люди, плохой люди! – И для пущей убедительности Майис воинственно выкинула пальцы в латинской V.

## Глава 7

### Благодаря и вопреки

Мария работала в дневную смену. Кроме того, ей разрешили бегать домой кормить дочку, пока той не исполнится четыре месяца.

– А там посмотрим, – уклончиво сказал начальник цеха.

Лицо Изочки рано освободилось от остаточных эмбриональных признаков. Ресницы потемнели, обнаружился ясный, вразлет, рисунок бровей, отчетливее проявилась отцовская ямочка на подбородке. Горбинка на носу, напротив, начала сглаживаться. Синие, как у Марии, глаза позже обрели такой необычный ультрамариновый оттенок, что начали, к беспокойству матери, привлекать чужое внимание. Сочетание светлых глаз и локонов цвета блескучего собольего меха приводило в восторг Гарри Перельмана. Когда он восхищался слишком бурно, отчасти из очевидного желания польстить, Мария едва сдерживала суеверный позыв постучать по дереву.

Общительный и, несмотря на тяжелую работу, всегда чем-нибудь воодушевленный, музыкант быстро обзавелся друзьями, а в выходные дни посещал репетиции самодеятельного оркестра национальных инструментов в колхозном клубе. К Марии навещался непременно с авоськой купленной у сельчан картошки. Расхаживая по комнате с Изочкой на руках, с упоением рассказывал о музыкальных способностях якутов:

– Представляешь, они имитируют на хомúсе<sup>[25]</sup> любые таежные звуки – от шелеста листьев до птичьих трелей! А какие прелестные импровизации получаются у них из звучаний времен года – подлинная природная музыка!

Пили чай с лепешкой из грубомолотой муки с зерном, испеченной по простому рецепту Майис. Мария замешивала на воде крутое тесто, быстрыми движениями расправляла его прямо на горячей, не докрасна, плите, присыпая сверху солью, и переворачивала.

Приглушенным голосом, ломким от боязни спугнуть удачу, Гарри говорил о возможном его переводе в Якутск руководителем созданного недавно хора Национального радиовещания. Из-за нехватки специалистов руководство Министерства культуры ЯАССР согласилось с доводами

организаторов коллектива и обещало похлопотать о продвижении перспективного молодого спецпоселенца.

Он часами готов был говорить о музыке, консерватории, Каунасе и радовался, как мальчишка, если у них с Марией обнаруживались общие каунасские знакомые. Вспоминали мыс, заведующего Тугарина, милиционера Васю, Змеев столб и связанные с ним события, перебирали одно за другим имена обитателей аллеи Свободы. Не сговариваясь, обходили молчанием дорогих покойников – оба болезненно относились к сокровенной памяти.

С потаенной надеждой, шепотом на всякий случай, гость пересказывал витающие среди ссыльных слухи о вероятных переменах в их положении.

– Сняли ограничения с кулаков, постановление вышло... Открепили с учета...

– Так не нас же, врагов народа, освобождают, а мироедов, – усмехалась Мария.

Она не верила позитивным прогнозам. Вряд ли скоро условия жизни «опасного контингента» изменятся к лучшему, скорее наоборот. Ее больше волновали начавшие почему-то возрастать продуктовые цены. Хорошо, что Хаим заквасил осенью капусту и собрал бруснику. Полный ящик мороженых ягод Мария поставила под замок в общем сарае...

На завод с тематическими лекциями зачастили райкомовские лекторы. У «авангарда партии», как они величали рабочих, появилась возможность отдохнуть в разгар трудового дня по уважительной причине. Начальники цехов терпели «болтологические» мероприятия, бессильно скрипя зубами. Райкомовцы вещали о триумфе социалистического строительства, громили продажный Запад и призывали бороться с безродными космополитами. Марии чудилось, что все оглядываются на нее, хотя о давнишней ее поездке с Хаимом в немецкий город Любек никто не знал.

Одна лекторша сравнивала жизнь женщин в Советском Союзе и за рубежом:

– Благодаря заботе партии и правительства, благодаря лично товарищу Сталину наши женщины смотрят вперед с оптимизмом. Повсеместно у нас строятся ясли, детские сады, женские амбулатории. Широкое участие тружениц в государственных делах страны представляет огромную роль, недаром товарищ Сталин говорит, что «...женщины – большая сила, и держать ее под спудом – значит допустить преступление. Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело». Между тем на земном шаре много стран, где женщина не только не мечтает о политических правах, но где ее тяжкая,

унизительная жизнь постоянно находится на краю гибели. Например, в Англии большинство женщин вынуждены рожать дома из-за непомерной стоимости медицинских услуг. Негритянки в Америке за равный с мужчинами труд получают четверть оплаты, вынуждены работать с утра до ночи и не могут обеспечить своим детям ни воспитания, ни защиты от возможного линчевания. В Египте, где впервые появилась письменность, грамотного населения всего тридцать процентов, причем девушкам высшее образование почти недоступно: так, из десяти тысяч ста семнадцати египетских студентов, зарегистрированных в прошлом году, оказалось всего чуть более пятисот девушек. Голодающие женщины Туниса страдают из-за отсутствия молока, отчего третья часть детей не доживает до двухлетнего возраста. Ежечасно в Индии от негигиенических родов гибнут двадцать женщин, и около десяти миллионов детей в год умирает от недосмотра, голода и заразных болезней.

«Десять миллионов!» – ужасались зарубежной статистике слушатели, не в силах постичь умом запредельное число.

«...от недосмотра! ...недосмотра!» – крутилась в голове Марии заезженная пластинка. За дочкой приглядывала чокнутая старуха-соседка.

Легкое помешательство няньки было не опасно, но однажды Мария случайно застала ее за исполнением похабных частушек над Изочкой и была потрясена до глубины души: бабка каркала их, закатываясь совершенно сумасшедшим смехом. Службу она, тем не менее, несла исправно. По часам кормила дитя подогретым молоком из берестяного рожка, в остальное время по старинке совала вместо пустышки тряпичную закрутку со смоченным в молоке кусочком лепешки. Мария мирилась с фольклорным безумством старухи и варварскими закрутками, лишь бы ребенок не плакал.

Вскоре Гарри Перельмана официально пригласили руководить хором радиовещания. Музыкант уехал в Якутск, оставив Марии полмешка присланной из Тикси еды.

В воскресенье, закутав дочку в одеяло и телогрейку Хаима, Мария отправилась к Васильевым с подарком – тремя банками американских сардин. Хозяева обрадовались так, будто только что ждали в гости. Соскучившаяся Майис принялась, воркуя, тетешкать Изочку, Степан выставил на стол блюдо с вареными карасями. С интересом повертел красивые гостинцы, разглядывая рисунок на боках банок, а когда попробовал консервированный деликатес, удивился:

– Сачем американ рыба спортил?

Майис педагогично нахмурила брови, и Степан, спохватившись,

похвалил:

– Хоросай сардин... Силно голодной челобек, оннако, хоросо есь рыба с банка.

Пресекая протесты Марии, Майис доверху набила ее сумку мороженым жеребьячим мясом:

– Исэська не голодай! Есь нада, болсой, тостый нада!

Мяса хватило надолго. Перед сном бульон заменял Изочке молоко, после него она крепче спала...

Ополоумев от одного лишь мясного запаха, вечно голодная нянька пустила по подбородку слюну. Мария выделила старухе изрядный кусок с мозговой костью для супа, а дома невестка живо прибрала подарок к рукам и сварила суп детям. Они выхлебали жижу до капли, съели мясо до волоконца. Воющую в углу свекровь невестка с досады слегка тюкнула по лбу набело выскобленным мослом. Сына старухи убили на фронте, и женщина полагала, что ничего ей не должна.

Геройская гибель мужа давала солдатской вдове, уборщице в начальственных кабинетах, право испытывать чувство праведного презрения к заводским рабочим, в основном зэкам и переселенцам. На приветствие Марии соседка отвечала сквозь зубы, и то лишь из-за приработка бесполезной в быту свекрови.

Бабка, ослабевшая от несправедливости невестки и жизни, на другой день уронила Изочку на пол. Ребенок отделался синяком на ягодичке, но Мария отказалась от услуг немощной няньки. Доверять ей дочь она уже не могла, да и часть трудно добываемой пищи была, таким образом, спасена от истребления.

## **Глава 8**

### **Первичность тепла**

Мария засветло растапливала печь и кормила девочку остатками вчерашнего ужина. Целуя прохладные пальчики, цыплячью шейку, пеленала так, чтобы дочка не раскуталась, и укладывала набок в коробку из-под папирос «Север». В сгущенных пластах тумана мчалась с бидоном к первым колхозным домам. Не успевая прокипятить молоко, ставила бидон на подоконник, ближе к заросшему инеем стеклу, и уносилась на работу.

В обед бежала домой стремглав, скрестив под грудью руки. Под телогрейкой глухо постукивали стащенные на обжиге куски кокса в мешке.

Мария боялась встретить кого-нибудь из знакомых – вдруг да заподозрят неладное по непомерной пышности ее бюста. Она воровала уголь, отчаянно подавляя привитую с детства брезгливость к тому, чтобы брать чужое. Трусила и торопилась, но все равно озиралась по дороге и где палку подбирала, где – сухую ветку...

Страх перед холодом в ссыльных, познавших вечную стужу арктического моря, был так силен, что преодолевал запрет «не укради». Даже спустя годы, живя в теплых краях, они не могли избавиться от привычки осматриваться по сторонам в поисках возможного топлива.

Алчная печь поглощала поленья, как хищник мясо. Подбрасывая уголь в остывающее жерло, Мария всякий раз дивилась дальновидности мужа. За день до смерти Хаим пристроил в печи колосники для отсева прогоревшего шлака, словно предвидел, что жене придется использовать кроме дров уголь.

Выход тепла из трубы перекрывался заслонкой. Не до упора – горящий уголь выпускает угарный газ, но все равно в воздухе каморки витал едва уловимый запах отравы. Мария закладывала в ушки девочки ягоды размороженной брусники – народное снадобье против угара. Растерев затекшее тельце ребенка кусочком жеребьячьего жира, она мелкими порциями согревала молоко в защечной болтанке и, стараясь не пролить ни капли, вдувала жизнь в раскрытый по-птичьему ротик...

Летом барак, стоявший в болотистой низине, разбух от сырости. Мария сняла с окна вторую раму, надеясь, что комната хоть немного будет проветриваться. Тогда, несмотря на тщательно промытые карболкой стекла, в мельчайшие оконные щели стали проникать мухи и комары. Кто-то посоветовал повесить вместо шторок нарезанные лентами газеты, покрытые растопленной еловой смолой. Эти кладбища насекомых быстро превращались в мохнатые шарфы. Мария меняла липучки, как только удавалось сбежать в лес за смолой.

Но куда страшнее были нашествия грызунов. От шумного ночного писка и шебуршания у женщины заходило сердце. Не раз проносились слухи, что крысы то ли в Якутске, то ли в какой-то деревне объели лицо и ручки младенца, оставленного в одиночестве. Тварей могла приманить к Изочке тряпично-лепешечная закрутка, к которой девочка привыкла, как к пустышке, поэтому Мария, уходя, настораживала вокруг тахты мышеловки-плашки. Вечерами в комнате охотился одолженный у соседей кот. Возня в углах прекратилась, когда жильцы, измученные бессонницей, додумались рассыпать в подполе толченное со стеклом и ядом зерно.

Опасаясь всяческой заразы, Мария до бумажной белизны выдраивала

песком половицы, протирала тахту керосином, отпугивающим клопов. Керосин считался универсальным средством. Кроме дезинфекции, его применяли для лечения педикулеза, язвы желудка и простуды. Стоило закутать шею смоченной в керосине тряпкой и потерпеть ночью щиплющую боль, кашля наутро как не бывало. Но керосином изгоняли простую ангину, а лекарств от инфлуэнцы не имелось никаких, и накатывающие с запада эпидемии уносили десятки детских жизней каждую осень и весну. Не так давно инфлуэнцу начали называть гриппом – по имени вируса, вызывающего эту болезнь. По слухам, противогриппозные прививки плохо защищали, да и ставили их детям только в Москве, далекой, как чужая планета.

В журнале «Работница» Мария вычитала рекомендацию почетного академика Николая Федоровича Гамалея и по его рецепту смазывала ноздри дочки пеной хозяйственного мыла для профилактики от гриппа. Девочка сопротивлялась, чихала и плакала, зато ни разу не заболела. Привязанная веревками к тахте, она до прихода матери целыми днями возилась с креплениями, тщаь развязать хитроумные узлы.

Свой первый день рождения Изочка отметила тем, что ободрала поздно взошедшими зубками закрутку с рассосанным кусочком лепешки и проглотила гущу вместе с лоскутками.

В выходные дни на печке в жестяной ванне таял снег для мытья и стирки. Мария гладила, и в комнате становилось жарко, влажно; вкусно пахло занесенным с мороза бельем и волглой известью. В отверстиях чугунного утюга глазасто горели красные угли. За верхнюю планку оконной рамы цеплялась бровь месяца. Выкатывались на лунную дорожку сквозистые ежи перекати-поля и одинокими бродяжками двигались поверх сугробов в неизвестную даль. Мария снимала с коронки керосиновой лампы стеклянный колпак, до скрипа отчищала его от нагара ветошью и зажигала язычок фитиля в выпуклом гнезде...

Если бы Изочка умела говорить, если бы знала о существовании меда, она бы сказала, что тепло – цвета чая с гречишным медом. Чайно-медовый свет матовой лужицей растекался по поверхности стола, сиял в прозрачных камешках янтарных бус на шее мамы. В сумерках вокруг лампы мельтешила мошка, неизбежная во всегдашней сырости барака. На низком потолке, на фоне отраженного света, их волшебная пляска напоминала новогодний дождь конфетти.

Мария тихо пела литовскую песню о рождении янтаря.

Нет спокойствия в Балтийском море,

Там живет жестокий царь Пяркунас,  
Борода Пяркунаса в ракушках,  
А душа Пяркунаса гневлива...

Изочка разглядывала склоненное над нею лицо – стрелки ресниц в тенях голубоватых подглазий, округлые ноздри, бледный овал подбородка и сложенные мягкой трубочкой, словно приготовленные для поцелуя, губы. Каплями сгущенного тепла светился янтарь, вспыхивали искры золотистых прожилок. Тонким акварельным мазком на изгибе маминого предплечья лежал завиток выпавших из прически волос, плавный силуэт переходил в изломанную тень на беленой неровности стены...

Эту почти библейскую картину своего барачного младенчества Изочка запомнила на всю жизнь.

## Глава 9

### Без права на родину

После реабилитации кулаков контроль за соблюдением режима ограничений неожиданно ужесточился. Спецпоселенцев вызвали в комендатуру, и начальник зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что они останутся в пунктах жительства, определенных государством, «...навечно, без права возврата».

Власти, объяснил офицер, вынужденно приняли необходимые меры из-за участившихся побегов. На поиски беглецов были посланы оперативно-розыскные отряды.

– Не сомневайтесь, найдут всех! – гремел он, расхаживая перед подопечными в новых, начищенных до зеркального блеска сапогах. – За самочинный отъезд виновники будут наказаны двадцатью годами каторжных работ! Мы тоже получили команду об усилении охраны и должны полностью исключить возможность побегов! Каждого нарушившего указ отныне ждет каторга!

Кто-то громко разрыдался.

– Почему бы вам просто не уничтожить нас? – слышался возглас. И словно шлюзы открылись:

– Разве этот указ – не уничтожение?!

– Подло лишать людей родины!

– Лучше умереть, чем никогда ее не увидеть!

– Расстреляйте нас, повесьте!

– Убейте, убейте нас!

– Молчать! – рявкнул комендант, и подучетные, онемев, в страхе прикрыли влажные глаза.

Погибла мечта когда-нибудь вернуться на родину. В тяжелой тишине скрипели начальственные сапоги, потрескивали под тяжелыми шагами доски половиц. С подавленным плачем и хрустом вколачивалась в вечную мерзлоту робкая надежда.

– Подойдите и распишитесь, что вы ознакомлены с указом...

На другой день приехавший из Якутска полковник выступил перед рабочими на заводе. Просил сохранять бдительность, потому что враг не дремлет и, как только замечает расслабленность советских людей, тотчас порывается навредить социалистическому строю. Рассказал, будто месяц назад на одном из важных якутских объектов был разоблачен западный агент, нанявшийся сторожем. Его удалось поймать за руку, когда он, открыв отмычкой кабинет директора, собирался похитить ценные документы.

– Вы можете работать с таким шпионом бок о бок, разговаривать с ним, полностью доверяя ему, и не догадываться, что это за человек. Но едва оборотень обнаружит вашу беспечность, он начнет свою провокаторскую пропаганду, порочащую нашу жизнь, и вы сами не заметите, как окажетесь втянутыми в антинародные действия.

Ответив на вопросы, полковник подытожил:

– Если вы заподозрите в ком-то, пусть даже в вашем хорошем знакомом, врага, при любых его критических высказываниях о советской власти, о попытке агитации на подрыв производства и других контрреволюционных актах, нужно немедленно сообщить в ближайшее отделение милиции. Тогда с вашей помощью, возможно, будет выведен на чистую воду опасный диверсант... Ваш долг, товарищи, всегда быть начеку!

Поселок превратился в негласное, но вполне официальное гетто. Из-за страха каторги спецпоселенцы отказывались заготавливать дрова на отдаленных делянках, а в боязни доносов завербованных органами осведомителей прекратили всякие разговоры между собой об утраченных правах. Большая Родина навсегда лишила узников свободы. Маленькая родина стала недосягаемой.

## Глава 10

## Битва и раны

После отмены продуктовых карточек и денежной реформы взлетевшие втрое цены немного снизились. Но развернутой торговли мукой, крупами и макаронными изделиями, как было обещано на сессии Верховного Совета, не последовало. Продовольствие поступало на Север все так же с перебоями. В стране случился недород, а местного зерна не хватало. Народ с тоской вспоминал о карточной норме. Рыночная стоимость хлеба была запредельной, ведро сухих корок продавали на базаре за десять рублей, домашние караваи аж за сорок. В поселковой пекарне хлеба готовили наперечет, да и тот вяз на зубах – кисло-горький, смолистый, словно тесто замешивалось наполовину с опилками. Занимая очередь у ларька задолго до рассвета, люди грелись у костров. К семи утра подъезжала гужевая санная повозка, и грузчики принимались таскать из коробов лотки с буханками, испеченными в ночную смену. Под окошком приемки собирались дети и нищие. Если грузчики попадались добрые, то ссыпали им в ладони крошки с лотков, но чаще гнали. Иногда привозили вчерашние, мороженые буханки. Продащица рубила их топором, – многие покупали по граммам.

Однажды, пока Мария мерзла в очереди за хлебом, Изочка проснулась и выпуталась из веревок. Соскользнув с тахты, она побродила по комнате, умудрилась открыть дверь и доковыляла по коридору до уличной двери. Отворить ее и перебраться через порог силенок достало, а встать с колен на крыльце не смогла. К счастью, Мария была уже близко и услышала отчаянный дочкин рев.

Девочка обморозила коленки и подушечки пальцев ног. Докторша сказала, что подкожная клетчатка почти не повреждена, но дитя очень хилое, и неплохо бы на два-три месяца поместить его в стационар. Мария отказалась. Смертность в детском отделении всегда была большая, к тому же на прошлой неделе там сняли карантин по тифу, о чем педиатр сама и обмолвилась.

Дни больничного листа кончились быстро. Снова пришлось звать на помощь соседскую старуху. Изочка капризничала, не хотела оставаться с нянькой и, жалобно плача, тянула к матери исхудавшие ручки. Мария долго не могла заставить себя уйти и медлила с дочерью у порога. Сломя голову летела потом на работу и на разрыве легких, со слезящимися от ветра глазами, врывалась в подсобку секунда в секунду с заводским гудком. Осуждающе качая головой, бригадир без слов отмечал табель. За опоздания наказывали больно – удерживали в пользу государства

проценты с трехмесячной зарплаты.

Пришлось прятать съестное от бабки. Во время обеда та мгновенно проглатывала свою долю и горящими вождедением глазами провожала каждый кусок, поднесенный к чужим губам. Обнаружилось, что старуха выпивает оставшееся с вечера Изочкино молоко. Пойманная за руку, она смутилась, но долго ворчала в сторону, когда Мария, сдерживая подкативший к горлу ком гнева, спокойно сообщила, что будет приходить и кормить дочь сама.

Вдобавок ко всему на щеках у Изочки появилась шелушащаяся красная корочка и коросты на голове, которые она постоянно расчесывала.

– Золотуха, – констатировала бабка. Востроглазо приметив в углу под столом цветную бумажку, похожую на фантик, завистливо добавила: – Конфетами, знать, объелась.

– Какие конфеты! – возмутилась Мария. – Вы их тут видели? Хлеба купить не могу, а вы – конфеты!..

– От сладостей такое бывает, – не сдавалась упрямая старуха.

– Без материнского молока она у вас росла, искусственница, потому и диатез у нее, – подтвердила диагноз докторша.

– Чем же лечить?

– А ничем. Само пройдет. Сладкого поменьше давайте, кормите творожком, протертыми овощами, отварной рыбкой. Фрикадельки делайте из нежирного мяса, лучше телячьего, – и докторша произнесла модное слово «диета»...

Затянувшиеся было язвы, возникшие после обморожения на коленях и пальчиках Изочки, от золотухи опять воспалились. Мария присыпала мокнущую кожицу картофельным крахмалом, прикладывала к ранкам проглаженные тряпки с тертым стрептоцидом. К вечеру тряпки присыхали и отдирались только с теплой водой.

Бабка требовала повысить оплату за присмотр за больным ребенком.

– Цельный день меня морют, – брюзжала она громким безадресным шепотом. – Цельный день дома морют и здесь морют, сами краче жрут...

Мария удвоила для нее обеденную норму, но старуха по-прежнему не могла утолить голод и начинала шарить по углам, как только за хозяйкой закрывалась дверь.

Едва фразой-другой перекидывались вечером с бабкой. В цехе Мария молчала. Порой почти уже решалась, плюнув на частности, кинуться в ноги начальству и вымолить отпуск на время болезни дочери. Неужели не поймут – люди ведь, не звери... Но тогда придется брать молоко в долг, злоупотреблять без того невероятной добротой хозяев коровы. Мысль о

том, что Изочка может остаться без привычного молока, представлялась важнее всех объективных и необъективных обстоятельств.

Утром Мария вновь убирала скудные припасы под доски завалинок, звала няньку и бежала к заводу. Время, зависимое теперь от многих условностей, потеряло четкость – часы то оплывали тягучими минутами-каплями, то летели, спустив стрелки с тормозов. Безумными скачками, словно раненная в облаве волчица, мчалась по жизни Мария. Чтобы меньше терзаться думами о ребенке, напрашивалась на тяжелую сортировку, от которой все норовили отлынить, и двигалась безостановочно, как механизм, запущенный на выполнение пятилетки в три года. Начальник цеха, потрясенный непомерным усердием труженицы, пребывал в смущенных чувствах: женщина тратила себя будто в припадке самоистязания, на глазах спадая с лица.

В монотонном мельтешенье красных брусков Марии чудилось уплывающее от нее личико дочери. С закрытыми глазами дитя напоминало мертвого Хаима.

Память о муже не бредила душу. Перейдя к мертвым, он стал неотъемлемой частицей прошлого человечества – не отторгнутый, не отщепенец, каким казался на земле.

«Там, где ты находишься нынче, не бьются с жизнью, – в полубеспамятстве шептала Мария мужу, разбирая угробившие его кирпичи. – А меня жизнь бьет, видишь? Хотя ни один кирпич за смену не упал. Ноги целы... душа в синяках от этой битвы».

К вечеру Марию качало.

– Ты иди, иди, – ворчал начальник и на свой страх и риск выпускал женщину из проходной за два часа до конца рабочего дня.

Спеша домой, она пугалась собственной истаявшей тени. Молилась шепотом на ходу, глядя перед собой, не в силах поднять голову к небу:

– Господи, прошу Тебя, сделай так, чтобы моя девочка выздоровела поскорее. Не забирай ее у меня... Отче наш, Иже еси на небесех... Не забирай! Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас! Ты один можешь помочь, спаси мою дочь, спаси, спаси...

Слезы пристывали к лицу и жгли кожу. Смахивая лед со щек, Мария кощунствовала в злом отчаянии:

– А если Ты никому не можешь помочь, если от Тебя ничего не зависит, зачем Ты вообще... есть? За что мучаешь ребенка, за что наказываешь меня?!

Убедившись, что Изочка жива, грела о горячий бок печки трясущиеся от счастья руки:

– Сейчас, моя радость, мама возьмет тебя... Сыне Божий, прости! Да святится имя Твое...

Студеной ночью, когда углы комнатухи покрылись звездчатым инеем, а бревна стен звонко постреливали снаружи, Изочка так расплакалась, что даже подмороженные молочные пенки не смогли ее утешить. Дуя на воспаленные ножки дочери, Мария бормотала обрывки каких-то молитв вперемешку с неблагоговейной материнской мольбой и тоже плакала. Сварливый голос соседа напомнил ей из коридора об окружающем мире:

– Эй, дадите спать, нет?! Кончай скулеж, мамаша, не то придушу кутенка!

Мгновенная ярость подбросила Марию с табурета. Ринулась в коридор, но мужчина, к бурному ее разочарованию, успел скрыться. Она в диком остервенении пнула дверь его комнаты и сломала нижнюю перекладину:

– Посмей еще вякнуть, и я перегрызу твое поганое горло!

Сосед, против ожидания, почему-то не вознегодовал из-за сломанной двери. То ли знал, на что способен человек, дошедший до края, то ли просто удержала супружница.

А к утру тело Марии вступило в равновесие с битой жизнью душой – разбомбило ногу. Пришлось дать бабке два рубля, чтобы вызвала участкового доктора и сходила за молоком.

Выписывая больничный лист, врач недоверчиво вздохнул:

– Оступились, говорите? Что ж так неосторожно-то... Ахиллово сухожилие надорвали... Тяжеловатая травма при вашем небольшом весе.

## Глава 11

### Малиля – Малис

За день до выхода на работу Мария еле уговорила старуху хотя бы неделю посидеть с Изочкой. Пообещала, что прибавит еды и денег, не заморачиваясь покуда, где возьмет то и другое. Дочка, на удивление кроткая в последние дни, догадалась о новых часах разлуки и снова сорвалась в крик.

С темными полукружьями под глазами, волоча незажившую ногу, Мария бродила с ребенком на руках из угла в угол. Безысходным потоком с губ срывалось то, что горело и святотатствовало в лихорадочных мыслях. Будь проклята эта чертова жизнь... Будь проклята!..

Кто-то снаружи подергал ручку двери. Сосед запоздало вознамерился устроить разборки или еще каких сволочей принесло?!

Мария воинственно подобралась и, сунув в подушки притихшую дочь, подхватила прислоненную к печи кочергу. Готовая к ругани, драке, к чему угодно, с грохотом отбросила в сторону тяжелую щеколду... и кочерга выпала из тотчас ослабших рук.

– Майис!

Гостья ужаснулась изможденно-свирепому виду хозяйки, но не выдала себя и взглядом. Стрельнула глазами в комнату, высматривая ребенка.

– Дорообо, Марья. Бот, моя присол.

Неторопливо повесила на гвоздь крытую зеленым сукном шубу. Пройдя к кровати, громко понюхала пушистый Изочкин затылок:

– Сопсем Исэська болсой!

Дочка с любопытством уставилась на незнакомую женщину, чем-то похожую на маму. Сконфуженная Мария подобрала взлохмаченные волосы, кинулась растапливать печку, силясь сделать хромоту незаметной. Поставила на открытую конфорку чайник с колотым льдом, настрогала плиточного чая... Не смотрела на гостью, стыдясь красноречивой бедности своего жилья. А Майис о чем-то щебетала с Изочкой, как бы между прочим выкладывая из сумки на стол колобок чохоо́на<sup>[26]</sup> с земляникой, свернутые в рулет пластинки вяленого мяса, смолянистый шматок ягодной пастилы в обрывке вощеной бумаги.

Покачала серебряными серьгами, спадающими вдоль высокой шеи:

– Юрюнг кёмюс<sup>[27]</sup>. Стапан с тбой лоска делай. Красибай?

– Очень красивые...

По якутскому гостевому обычаю Майис первой начала рассказывать новости.

– Дом хоро́со. Сэмэнчик болсой, Стапан работай мно́га, денга есь, бурдúk<sup>[28]</sup> есь. Куобáх<sup>[29]</sup> попадай петля, ба́лык<sup>[30]</sup> мунгха́<sup>[31]</sup>.

Только теперь Марию вдруг потрясло острое осознание того, как ей до сих пор не хватало простого человеческого внимания. Неожиданно для себя она рухнула на табурет рядом с гостьей и разрыдалась, прислонясь лбом к ее плечу.

Майис ласково расправляла спутанные кудри Марии и говорила самые обыденные слова, от которых трещала и лопалась скорлупа, выросшая на измученном сердце. Мягкий голос будто прохладным шелком скользил по нему, проникая сквозь блаженно отмякающие трещины.

– Бесна присол, Марыя. Скоро тепло, нету плакай!

Девочка обычно чуждалась незнакомцев, а тут сразу пошла на руки к интересной тете, принесшей столько всякой еды. Закричала в радостном предвкушении, хлопая в ладоши:

– Мама, хахаль, Изося любит хахалья!

Мария гордо улыбнулась сквозь слезы: дочь впервые составила целое предложение.

– Как так хахаль? – удивилась Майис. Это слово было ей известно. «Хахалем» называла одна из приятельниц своего русского сожителя.

– Изочка чохоон с сахаром перепутала, – объяснила Мария.

Майис захохотала:

– Исэська по-русску, как моя! Исэська не уме́й по-русску! Сахар – хахаль!

Изочка запрыгала на ее руках:

– Хахаль! Хахаль! – Снисходительно потрепав по щеке смешно говорящую тетю, спросила: – Ты – мама?

– Майис, – улыбнулась гостья.

– Малис, – старательно воспроизвела девочка. – Малис, Малиля, – и, переводя пальчик от веселой женщины к матери, повторила: – Малис, Малиля!

Майис подала Изочке кусочек чохоона. Та обиженно скривила губки, кинула на стол:

– Не хахаль!

– Скуснай, – убеждала Майис. – Ам-ам. – Отщипнув от кусочка, зажмурила глаза, закрутила головой: – М-м-м! Скуснай чохоон,

дьэдьэнээх<sup>[32]</sup> чохоон!

– Чо-хон, – четко произнесла Изочка новое слово. – Дай чохон!

Запустила пальчики в тарелку с подтаявшим лакомством и, подражая гостю, скорчила довольную гримаску:

– М-м-м! Скуснай!

На пастилу, чей влажно-глинистый цвет ни о чем съедобном не напомнил, девочка даже не взглянула.

Мария встала на стул, без особой надежды пошарила на антресолях над дверью и нащупала-таки в углу за ящичком с инструментами Хаима припрятанную чекушку спирта, купленную когда-то для медицинских целей. Ура, целехонька! Хоть сюда не успела или, скорее, не сумела залезть вороватая нянька.

– Ок-сиз! – обрадовалась Майис. – Бодка пей-гуляй!

– Окся! Окся! Пей-гуляй! – засмеялась Изочка.

Комната наполнилась крепкими праздничными запахами. Граненые стаканчики-рюмки легонько чокнулись – поцеловались. Разведенная ледовой водой, хрустально взблескивала в них горячая жидкость.

– За здоровье, Майис.

– Сдоробье, Марья.

Терпкое хмельное тепло разлилось в теле, расслабило напряженные нервы. Оттаивая словно после долгой зимней дороги, Мария наслаждалась горячим чаем с кислой сладостью ягодной пастилы. Возвращался вкус к еде. К жизни...

Изочка, лоснясь щечками, сонно собирала с тарелки масляные катышки земляники. Майис по бережливой крестьянской привычке держала ладонь под ручкой ребенка, чтобы не пропали крохи съестного.

Дочь скоро уснула в кольце целебных рук гостя, зажав ломтик мяса в замусоленном кулачке. Мария хотела переложить Изочку на постель, но Майис отрицательно покачала головой.

– Пусь спай на руки. Моя скучай Исэська, моя думай: «Где Марья-балтым, где огокко? Много месяс, один год. Нету...» Силно плакай бот тут, – она с глубоким вздохом постучала себя по груди.

– Не хотелось вам досаждать, – виновато сказала Мария. – Изочка болела... Мне что-то постоянно не везло...

– Стапан услыхай от люди, где купит-продать молоко, – продолжила Майис и забавно заиграла бровями, изображая мужа: – «Старый баба ходил к люди, купил молоко Исэськи! Сам Марья сила нету. Нога болей Марья, огокко болей, ай, накаас<sup>[33]</sup>! Оннако, сам ходи к «кирпичка»!» Моя посол. –

И горестно вскрикнула: – А тут!.. Болей! Плакай!

– Уже не плачу, Майис. Спасибо, что пришла... Скоро, наверное, полегчает... Чуть-чуть потерпеть, и, надеюсь, Изочка совсем выздоровеет.

– Моя – дом огокко, – Майис махнула рукой в сторону двери. – Один, дба, три день, многа день-месяс. Моя смотри Исэська с мой Сэмэнчик, дба огокко – хоросо. Ты – работай, гости ходи Исэськи. Дом тепло, Исэська не болей, стал болсой, тостый – куобах есь, балык есь, молоко пей. Сдоробье! Нада – лето брал Исэськи, снега падай – опят моя смотри...

В голове шумел морской прибой, тело покачивалось, как в шлюпке на волнах. Мария едва сообразила: Майис предлагает взять Изочку к себе, присмотреть за нею до лета.

Еще сегодня утром она предположить не могла, что способна без слова возражения даже на день оставить ребенка в чужой семье, и вдруг согласилась с облегчением и уверенностью – у Майис дочке будет по-настоящему «хоросо». Гораздо больше Марию беспокоило, что она не может предложить ничего равноценного в ответ на эту огромную помощь.

Будто читая ее мысли, Майис радостно сообщила:

– Стапан так думай: «Грамотнай нада. Читай по-русску нада. Пусь Марыя учай». – И залилась озорным смехом: – Моя читай – работай нету, лабырык не пекла, печка холодной! Стапан ругай, моя – чита-ай! Потолок плюбай!

Майис по-прежнему была щедра молоком. Увидев, как Сэмэнчик примкнул к материнской груди, Изочка тотчас уверенно, без всякого стеснения притулилась рядом, словно наконец-то после долгой разлуки обрела утерянную собственность. Майис купала девочку в талой ледовой воде с настоем корней шиповника от золотухи. Щечки Изочки скоро налились и засияли свежим румянцем, тельце очистилось от корост, только на коленках и пальчиках ног остались темные пятна обморожения. Она снова начала шагать, опасно опираясь о стены, а через несколько месяцев ножки совсем окрепли. День-деньской бегали дети по дому с криками, неугомонные цыплята в желтых рубашонках, пошитых из «сталинской» фланели.

Мария приходила каждый вечер. С саднящим уколом ревности обнаружила она в собственном ребенке зачатки своенравия: Изочка перестала звать ее мамой. К матери и к обожаемой новой няньке дочь из каких-то интимных соображений решила обращаться по именам: «Малиля – Малис» и уже не отступала от этого знака равенства.

– Малиля, будь десь, – хныкала она, когда мать собиралась домой, а если та задерживалась допоздна, капризничала: – Малиля, иди... Малис

даст титю...

Мучаясь тем, что болезненная и плаксивая девочка доставляет массу хлопот посторонним, в сущности, людям, Мария всякий раз хотела ее забрать. Майис возражала:

– Огокко не сильно сдоробый. Будет сопсем сдоробый – домой пойдет.

Свободными вечерами Мария, как было обещано, проводила уроки, и смышленная хозяйка вполне сносно начала изъясняться по-русски. На занятиях она не сидела без дела: постигая премудрости русского алфавита, двигала ногой лопасть деревянной кожемялки. В зубастом зеве станка топорщилась жеребья шкура – будущая шубка для Изочки.

Считая себя неоплатной должницей, Мария приносила сюда дефицитные вещи, какие только удавалось раздобыть: несколько метров бязи, туалетное мыло, пакетик стекляруса, новую эмалированную кастрюлю, ярко-красную помаду в серебристом пистоне, которую подфартило выменять у соседки на полкило отрубей...

Майис уговаривала взять подарки обратно:

– Тбой дом сам нада кастрюл, мой юрта много посуда! Сачем красный губы? Я не ходи клуб на тансы, хахаль нету, одна Стапан!

Сердилась, когда Мария, смущаясь, втолковывала о своем долге.

– Так нада! Люди не кы́ыл<sup>[34]</sup>. Как это по-русску? Люди не сберь, люди – челобек!

Житейская мудрость Майис легко соседствовала с ребячьей смешливостью. Чуть что-то казалось ей забавным, она прыскала в кулак, и Степан шутя, а может, и впрямь в досаде от несерьезности жены, грозно цокал языком. Пристыженно умолкнув, Майис через минуту забывалась и покатывалась на пару со строгой «учительницей», которую невольно заражал ее искристый смех.

Тепло радушного дома, сердечность якутской семьи, а главное – спокойствие за ребенка вырвали Марию из засасывающей черной воронки. В отчаявшейся было женщине восстановилось хрупкое душевное и физическое здоровье. Она старалась не думать о подписке, о том, что никогда не увидит родину. Именно тогда Мария и стала такой, какой ее видели все последующие годы: молчаливой и суховатой, но всегда подтянуто-бодрой.

Завтра – встреча с дочкой и Майис, родной, как сестра, а еще – уроки, – улыбалась она, засыпая. Одиночество больше ее не страшило.

## Глава 12

### От алфавита до языка, от игрушки до сказки

– Смотри, Майис, это буква «в». Вагон, Василий, волк.

– Багон, Басылай, болк, – повторила послушная ученица.

– В – в, волк, – поправила Мария.

– Ясык саха нету такая букба, поятому она не мосет, – снисходительно пояснил Степан.

– И ты не мосет, – отпарировала жена.

Мария показала, как надо произносить букву «в»:

– Прижмите верхние зубы к нижней губе и сделайте резкий выдох.

Майис закусила губу так, что рот побелел:

– В! В! В! – и сама не поверила: – Я могу! Могу!

После этого заявила, что остальные буквы учить не будет, пока не закрепит «в», и весь вечер радостно восклицала:

– В-вагон, В-василий, в-волк! В-вагон, В-василий, в-волк!

– Б-в-вагон, б-в-волк, – учился произносить неподатливую букву Степан.

Старательно срисовывая в тетрадь букву «ж», Майис сказала:

– Ок-сие, буква-дьенчина.

– Тыый<sup>[35]</sup>! Почему ты решила, что «ж» – женщина? – удивилась Мария. Для нее занятия тоже не прошли даром: приятно было иногда вставить в речь якутские слова с их сложными дифтонгами. В этом музыкальном языке она насчитала больше двадцати гласных звуков.

– Где, где дьенчина? – вытянул шею Степан.

– В клубе, где ты играй на хомус, – засмеялась Майис. – Иди клуб, там тансы, мно-ого дьенчинов! Красивай!

– Своя есь, – буркнул, обидевшись, муж.

– Покажи, как буква «ж» походит на женщину, – попросила Мария.

– В середине – тело и голова, – охотно принялась объяснять Майис. – Вот по стороны ноги. Вот руки вверх.

– Тогда это мучина, – возразил Степан. – Тут что-то мезду ног торчит!

– Не торчит! – осерчала Майис. – Мезду ног, смотри, голова ребенка выходит! Дьенчина родит, руки к палке подняла...

– К какой палке? – не поняла Мария.

– Давно дьенчины стояли, дерзались за палку, палка была на потолок.

Так родили.

Буква Ж, жук-скарабей, действительно была похожа на рожаящую женщину.

– Скажай слова, – ткнув в букву, напомнила Майис.

– Жук, женщина, жара. Произносится так: прячем язык за зубами...

– Я сама, – перебила Майис и напряженно сжала зубы: – Ш! Шук, шенсина, шара... Нет, не получаисса!

– Тыый! Ты научилась выговаривать букву «ш»!

– Шар, – обрадовался Степан, заглянув жене в рот. – Шапка, шуба, шашни... – Он осекся, но было поздно.

– Что такое шашни? – прилежно отшепетывая слово, заинтересовалась Майис.

Степан замялся, покраснел как мальчишка и ответил жене по-якутски.

– Одни женчины на голове! – разозлилась Майис и нечаянно справилась с упрямым произношением.

К следующей весне, когда алфавит подошел к концу, Мария изобрела остроумный способ воспроизведения буквы «ф»: зажгла спичку и дунула на нее, издав звук, недостающий в якутской орфоэпии: «Ф-ф-ф!» Подражая наставнице, супруги сожгли целый коробок.

Место последней буквы поразило Степана – он нашел явную ошибку создателей азбуки:

– Буква «я» не на своем месте стоит! «Я» у человека всегда впереди, а здесь в хвосте, будто ей стыдно!

– Раздулась, гордая, как тойбон<sup>[36]</sup>, – вздохнула Майис. – Потому что не только буква, но и слово. «Я» правильно прогнали в конец, чтобы меньше гордилась собой. Стой она спереди, кричала бы только «Я! Я! Я!», и никто б не услышал других.

Мария не уставала удивляться обыкновению северян очеловечивать некоторые явления. Сознание якутов глубоко затронуло православие, затем сильно поколебало безбожье советской идеологии, но язычества в них было не искоренить, – из-за жизненно необходимого тесного и постоянного взаимодействия с природой, а еще из-за культового ощущения себя детьми высших сил тайги. Долгое – девять холодных месяцев – ожидание тепла сказалось на здешних жителях склонностью к творчеству и созерцательному спокойствию, а изредка, в крутой жизненной качке, – к неожиданно пылким крайностям.

Представления вдумчивой и сообразительной Майис о мире были проникнуты своеобразной поэтикой в сочетании с простодушным любопытством. За несколько лет «ученического» общения с Марией она

значительно обогнала Степана и усвоила русский язык так, будто знала его с детства. А Мария вполне прилично стала изъясняться на мягком якутском говоре, совершенно отличном от европейских языков, с выразительными аллитерациями. Дети не отставали от взрослых: русские и якутские слова вперемешку сыпались из них, как орехи из горсти.

Девочка проводила в семье Васильевых больше времени, чем с работающей матерью. Доверчивой глиной, податливой в бережной лепке, льнуло дитя к женщине, чей молочный запах еще долго тревожило и притягивало рудиментарное младенческое обоняние. Певучий голос матушки Майис умел разбить обиду и успокоить боль, в улыбке жила нежность, а в руках – ловкость и веселая власть над вещами. Изочка училась у Майис женской сметке и способности находить новизну в привычных событиях и предметах. Маленькое домашнее пространство наполнялось в восприятии девочки внебытовой, не утилитарной значимостью, в прозрачной детской памяти запечатлевались цепкие наблюдения – крепи постижения мира и понимания жизни.

Посреди юрты Майис нарядно белела русская печь. Вдоль стен тянулись деревянные нары-орон, накрытые плетеными из конского волоса циновками, с горками разновеликих подушек и лоскутных одеял, сложенных в изголовьях. К Майис очень подходила якутская пословица: «Пока хозяйка идет от лежанки к камельку, она успевает проверить восемь вчерашних дел, обдумать девять сегодняшних дел и наметить десять завтрашних». Днем Изочка никогда не видела Майис отдыхающей, а все нечастое свободное время та вышивала бисером узорные вставки для унтов по заказам городских модниц. Сама мастерица ходила в кожаных торбазах. В небогатом колхозе никто не носил унтов, дорогую обувь из привозных оленьих камусов<sup>[37]</sup>, да и коровьи шкуры на торбаза добывались сложно – хозяева скота были обязаны сдавать кожано-меховое сырье государству.

Разноцветный бисер хранился в спичечных коробках на низком швейном столе, где стояла большая шкатулка с нитками и накрученными на палочки сухожилиями для шитья торбазов. В крышку шкатулки была встроена суконная игольница. Майис объяснила, что иглы с большими отверстиями, «как глаза у русских», предназначены для разного шитья, а тонкие, с узкими «якутскими» глазами, – для вышивки. Изочке нравилось раскладывать бисер в коробочки по цветам, а вышивать так и не научилась – быстро наскучило нанизывать и закреплять рассыпчатые бисеринки. Вот следить за движениями умных пальцев матушки Майис было одно удовольствие, в них все, за что бы она ни бралась, становилось послушным и радостным.

Дяде Степану тоже с видимой охотой подчинялись дерево и кожаный сыромят. Железо в кузнице вообще соглашалось течь, как вода. Дома «мужское» царство располагалось справа, где в плохо освещенном углу угадывались плотницкие инструменты, граненые копыта пешней<sup>[38]</sup> и ружье в чехле. На полке примостились манерки с дробью и порохом, мешочки с самодельными пыжами, черканы и петли на зайцев и куропаток. В юрте круглый год пахло лесом из-за березовых поленьев, сохнувших на верхней приступке печи. В искусных руках дяди Степана дерево оживало. И не просто пробуждалось, а начинало петь! Древесный голос не скрипел, не трещал, как в лесу, – свистел и завывал неведомым эхом, стремительным ветром, и, точно от ветра, во все стороны разлетались желтые стружки.

Дядя Степан был великим мастером «от черня до лодки» – так говорили о нем. Вечерами он вырезал серьезные вещи – шаблоны для сгибания охотничьих лыж или деревянные части ободов, а иногда, в добром расположении духа, делал игрушки из тальниковых прутьев для своей и деревенской ребятни.

Рожки на лбах бодливых коровок топорщились в разные стороны шильцами, у оленей поднимались веточками. Дети играли в «колхоз», пасли стада и хозяйничали в своих «усадебках».

– В моем сельсовете живут солнышки, – фантазировал Сэмэнчик, заметив по солнцу в передних окнах юрты, – смотри, Изочка, у нас их два!

Она не поверила, побежала от одного окна к другому – и правда, в каждом сияло солнце!

– Мои солнышки, – важно сказал Сэмэнчик и, глянув на погрустневшую Изочку, расщедрился: – Ладно, одно твое...

Не часто он был таким добрым, в игре обычно забирал коровье стадо себе, а подружке оставлял олень. «Колхоз» с коровами считался богатым, ведь они дают больше молока, и требуха их в похлебке жирная, вкусная, с дивным запахом сена и хлева. Мария почему-то с кислым лицом отворачивалась от такой похлебки, дочь же ела за обе щеки...

Изочка предложила тянуть жребий из целой спички и половинки: кому достанется целая – тому коровки. Сэмэнчик разжал кулак – да что такое, опять олешки Изочкины!

– А мне-то коровы, а я-то богач! – заскакал мальчик, дразнясь, и нечаянно выронил вторую спичинку. Она тоже была половинчатой.

Изочка ударила обманщика в грудь:

– Отдавай коров!

Он не остался в долгу и стукнул по лбу.

– Конечно, ты сильный, – заплакала Изочка. – Зато я уже все буквы

знаю, а ты только болтаешь много!

– Ну и что! Для мальчиков главное – сила! – заявил бессовестный Сэмэнчик.

– Ах, так! – завопила она и вцепилась ему в волосы.

– Бьются, как двухтравные быки! – Дядя Степан, смеясь, схватил драчунов в охапку. – Не стыдно, эр киһи<sup>[39]</sup>, девочку обижать?

– Она первая начала...

– Он у меня всегда коров отбирает!

– Нашли из-за чего ссориться! Да я вам сейчас целую ферму настругаю!

Сэмэнчик тотчас воспользовался благодушным настроением отца:

– А сказку расскажешь?

– Принеси нож и ветки, – дядя Степан уселся на низкую лавку перед печкой. – Есть одна песня-сказание о том, как дух леса Байанай глупого силача проучил. Будете песню слушать?

– Будем!

Обламывая с прутьев побеги, он негромко запел:

Где, когда – о том я не скажу,  
жил на свете Тэ́ке-богатырь,  
что не так был силой знаменит,  
как хвастливой глупостью своей.  
Вот однажды высмотрел в лесу  
Тэ́ке белку на кривой сосне  
и подумал: «Жаль, не взял ружья!  
Но не зря же я ношу топор?  
Эх, в два счета дерево срублю,  
и зверек мне в руки упадет!»  
Скоро наземь рухнула сосна.  
Где же белка? Спрыгнула на ель!  
Рассердился Тэ́ке-богатырь,  
размахался острым топором —  
щепки полетели до небес,  
снег растаял, потекли ручьи!  
Сел на пень измаянный силач  
и не верит собственным глазам:  
хитрой белки след простыл давно,  
лес вокруг поверженный лежит!  
За спиною смех услышал вдруг.  
Оглянулся, видит: позади,

среди пней, резвится, хохоча,  
дед веселый в беличьей дохе!  
Тэке испугался, еле жив,  
опрометью кинулся домой.  
Силой не хвалился с той поры,  
поумнел изрядно, говорят...  
Дух лесной, веселый Байанай  
животворным ветерком подул,  
и деревья встали, как всегда,  
словно не касался их топор.  
Превратился в белку дед опять  
и забрался в теплое дупло  
отдохнуть от справедливых  
дел и пустоголовых силачей...

Дядя Степан кончил петь и усмехнулся, покосившись на Сэмэнчика:

– Ну, это сказка, а сила-то для нас, мужчин, все равно главная, верно?

– Нет, – опустил тот голову. – Немножко главная. Только чтобы стать кузнецом, как ты.

– А почему ты хочешь стать кузнецом?

– Потому что тебе вкусную еду за работу дают, – засопел Сэмэнчик.

– В следующий раз расскажу вам сказку о жадном кузнеце, – вздохнул дядя Степан и вручил новых коровок Изочке.

Дети любили ходить в кузницу, приземистую избу у озера на краю села, откуда начинали разбег лесистые горы. Пол в кузне был глинобитный, в воздухе витали густые запахи горячего металла и окалины. Огонь сиял в горне, словно горка новеньких медных монет в лисьей шапке. Дядя Степан стоял перед наковальней в кожаном фартуке с кузнечными клещами в левой руке и молотом в правой – незнакомый, пурпурный и прекрасный человек-творец.

«Динг-донг! Динг-донг!» – ухал молот, взлетал рой золотых искр, и бесформенный обрубок раскаленного железа превращался в нужную вещь – тележный шкворень, лемех для плуга или косу-горбушу. Парнишка-помощник раздувал мехи, похожие на снятые чулком шкуры с задних лошадиных ног. Мехи дышали тяжело, натужно, как старый человек в беге, железо в горне разгоралось ослепительным куском солнца. Синие полосы остывающих ножей шипели в лотке рядом с колючими холмиками простых гвоздей и четырехгранных гвоздей-костыльков.

В углу ждали своей очереди свинцовые чушки для изготовления дроби,

самовары и чайники – мастер принимался за них после колхозных поручений. В кузню часто наведывались люди с просьбами подковать лошадь, оправить железом полозья саней либо подлатать какую-нибудь кухонную утварь. За работу заказчики обычно расплачивались чем-нибудь съестным. Кузнецам всегда жилось чуть сытнее, чем другим, даже в войну.

## Глава 13

### На аласе<sup>[40]</sup>

В первые военные годы якутскую землю измучил страшный зной. Высохшие озера покрыли тайгу пятнами парши. От невыносимой жары возгорался торф, леса пылали, над выжженными полями носились черные ураганы. Воспаленный глаз солнца подслеповато щурился в пеленах дыма и пыли. Старики говорили, что такая напасть выпадает раз в век. Ни трава, ни зерно не всходили совсем. Засуха покатила дальше, лето за летом гуляла она по всей стране.

Несмотря на то что корма возили по Лене из Сибири, их не хватало для жалких остатков когда-то многоголового общественного стада. В деревне наступил голод. Жители поселка приравнялись к городским и получали карточки с нормой продуктов, а сельчанам пайкового лимита не полагалось. Правда, в складах хранилось зерно, но председатели берегли его для посева...

Очень скоро постулат «кто не работает, тот не ест» война переименовала в «кто не работает, тот не живет». Занесенные снегом трупы неделями некому было убрать с улиц. Тогда для поддержки голодающих обком вынес решение не ограничивать охоту на зайцев. Народ из последних сил поднялся ставить заячьи петли, драл с сосен по весне смолистую заболонь<sup>[41]</sup> и толпами выходил на неводьбу...

После войны небо неожиданно пролилось сэкономленными дождями, не скупясь и на солнце. Зерно не помещалось на токах, под излишки спешно сколачивались сараи. Урожай картофеля на весь год снабдил поселок едой, и в город не одну тонну увезли. Капусты уродилось так много, что зимою ею кормили на фермах коров...

Вместе со всгустевшими травами у людей окрепли надежды. Теперь Степан вознамерился поставить «русский» дом из лиственника, и во дворе понемногу стал накапливаться отборный лес. Весной Степан построил хлев. Сбылась мечта Майис – купили корову. Пестрая, с коричнево-

палевыми пятнами на круглых боках и большим розовым выменем, она была просто красавица и молока давала много. Ее звали Мичээр, что значит Улыбка.

Колхоз выделил кузнецу покосный алас над Леной. Как раз начался ледоход. Огромные торосы – белые медведи-великаны, покрытые игольчатым мехом, плыли стаями с верховий, откуда слышалась непрерывная канонада. Льдины трещали, расстреливая друг друга, тонули и выныривали стоймя, расколотые вдоль, как сахарные головы<sup>[42]</sup> с высоко задранными макушками. Река на глазах Изочки и Сэмэнчика превращалась в гигантскую армию. Шумные войска катились бесконечной лавиной, и каждый боец грозил тучам сверкающим штыком. Полководец-ветер гнал грузные тучи в хвост и в гриву, подхлестывал их с гиком и свистом, не давая времени повисеть на месте и облегчиться ливнем... А лишь прошел лед, наступили яркие, теплые дни, и всходы трав потянулись к солнцу, торопя сенокос.

Дорожка к аласу бежала через перепутье у шаман-дерева – старой сосны с толстым рыжим стволом. Верхние ветки ее украшали свечечки шишек, средние были увиты черно-белыми шнурами, сплошь в цветных ленточках и прядках из лошадиных грив. У подножия громоздилась куча мелких вещей – от копеечной меди до вышитых бисером кисетов для табака. Степан, хоть не верил в духов, по древнему обычаю всегда «угощал» комель кусочком лепешки или привязывал к шнуру припасенную ленточку. Изочка тоже подарила шаманской сосне голубую атласную ленту из косички. Насмелилась прижаться ухом к стволу дерева, и оно загнулось, как телеграфный столб. Почудилось, вот-вот откроется волшебная дверь в смолистой коре, приглашая войти в золотистую сердцевину...

Поблизости находился сайылык<sup>[43]</sup> трех странных старух. Неразговорчивые, мрачные, они кое-как косили траву для своей безрогой коровы. Предложить старухам помощь никто не решался. Сэмэнчик сказал, что в деревне их зовут «ийрбит» – «простоквашные», и что они – бабушка, мама и внучка. Изочка удивилась – все три были одинаково седые, морщинистые и старые-престарые. Друг от друга отличались лишь одеждой: одна носила серое платье, другая – коричневое, третья – черное в белый горошек.

Раз вечером, привлеченные светом керосиновой лампы в окне юрты простоквашных старух, дети не смогли удержаться от соблазна подкрасться ближе и заглянули внутрь...

Сэмэнчик тихо охнул. Изочка глазам не поверила, увидев в руках той бабки, что в платье горошком, тряпичную куклу. Две другие, весело переговариваясь, раскладывали возле себя на столе маленькие предметы... игрушки, вырезанные из тальника! Старухи играли в «колхоз».

– Слово «иирбит» означает не только скисшее молоко, но и человека, чья голова испортилась. То есть не совсем здорова, – вздохнула Майис. – Была семья богатая, работающая, да сгинули мужчины. Посчитали их кулаками и выслали в неизвестные края без письма и возврата. Хорошо, сельсовет хоть корову с покосом старушкам оставил, и в голод не извел кормилицу никто. Чем только живы после налогов...

Дети не обмолвились о чужой тайне, но стали огибать стороной соседний луг, на котором медленно и шатко двигались с косами три сгорбленные фигурки. Потом Степан выкосил самые трудные кочковатые участки на аласе старух и без лишних слов помог им поднять стог.

Тучная трава на покосе сыто лоснилась, полощась под ветром в разные стороны над проборами неглубоких овражков. Изочка не ленилась собирать граблями подсушенные валки, и Сэмэнчик не жалея сил трудился для Мичээр, настоящей, не «тальниковой» коровы. Все старались заготовить для нее побольше хорошего корма на долгую зиму. Молоко на столе теперь не переводилось, а в подполье отстаивались сливки.

## Глава 14

### Мортыжки

Однажды матушка Майис налила сливки в эмалированный тазик и насыпала туда горсть голубики.

– Что это такое? – ткнула Изочка в деревянный кружок с встопорщенными волнами, всаженный в гладкую палочку.

– Ытык, огокком, по-русски – мутовка. Я взобью ытыком кёрчэх из сливок, – сказала Майис, сунула волнистый кружок в миску и завертела палочку ладонями. – Видишь, ытык кругами втягивает сливки в середину, делает их крепкими и высокими. Похоже на то, как растет человек.

– Человек похож на сливки? – удивилась Изочка.

– В чем-то – да, – засмеялась Майис, – а движения ытыка – на ход жизни. Человек втягивает в себя прошлое – память о бабушках-дедушках, живет настоящим, думает о будущем и поднимается в кругах жизни выше и выше. Так из «жидкого» он становится твердым, сильным, мечты его

сбываются... Ытык – небесная вертушка предков, мудрая у него душа.

- Разве у вещи бывает душа?
- Она есть у всего живого.
- Ытык – живой?!
- Эта вещь выстругана из дерева, а оно – живое.
- Человек тоже выструган из дерева?
- Нет, человек создан любовью из плоти и крови.
- А Мария говорила, что человека создал Бог.
- Бог и есть любовь, огокком...

Сливки с помощью живого ытыка «выросли» втрое, превратились в пышную массу, полную воздуха и сиреневую от голубики, как вечерние тени в сугробах. Округлые лепешечки кёрчэха заполнили большой железный лист. Дядя Степан унес лист в ледник – заваленную лиственничной корой землянку, где ступени за толстой дверью спускаются в подвал и дальше – в вечную мерзлоту.

В подвальном прирубе хранились мясо и молоко. Налитое в миски, молоко застывало в них лунными чашами. Сверху на бело-желтом круге собирались мерзлые сливки, и Майис разрешала детям немного их сострогать. В нижнюю часть ледника с еще одной дверью дядя Степан закладывал зимой плиты озерного льда. Талая ледовая вода всегда чиста и свежа, пить ее можно не кипяченой. Говорят, человек, который всю жизнь пьет только ледовую воду, доживает до ста лет...

Мария сказала, что мороженые лепешечки называются мортыжками. Изочка услышала как «мартышки». Она видела мартышек в книжке про Айболита, но на картинках были похожие на людей хвостатые звери, а эти напоминали нежные сиреневые раковинки.

– Кёрчэх делается не из мартышек, – возразила Изочка. – Майис накрутила его ытыком из сливок, я сама видела. Откуда бы она взяла мартышкино мясо, если они живут в Африке?

- Мортыжки почти что мороженое.
- Как мороженое мясо?
- Мороженое взбивают из молока или сливок, как кёрчэх.
- Почему тогда «мартышки»?
- Просто слышится одинаково.
- А какое оно – мороженое?
- Я же сказала: вроде мортыжек...
- Хвостатое?
- Мороженое, горе мое!
- А почему его называют по-другому?

Мария подумала-подумала и ответила сердито:

– Потому что мороженое – это мороженое, а мортыжки – это мортыжки!

Вечером дядя Степан принес из ледника железный лист с пристывшими лепешечками-раковинами и отбил их кулаком с обратной стороны. Лакомство оказалось в тысячу раз вкуснее сливок с «лунного» молока.

После Изочка хвасталась девочкам в бараке, что ела мороженых мартышек, а девочки смеялись и не верили. Сливок они тоже никогда не пробовали.

## Глава 15

### Лесное, речное, небесное

Разглядывая цветные фотографии в «Огоньке», Изочка с Сэмэнчиком поразились тому, как много в Москве, где этот журнал выпускается, неведомой им еды. Особенно интересны были маленькие желтые чороны<sup>[44]</sup>-груши и красные мячики-яблоки, усыпавшие деревья гуще, чем шишки сосновые ветки. Когда Мария в один из воскресных дней принесла красные плоды в авоське, дети закричали:

– Яблоки, яблоки! Ты с каких деревьев их сняла – с елочек или сосен?!

– Купила в буфете теплохода «Механик Кулибин», – улыбнулась Мария. – Но это не яблоки, а помидоры. Они на кустах растут.

– Как красная смородина?

– Да, только в огороде, не в лесу.

– Вкусные?

– Узнаете! – Мария загадочно улыбнулась и нарезала помидоры в тарелку...

Позже Сэмэнчик нашел в журнале картинку с помидорами и пожалел москвичей:

– Бедняги! Наверное, они едят такие нехорошие пицци, потому что в Москве не растет кислица.

Изочка согласилась. Сок в помидорах оказался водянистый, без сладости, с привкусом прелых картофельных очистков... То ли дело – красная смородина! Стоит только подумать о ней, как во рту становится кисло, а от горстки ягод глаза на лоб лезут – забористее кумыса, кислее щавеля и терпче в сто раз! Потому и прозвали кислицей.

Скоро поспела черная смородина, ягода сладкая и духмяная. Матушка Майис повела детей за нею далеко, матерым сосняком, по пятнистой от солнца тропе вдоль брусничника, выкупанного в прохладе утренних рос. Высокие и прямые, как на подбор, стволы редкого на севере строевого леса смыкались кронами, – словно нетуго натянутый мелкочаеистый невод колыхался вверху. Золотая пыльца свивалась в лучистую пряжу и, пронизывая зеленоватую мглу, рассеивала крапины света на невызревших розовых россыпях брусники.

У откоса, сбегаящего с супеси в мшистую впадину, Изочка вспомнила эти места. В прошлом году поздней осенью, незадолго до снега, они с

Сэмэнчиком собирали здесь листья толокнянки для лекарственного настоя, пока Майис, обутая в пропитанные жиром торбаза, бродила в низине. По икры утопая в пышном моховом одеяле, она прутяным веником мела в туес чуть подмерзшую багряную клюкву...

Хотелось увидеть таежного духа-хозяина Байаная из песни дяди Степана или белку, в которую превращается веселый лесовик. Внимательно осмотревшись, Изочка заметила только летучих созданий цвета лазури. Поднимаясь к взгорью из влажных пойм, они стригли прозрачными крылышками застоялый, пропахший хвоей воздух и под другим, «не волшебным» углом зрения оборачивались простыми стрекозками. А впереди маячила обыкновенная Майис, озаренная веснушчатым солнцем...

Изочка разочарованно вздохнула: не было в тайге чудес.

Со спокойной уверенностью сквозила Майис в прошве солнечных нитей. Изочка глянула искоса, по-особенному, и восторженно: прекрасная незнакомка плыла перед нею в золотом сиянии, как устремленное в таинственную глубь лесное божество!.. Да и впрямь! Разве не Майис известны в урманах все петлистые тропки с отпечатком копыт в подсохшей глине, все нарядные клюквенные пади, все поречья, на чьих распаренных грозами почвах так вольготно разрослась этим летом смородина?!

Сторожкую тишину вдруг взорвало резкое квохтанье. Огнем и тревогой чиркнуло на свету рыжее оперение кукши... Майис остановилась, качнувшись, точно кто-то толкнул ее в грудь, и побежала к прогалу за развилкой тропы, где резвилось свободное солнце. Дети понеслись следом, и за поворотом им открылась уродливая картина – подобной они не нашли бы в своей короткой памяти.

Неизвестная сила безжалостно и неумело вырезала большой кусок заповедного бора. Горючая смола заливала высоко покромсанные пни. Их было много. Среди раздавленных трактором можжевельных кустов, затоптанного вереска, корья и щепы валялись кучи отсеченных сучьев. Беспомощно вздрагивала на ветру живая хвоя снесенных верхушек, еще не успевших понять, что остовов у них уже нет...

Майис медленно двигалась по захлавленной вырубке, касаясь рукою пней... и пела.

– Домм-эре-домм...<sup>[45]</sup> О-о, мои родичи, рожденные стоя! – печально пела она по-якутски. – Сгубили вас хищники с черными мыслями, с мутной кровью испорченных вен... Осквернили древесную колыбель алчной тягою рук рвать, крушить, загребать тайком...

Склон, изрытый тяжким железом тракторных гусениц, уходил развороченной колеей вправо, в сторону города. Самочинные вальщики, очевидно, разбойничали в безлюдной глуши не однажды, но нынче очень торопились, раз не удосужились подобрать выпавшие или не поместившиеся в клады лесины, – бросили поперек дорожных борозд...

Изочка чувствовала боль поруганной тайги. Она будто слышала хрип-визг двуручных пил, слышала, как под довершающими ударами топора с треском и стоном рушились красивые сосны. Нет, вовсе не богатыри вроде глупого Тэке бесновались тут, гоняясь за белкой, и дух-хозяин не сумел бы восстановить похищенный лес. На месте этого жестокого побоища кончалась сказка...

– О-о, не держите зла на человеческий род из-за крысьеподобных татей, в чьи убогие души вселился демон наживы!.. Домм-эрэ-домм, – завершила песнь-молитву Майис и подняла с земли ветвь, изгрызенную зубцами гусеничных полозьев.

– Тебя кукша о плохом предупредила? – спросил Сэмэнчик.

– Может, и она, – уклонилась Майис от прямого ответа.

Сэмэнчик со значением подмигнул подружке... Ой! Скорбь на незакаленных весах детских чувств тотчас сменилась радостным удивлением. Изочка замерла в восторге. Как же сама не догадалась?! Рыжая белка, рыжая кукша... вот оно, чудо! Байанай, конечно, способен превратиться в любого зверя и птицу. Встретится ли волшебник снова и чей образ примет тогда?

Суходол с благородным хвойником остался позади, на пологой проплешине захороводилась сосновая молодежь. Под оборками нежно-зеленых платиц паслись выводки крепконогих маслят. Будь здесь мама Мария, до страсти любившая собирать грибы, непременно бы кинулась к ним, а матушка Майис равнодушно прошла мимо соблазнительных лаковых шляпок. Никто в семье Васильевых, включая Изочку, не поддавался на уговоры Марии отведать чуждую якутскому вкусу «коровью отраду» ни в супе, ни с жареной картошкой. Степан вообще считал грибы опасной снедью: довелось видеть, как буянил несмышленный бычок, прельстившийся какими-то поганками...

За хилым, увязшим в болотине осинником неожиданно выхлестнул пестрый, как праздничная косынка, луг в цветах, окаймленный зрелыми смородиновыми кустами. Распатлые ветки истомленно гнулись под бременем прозрачно-коричневых на просвет и матовых черных ягод.

Дорваться до ягодного изобилия да вначале не наестся вдосталь?! Жмурясь от кислинки и удовольствия, Изочка надкусывала стреляющую в

нёбо сахаристую мякоть, вобравшую в себя жар и запах цветочного лета, и думала о странном вкусе матери. Помидоры! Грибы, хм-м! Интересно, могут ли хваленые яблоки-груши сравниться с душистой сладостью черной смородины? А тем более земляники! Недавно Майис для лучшей сохранности спахтала землянику с маслом в большом туесе. Занесет дядя Степан зимою заветный туес из ледника, и воздух в доме наполнится густым благоуханием земляничной поляны...

Крупные многоплодные кисти застучали по донцам туесков сперва звонко, потом тише, глуше, и наконец все звуки мира победило безумолчное нытье комаров в оба уха. Изочка поспешила прислонить посуду к коряге. Отмахиваясь от зудящего гнуса левой рукой, правой дергала литые гроздя и воображала, что помогает Майис доить корову Мичээр.

– Добирались сюда вон как долго, а трудились с час, – сказала довольная Майис, глянув из-под ладони на солнце, и плотно замкнула крышкой заплечный короб.

Берестяная укладка была размером с ведро, но проворная сборщица успела и ягод насыпать с верхом, и хорошо отдохнуть, пока дети заполняли свои туески. На крышку короба легла искалеченная ветвь, прихваченная в разоренном гнезде горного леса...

В траве под выемкой коряги приткнулись одна на другой три пухлые олады, по числу гостей – отдарок Байанаю за щедрость. Отвесив поясной поклон радушному лугу, Майис повернулась лицом в сторону елового колка, за которым блестили волны реки. Изочка знала: коль случилось приблизиться к Лене, водяного духа тоже надо попотчевать домашней стряпней... Хорошо! Свежий ветер на берегу отгонит комариные тучки.

Чуть наклонясь под тяжестью увесистого туеса, Сэмэнчик вприпрыжку побежал к колку. Майис засмеялась, покачивая головой: ох уж сильный, ох, нетерпеливый **эр киһи!**.. Взяла Изочку за руку, и скоро перед ними во всю безоглядную ширь распахнулся могучий речной простор, исполненный слепящего блеска и сини. Казалось, этот берег и тот, противоположный, – полоса желтоватого тумана, точно разлитое сырое яйцо, – еле удерживают свободолюбивую реку в песчаных объятиях. На покосном аласе берег обрывист, и сразу под ним летит темная быстрина, близко не подойдешь. А тут береговая полоса длинная, ровная – есть где разгуляться и людям, и волнам.

Путники разулись. Сырой песок приятно охлаждал разгоряченные ступни. Наспех перекусив, Сэмэнчик умчался на поиски красивых камней.

Накативший прилив слизнул с ладоней Майис три оладушки, принял

умирающую сосновую ветвь и схлынул.

– Лесное, речное, небесное – лес на моей земле, река в небо, вода и воздух, – пела Майис.

– Зачем ты отдала ее реке?

– Большая вода развеет таежную боль, – задумчиво сказала Майис, следя за тем, как ветвь ныряет и возносится с гребня на гребень.

– Лес тогда перестанет плакать?

– Да... и не затаит зла на людей.

– Он плакал внутри меня, – пожаловалась Изочка.

– Это называется состраданием, огокком. Твое сердечко научилось чувствовать чужую беду, как собственное горе.

– О чем ты пела там, на холме?

– Разве ты не слышала, о чем? – внимательно глянула Майис.

– Ты просила прощения у деревьев из-за тех плохих дяденек, потому что они их срубили... Но ведь и дядя Степан привез бревна для нового дома?..

– Он привез лес с деляны, разрешенной на валку для строительства. Ровно столько, сколько нужно, ни бревном больше.

– А прощения попросил?

– Конечно, и убрал все до последней веточки.

– Зимой люди сжигают в печках много-много деревьев!

– Видишь ли, лесники, которые охраняют тайгу, выбирают для заготовки дров нездоровые, сорные участки, с сухостоем и буреломом. Если такие места не чистить, они начинают болеть – гнить, мокнуть, проваливаться и в конце концов превращаются в болото.

– Лес болеет, как человек?!

– Как любое живое существо.

– Лес растет, плачет, радуется и сердится... да?

– Если жить с ним по честным законам, не сердится.

– Реки тоже живые существа?

– Это жилы и вены земли.

– А наша Лена?

– Бабушка Лена – кровь и молоко тайги, огокком...

Изочка забралась с ногами на пригретый солнцем валун. Река пела. Не как матушка Майис, и вообще не как человек. У нее был голос живой воды: журчанье, звон, рокот, плеск... Может, и у крови такой голос – меняющийся каждый миг? Похожий на шелест листьев, шорох звериных лап по тропе и орлиный клекот...

Скрестив руки на груди, Изочка прислушалась. Она гордилась тем, что

ее сердце научилось чувствовать чужую боль. В нем молча текла кровь и робко стучала маленькая жизнь.

Хлопотливые волны шили бесконечные шапки из пены и облаков. Шили и несли в дар морю Лаптевых, где Мария жила когда-то с папой Хаимом на мысе Тугарина-Змея. Но Мария не любит вспоминать ледяное море. Чаше вспоминает нездешнее, Балтийское. Говорит о нем таким голосом, будто сейчас заплачет, и глаза смотрят вдаль, хотя перед ними не морское раздолье, а облупленные стены барака.

Изочка сидела на валуне, обняв колени, и тоже смотрела вдаль. Лена сливалась на горизонте с небом, и было непонятно, где небо, а где река. Впрочем, найти линию, отделяющую воду от воздуха, Изочка не старалась. Ей было некогда. Она не очень уверенно шла в неглубоком ручье своих разноцветных раздумий и ловила одну важную мысль, а та ускользала рыбкой, дразнясь и притворяясь незначительной. И вдруг Изочка ее поймала.

Мысль была о том, что, если б какой-нибудь волшебник, не Байанай, а другой, предложил Изочке поменять Лену на Балтийское море, она бы не согласилась. Ни за это море, ни за остальные моря-океаны, ни за сто лучших рек в мире и даже стран. Ведь не поменяла бы она маму Марию и матушку Майис на кучу самых красивых и добрых мам, какие только существуют на свете... Так же и с бабушкой Леной.

## Глава 16

### Кровь памяти

Сэмэнчику повезло найти на берегу рыжий и крапчатый, как яичко дрозда-рябинника, камешек с отверстием посередине.

– Куриный бог, – сказала Мария. – Есть поверье, что такой камень приносит удачу.

– Это янтарь? – спросила Изочка.

– Нет, сердолик.

Изочка вынула из шкатулки и показала мальчику янтарные бусы:

– Мой папа собрал янтарные камешки на берегу Балтийского моря. Он сам провертел в них дырочки, сделал бусы и подарил Марии.

Услышав в Изочкиных словах неприятный ему намек, Сэмэнчик пробурчал:

– Люди находят разные камни... Их не обязательно дарить кому-то...

Большинство людей оставляет красивые камни себе...

Мария больше не носила бусы, не хотела ворошить былое. Чем дальше во времени отступали давние события, тем ярче и выпуклее становились они в памяти, подсказывавшей забытые подробности. Прошлое казалось реальнее настоящего. Мария боролась с собой, отгоняя воспоминания, как одинокие хозяйки стараются не думать о неподъемной подвальной двери, из-под которой дует холодом склепа, запустением и нераскрытыми тайнами – пусть там, за дверью, треща, лопаются опоры и грозит рухнуть фундамент, лучше ничего не знать. Но дочь достала бусы из шкатулки и вызвала к жизни призраков, вроде бы накрепко запечатанных в истрадавшемся сердце кровавым сургучом...

Сдвинулось в глазах, повернулось время. Разбросались, будто детские башмачки на песке, смоленые лодки в дюнах, взъерошились на крышах сараев растрепанные гнезда аистов, и в чьем-то беспечном саду под тяжестью перезрелых плодов согнулись ветки груши. Горячим валом, пестрыми волнами хлынули картины, звуки, сгущенные запахи осени в Паланге... Ноздри Марии невольно затрепетали от острого обонятельного наваждения.

**Домик на задворках благоухал медовыми яблоками. Ветер, летящий с моря в открытые окна, оставлял на губах привкус йода и соли. В кузнице белоголового Иоганна пахло каленым солнцем. В хозяйском доме стоял приторный аромат южных цветов – запах женщины с глазами египетской кошки...**

**Бархатное, с надменными нотками, контральто донеслось издалека: «Приехал, разведал о моем вдовстве и ни дня не вытерпел, нагрязнул. Сказал, чем пахну, – лавандой, мол, я и не знала. Ох, как же он нюхал меня! Мой белый зверь!..»**

Реальность ворвалась в память громким требованием Изочки:

– Мария, расскажи Сэмэнчику сказку о янтаре, которую любил папа!

– Жаль, я не смогу спеть вам красивую песню, как пел ее твой отец...

Она на литовском языке, вы не поймете слов.

– Но ты же рассказывала просто сказку, помнишь? Ну, ту, где слезы русалки превратились в янтарь!

**Слезы! Хаим, зачем ты подарил мне слезы?..**

Щелкнув пальцами перед лицом матери, непочтительная дочь заглянула ей в глаза:

– Ты опять куда-то далеко смотришь! Ну ладно, не хочешь – сама расскажу. Слушай, Сэмэнчик...

**Констанция освещала ночную дорожку лампой и с чистосердечным**

бесстыдством любовалась стройной спиной квартиранта. «Счастливая ты! – шепнула Марии, вспыхнув мерцающим глазом. – Твой Хаим – сама любовь».

Мысленный образ хозяйки яблочного домика в мыслях же вызвал улыбку. Мария запоздало посмеялась над собой, над непонятым в то невинное время всплеском ревности, ведь тогда ей всерьез почудилось, что песня, как сумасбродная женщина, вот-вот уведет от нее мужа в бурю непознанных искушений и шквальной страсти, в блистающий подводным солнцем дворец на дне...

Дети о чем-то спорили.

– Солнце сделано из огня, а он погас бы в воде.

– Может, в море вода из воздуха?

– Вода из воздуха не бывает!

...Воздух был соткан из небесной воды. «Бежим!» – крикнул Хаим, и они помчались куда-то сквозь обвал неба, в лучистый ливень, мокрые и счастливые. Земное чрево спрятало их от грозы под корнями упавшего дерева. Там муж подарил Марии янтарные бусы.

– Янтарь горит в воде, как солнце, поэтому он «бел и горяч»! – крикнула Изочка.

Сэмэнчик не отступал:

– А я думаю, он горяч, потому что горький.

– Не облизывай бусы, глупый!

– Сама ты глупая! Камешки не горькие. И они не белые, а желтые.

– Мария, скажи ему, что янтарь бел и горяч!

– Сейчас, – вздохнула Мария, выныривая из ливневой памяти. – Горе, горечь, горит – все эти слова одного корня. Когда человек чувствует горе, у него горит в груди, ему делается горько. Поэтому о слезах говорят, что они – горячие. Янтарь и впрямь горит, если его зажечь. Пылает белым светом, хотя встречаются разные камни: желтые, рыжие, похожие на сердолик, черные, зеленоватые... В Клайпедде одна добрая старая женщина – ее звали фрау Клейнерц – подарила мне янтарь, оправленный в золотое сердце. Он был прозрачный, а внутри светилось разделенное надвое зеленое семечко.

– Я не видела у тебя янтаря с семечком.

– На мысе я обменяла его на теплую одежду для папы.

– А помнишь, ты говорила про ягодки, похожие на янтарь?

– Да, это морошка. Как янтарные бусинки, рассыпанные во мху...

Пани Ядвига квасила тундровую ягоду. Морошка была единственным средством успокоить капризничавшего Алоиса, а до явления врача народу – единственной едой мальчика. Всех остальных

**малышей на мысе прибрала голодная смерть.**

– Мариечка, ты плачешь?!

– Нет, нет...

– Расскажи о северном сиянии!

О, безжалостный ребенок!..

– Северное... сияние... очень красивое. Горючее. Сначала кажется, что в небе загораются свечи. Потом ветра носятся с ними, играют, играют, пока какой-нибудь неосторожный ветер не подожжет небо.

**...На улице стоял мертвецкий холод, но Хаим позвал, и все вышли, накинув на себя, что нашлось впотьмах. Нийоле вынесла даже маленького Алоиса, закутанного в верблюжье одеяло. Небо полыхало разноцветным костром. Жестокая природа ледяного взморья, переживая редкие сентиментальные минуты, выжимала из себя краски и то ли плакала, то ли веселилась – отчаянно и обреченно. Пожар раскинул по поднебесью радужные переливы – щедрые, яркие, и отступила слепота авитаминоза и цинги... Сволочи-цинги.**

**Пестрые столбы танцевали над дорогой и как будто на ней самой. А по дороге, в окружении пляшущих огней, тащился домой после нелегких трудов бригадир труповозов Кимантайтис. Старик, должно быть, переживал, что выболтал обитателям последней юрты на аллее Свободы большой секрет. По наущению милиционера Васи он выбивал у покойников золотые коронки...**

– Мария, у меня от твоих слез горит в груди, и в носу стало горько!

Память с азартом кладоискателя перебирала обрывки прошлого, торопилась воссоздать слова и детали минувшего быта, подробности дум и движений, словно исподволь подводила, готовила к чему-то... К чему?

**...Собачья упряжка бежала по огромной тундре вспять к маленькому кочевью, будто тот, кто управлял людскими судьбами, нашел на запыленных полках забытую бобину и зачем-то решил прокрутить назад кинолентку с сюжетом изломанной жизни.**

**От ослепительной белизны снега ломило в глазницах. Наметенные пургой сугробы успели слежаться, и ноги ступили на твердый наст. Откинулся меховой полог, лицо опухло теплом, замешанным на запахах человеческого жилья и аромате свежесваренного мяса. Копченые олени окорока в опоясках золотистого жира свисали с перекладыны под отверстием для отвода дыма. В голове клубились, наслаивались друг на друга больные сумерки. Над теменем лязгнули ножницы, отделяя тугую косицу живой боли... Старуха с древесным лицом, закрыв глаза, пела древнюю шаманскую песнь. Звала,**

**выманивала наружу угнездившуюся в сердце беду...**

Не в силах освободиться от напора гибельной памяти, от себя самой, Мария вдыхала воздух времени, истекшего в вечность, и чувствовала, как неотвратимо погружается в темные воды, в давно ожидающую ее хищную хлябь.

**...И рухнула в глубине запретного сна установленная кем-то плотина. Кровью из вскрытого горла хлынул горячий ручей. Поток заструился навстречу коварному сну, к пошевеленному лиху, где на смертном краю застыла толпа темноволосых обнаженных людей, предназначенных к жертве во имя чистоты арийской крови. Автоматные очереди расстреляли их многоголосый вопль. Падали, падали прерванные жизни, исчезая в обрыве немоты и забвенья. Облако жирной копоты окутало забрызганное кровью дерево. Кровь памяти раненого сердца Марии стекала в безумную черную пропасть.**

– Мариечка, проснись! Не кричи так страшно, я тут, с тобой!

**...И виноватая в побеге кровь остановилась, дрогнула... побежала назад, суетливо втягивая в обратный ручей рассыпанные, как шарики ртути, алые капли.**

Взволнованное детское дыхание коснулось лица. Изочка тормозила мать, целуя ее и плача, спасая от кошмарных видений.

Мария обняла дочь, привлекла к себе растерянного Сэмэнчика.

– Детки, детки мои! Я вас напугала?

– Ты кричала, как будто уснула и увидела во сне что-то плохое...

**Это сон? Чей он, сводящий с ума?..**

– Простите меня... Я сильно устала и, видимо, вправду уснула...

**Чей бы он ни оказался, вещие глаза памяти успели просквозить по темноволосой толпе. В ней Мария не углядела белокурого мальчика, сидящего на руках пожилой женщины. Их обоих там не было...**

Не было.

## **Глава 17**

### **До свидания, «кирпичка»!**

Марию навестил приехавший на гастроли Гарри Перельман.

– От Якутска до нашей «кирпички» явно не пять километров пути, а почти сто! Ты не боишься каторги? – удивилась она.

Музыкант засмеялся:

– Есть разрешение! Все очень просто – я даю уроки сольфеджио дочке очень важного чина.

Гарри пообещал договориться, чтобы Марии переменили место жительства на город, и увез в отделение спецпоселений ГБ<sup>[46]</sup> ее заявление-просьбу. Уже через неделю в конторе Якутского государственного рыбного треста нашлась вакансия делопроизводителя. Причем даже с предоставлением комнаты в общежитии!

Раздосадованный комендант заставил Марию подписать кучу бумаг и, уловив невольный вздох, заметил, что ей еще придется повздыхать в Якутске.

– Здесь-то вы только фамилию свою на бланках черкаете, а там придется снова заполнять все анкеты, – предупредил он. – Потом с вами побеседуют, и не раз. Если ваши ответы кому-то не понравятся, могут к черту на кулички отправить – в шахту или опять на рыбный промысел.

– Хуже не будет, – сказала Мария, почему-то твердо в этом уверенная.

– Ну что ж, удачи вам, – кивнул офицер, и она, как не однажды было, подумала: хороший человек...

Утром собрались переезжать. Связав нехитрые пожитки в баулы, Мария втиснула их в жестяную ванну, накрыла матрацем – вот и все имущество.

Майис трудно переживала предстоящую разлуку с Изочкой и не отпускала ее от себя под предлогом шитья новой шубки из оленьего меха взамен истершейся жеребьячьей. Ставший родным ребенок уходил в новую жизнь, где матушки Майис рядом не будет.

– Ой, какая красивая! – запрыгала Изочка, в восторге от накинутой на плечи обновки. Капюшон и рукава шубки были отделаны бисером, из-под обшлагов выглядывали пришитые к ремешкам ондатровые рукавички.

Тяжко вздыхая, Майис огладила подол:

– К подкладу полоса кумача пристрочена. Во всем, что красного цвета, сидит серебристобородый дух огня, рыжеголовый дедушка. Он обережет мою... нашу девочку от дурных глаз и злых духов.

– Опять духов вспомнила, – засмеялся Степан. – Сгинули давно шаманские духи вместе с русскими чертями.

– Ок-сиэ, – невесело усмехнулась Майис. – А то я не видела, как ты своих кузнечных духов маслом угощаешь!

Сэмэнчик сунул Изочке в руку крохотный узелок на палочке. Вся она была покрыта вырезанным по бронзовой коре орнаментом: в мальчике начали обнаруживаться наследные способности.

Изочка развернула узелок, а там – сердолик!

– Пусть курицын бог принесет тебе удачу, – шепнул Сэмэнчик, краснея.  
– Куриный, – поправила Изочка.

Веселый талисман, рожденный рекой-бабушкой, хранил тепло мальчишеской ладони. Изочка, конечно, очень обрадовалась подарку, но понимала чувства Сэмэнчика.

– Не жалко?

– Жалко, – честно признался он.

– Зачем тогда?..

– Ты – девчонка, а я сильный, поэтому я хочу, чтоб тебе повезло, больше, чем мне жалко, – сумбурно пробормотал смущенный мальчик и завязал на шее подружки кожаный шнурок, продернутый в дырочку куриного бога.

Занятые своими переживаниями, они чуть не пропустили торжественный момент вручения Марии серег, точно таких же, как у Майис. Степан отлил их из остатков серебряной ложки.

Ахнув, Мария прижала руки к груди, не способная слова молвить: красота неопишная!

– Это серьги-женщины, – принялась объяснять довольная Майис. – Смотри, кружок под зацепкой на сереге – голова, треугольник под ним – платье, в середине оно округлое, потому что в животе ребенок, видишь рисунок на выпуклости? Седьмого ждет женщина, шесть висюлек снизу – тоже дети. Такие серьги юным нельзя носить, их женщинам дарят на счастье.

– Спасибо... Я и забыла, что когда-то носила серьги. Они чудесные...

Майис помогла вдеть украшение. Степан, одетый в темную рубашку, придумал прислониться к окну снаружи, чтобы стекло стало как зеркало. Мария повернулась и не узнала себя: из смутного отражения на нее взглянула прекрасная незнакомка. ореол дымчатых волос вился вокруг лица, вдоль шеи блестели многодетные серьги-женщины.

– Ты очень красивая! – выдохнула восхищенная Майис. – Знаешь, всякое бывает... Может, там, в Якутске, найдешь свое счастье.

Зеркальная красавица обняла Майис. Заулыбались в окне, засверкали одинаковыми серьгами две Греты Гарбо – светлая и смуглая...

Одна из Грет вдруг охнула, всплеснула руками:

– Чуть не забыла! – и сдернула платок с таинственной горки на столе. – Это тебе!

– О-о-о! – воскликнула Майис и с размаху уселась на голые доски тахты.

Под платком скрывалась швейная машинка – прекрасная черная

кобылица! Не совсем, правда, новая и без футляра, она все равно была чудо как хороша, – расписанная повдоль золотым узором, с гербом на лаковых боках «крупа» и с белой костяной ручкой на изящном изгибе рукоятки!

Изочка знала, каких трудов стоило Марии купить машинку. Весь год подтягивала по русскому языку нерадивого сына заводского начальника. Пришлось, конечно, добавить – на доплату ушли деньги, вырученные от продажи вещей, которые решили не брать с собой.

Майис любовно огладила машинку ладонью, крутанула ручку, и пришел в движение, ровненько застрекотал послушный механизм, деловито застучал острым клювом никелированный журавль-стерх...

Когда радость от подарков поутихла, Майис взяла Изочку на колени, закачала, заплакала:

– Огокком!.. Как я буду без моей птички?

Мария тоже пригорюнилась:

– А как мы без вас?

– Ну-ну, потоп начался, не на краю света Якутск, день пути на лошади, – заворчал Степан. – На грузовике и вовсе три часа... Чаше приезжайте!

– Нельзя поселенцам так далеко...

Выйдя на улицу, Степан поставил ванну с вещами в задок телеги – начальник на прощание разрешил воспользоваться казенным «транспортом». Новоселы примостились за спиной кучера, лошадь тронулась...

Васильевы стояли у дороги и махали руками вслед.

– Матушка Майис, – прошептала Изочка. – Я к тебе скоро приеду! – И в полный голос сказала: – До свидания, старый барак! До свидания, «кирпичка»!

Начиналась незнакомая жизнь. Изочке и Марии было одновременно весело и страшно.

## Часть вторая

### Жалость – сестра любви

#### Глава 1

##### Общее житье, «всехная» кухня

К утру, миновав ряд землянок, огородов и юрт, прибыли к длинному новому дому, обнесенному решетчатой городьбой.

– Здесь мы будем жить?! – радостно закричала только что проснувшаяся Изочка.

– Да, – подтвердила Мария, разминая затекшие ноги, – здесь, на этой улице. Она называется Первая Колхозная.

Кучер помог занести ванну в просторную комнату, обращенную окнами к солнцу. В середине комнаты возвышалась диковинная круглая печка, обшитая выкрашенным черной краской листовым железом, с выпукло-рисунчатой, чугунного литья, дверцей.

– Голландка, – произнесла Мария неизвестное Изочке слово. – Дает много тепла, но готовить на ней нельзя. Жуть, какая черная.

– Разве мы больше не станем ничего варить?

– В общежитии есть общая кухня.

В коридоре под потолком темнела знакомая тарелка радио. Кухня размещалась в конце коридора. С висящего на двери плаката ткнул пальцем в Изочку сердитый человек с вытаращенными глазами. Пришлось зажмуриться и дернуть за ручку вслепую.

Половину кухни занимала беленая печь с четырехконфорочной плитой и духовкой сбоку. Угловой стол покрывала коричневая клеенчатая скатерть, а под лавкой со скрещенными «балетными» ножками виднелась крышка подпола с кольцом-зацепкой. «Общежитие – общее житье, поэтому кухня – всехная», – сообразила Изочка. Заводской барак тоже называли общежитием, но общей кухни в нем не было.

Ой, что это?! С подоконника на Изочку уставилась пара человечков с ягельными волосами. Кривенькие ветки – ручки-ножки – вставлены в горбатые корешки, лица задорные и лукавые...

В дверь, нагнувшись под низкой притолокой, вошел высокий дяденька в гимнастерке и смешных, как перевернутые бутылки, брюках-галифе.

Отвлёк от человечков. На голове у дяденьки дыбился седой ежик, под носом топорщились черные усы, а в руках помещалось целое хозяйство: сковородка, авоська с картошкой, тарелка с соленым огурцом и крынка с подсолнечным маслом.

Весело глянув на Изочку сверху вниз, дяденька подмигнул:

– С новосельем, кудрявая! Это твоя мама такая красавица? В тресте работает? Вы в третьей комнате слева поселились?

– Да, – пугливо пролепетала Изочка, коротко ответив сразу на все вопросы. Уж больно дяденька большой.

– Рядом будем жить, – обрадовался он. – Ну, давай, что ли, знакомиться! Я – ваш сосед, Павел Пудович Никитин, на вашем детском языке, стало быть, просто дядя Паша. А ты кто?

– Изольда, – прошептала Изочка.

– Как-как? – переспросил любопытный Павел Пудович Никитин.

Изочка повторила.

– Ишь ты-ы, – уважительно протянул он. – Сама с туесок, а имечко – с возок!

– Это по опере, меня так папа назвал, – осмелела Изочка.

– По опере, говоришь? Значит, вы с мамой музыку любите... А папа?

Изочка пожала плечом.

Дядя Паша больше не стал спрашивать про папу и пригласил:

– Ну, приходи ко мне в гости музыку слушать. У меня патефон есть.

Дверь коридора выходила в сени с пристроенным чуланом. Изочка завернула в него: ничего интересного, то есть вообще ничего. Выбежала во двор. Ой, как здорово – на всех окнах ставенки и фигурные наличники! Их еще не успели выкрасить, и желтое, будто яичком смазанное дерево смотрелось нарядно на фоне округлых и тоже пока светлых бревен.

Напротив общежития высился старый амбар, сложенный из толстых плах. В амбаре не было окошек, только прорези-отдушины под самой крышей. На двери висел большой полукруглый замок. Что там хранится? Изочка залезла на забор и заглянула в ближнюю отдушину. Сквозь паутинные сети внутрь сочились пыльные лучи, но в черной глубине все равно ничего не разглядеть, а пахнет мышиным пометом и гнилой соломой.

По улице прошагал смуглый человек в соломенной шляпе и синей рубахе до колен. На шесте за его плечом болтались плетенные из тальника корзинки с овощами. Человек приблизился к калитке, опустил поклажу на землю и завопил истошным голосом:

– Ледиса, лука, лепа, леденса! Ледиса, лука, лепа, леденса! – все на

букву «л». Подождал немножко и отправился дальше.

Тут из общежития выбежал дядя Паша и закричал:

– Эй, «китайса», подожди!

Смуглый громко начал хвалить товар:

– Лепа сладкий, ледиса сладкий, леденса сладкий, лука зеленый!

Дядя Паша принялся торговаться, сокрушенно качая головой:

– Репа твоя больно маленькая! Одно название, что репа – ни каши, ни сказки не спроворить! А это что за осот – бородой трясет? Редиска, говоришь? Чего у тебя луковая связка с три слезки всего? Сбавляй, брат, цену!

– Холосый овося, десовый, – защищался продавец.

– Ладно, уговорил, давай редискину бороду, пяток репок и «леденсу», – согласился наконец разборчивый дядя Паша. – Вот тебе петушок-гребешок, – протянул Изочке прозрачного красного петуха на палочке.

– Спасибо, – поблагодарила Изочка и поспешила к Марии хвастать леденцом. Откусила по дороге – хрусть – ой! А голова-то у петуха пустая!

Мария задумчиво стояла перед печкой.

– А мне леденец подарили! Только он стал немножко без головы! – закричала Изочка.

– Кто?

– Петушок-гребешок!

– Я спрашиваю – кто подарил?

– Дядя Паша!

– Сколько раз говорила, чтобы ты ничего не брала у чужих людей!

– Я и не беру без спросу, – обиделась Изочка.

– Ну вот еще новости – у чужого человека леденец выпросила!

– Не выпрашивала, дядя Паша сам подарил...

– Откуда ты взяла этого дядю Пашу?

– Он наш сосед.

– Ах, ну если сосед, – рассеянно сказала Мария и снова повернулась к печке: – Что за траур! Кошмар, а не печка! Какой-то гроб с музыкой.

Изочка засмеялась: в открытое окно и впрямь, коротко взвизгнув, грянула музыка. Невидимый певец затянул волнистым голосом под клавишный аккомпанемент: «...нивы печальные, снегом покрытые...»

Мария слабо улыбнулась:

– Козин.

– Не козин, а дяди-Пашин патефон. Можно я в гости пойду музыку слушать?

Улыбка мгновенно исчезла с лица Марии.

– Еще чего не хватало! Не успели переехать, как она уже в гости набивается!

– Я не набивалась. Дядя Паша позвал!

– Нет уж, дорогая моя. У нас сегодня масса дел, сейчас пойдем и купим краску. Все равно какую, лишь бы черное закрасить. Сил моих нет смотреть на этот катафалк.

Музыка стихла. В окне вырос могучий бюст дяди Паши, и Мария от неожиданности вздрогнула.

– Помощь нужна? – прогудел он.

– Ничего нам не нужно, – сердито сказала Мария. – Я полагаю, вы и есть тот самый дядя Паша, о котором дочка мне все уши прожужжала? Спасибо, конечно, за леденец, но прошу больше ничего подозрительного моей дочери не дарить и не появляться в окнах так... неожиданно.

– Извиняйте, – сконфузился дяденька. – Я ж по-простому, по-соседски, помочь чего.

– Может, знаете, где светлую краску купить? – смягчилась Мария.

– Для печки? – засиял дядя Паша. – Я тоже первым делом эту бандуру закрасил. Белила остались голубенькие – я в них сухой синьки добавил. Мне краска больше ни к чему, а вам хватит с лихвой.

Полчаса спустя он приволок ржавую железную кровать с прогнутой панцирной сеткой и фигурными спинками.

– Ну вот, сетку мигом подтянем, а если краски еще есть чуток, обновите боковушки – и ладушки.

– Сколько я вам должна?

– Что вы, – дядя Паша покраснел. – В амбаре полно всякой рухляди. Ничья, прежние хозяева бросили, тут раньше дом ссыльных скопцов<sup>[47]</sup> стоял.

Сосед и вправду быстро подправил кровать, сетка стала тугая, и пол под ней припорошила ржавчина.

– Маслом почистите и тряпку под матрац киньте, не то замарает, – посоветовал дядя Паша и затоптался у порога, словно чего-то выжидая. Мария вопросительно смотрела на него, а он все не уходил. Она развела руками:

– Водки у меня нет. Завтра куплю, сегодня некогда.

Лицо дяди Паши до ушей залилось багрянцем. Изочка почувствовала, что добрый дяденька сейчас заплачет, и с упреком глянула на Марию.

– При чем тут водка? – пробормотал дядя Паша. – Что хотел сказать-то: вы мне одну зарубежную артистку напоминаете. Фильм видел, «Ниночка» называется. Американцы про нашу жизнь забавное кино сняли. Совсем у

союзников неверные о нас представления. Вот там эта артистка главную роль играла. Грета Гарбо звали, я запомнил.

– Отчего же звали? И теперь так зовут.

– Значит, вы ее знаете?

– Лично – нет, – засмеялась Мария. – Но фильмы с Гарбо я тоже видела.

...В комнате стало уютно. Дядя Паша отремонтировал и принес стол, два стула и этажерку из амбара. Пообещал сколотить тахту Изочке из списанного шкафа в ветеринарной станции, где он работает. А еще – поставил на подоконник человечка с ягельными волосами! Вот кто, оказывается, мастерит таких человечков.

Печной кожух и кровать красиво блестели в ночном воздухе, пахнущем масляной краской. Спать новые жильцы общежития легли на полу.

– Завтра понедельник, день тяжелый, – вздохнула Мария. – Куча дел... Устроились, слава богу. Приятного сна, дочка.

– Почему ты сказала «козин» про дяди-Пашин патефон?

– Козин – фамилия певца. Это он пел «Утро туманное», Вадим Козин.

– А почему утро туманное?

– Потому что зима. Холод...

– А кто такие нивы?

– Не «кто такие», а что. Нивы – это поля.

– Печальные?

– Зимой они всегда печальные. Спи.

– А мы тут долго будем жить? – спросила Изочка, зевая. И, не дождавшись ответа, уснула.

## Глава 2

### Почему сердце слева

Последние дни лета выдались на редкость жаркими. Изочка целыми днями носилась с соседской ребятней. Собирали перезревшую кислицу, объедались ею, аж скулы сводило. Купались в быстрой протоке возле прилегающего к городской окраине совхозного огорода и до медного глянца загорали на горячем песке.

У воды стоял черный, мшистый от влаги насосный домик. Одноглазый сторож качал воду для огорода, куда было строжайше запрещено ходить, но иногда старик позволял поливать огромным шлангом круглые головки капусты и полосатые, сливающиеся на горизонте гряды картофеля.

Дрожащие осколки дня чешуйчато плескались в реке. Южный ветер доносил с другого берега сладкий и немного тинный запах боярышника. Сторож плел тальниковые корчаги, обмазывал их изнутри тестом из отрубей, но ничего серьезного, кроме ершиков и мелких окуней, не попадалось. Щукам и ельцам больше нравились дождевые червяки на крючках. Старик брал себе удочную рыбу, а корчажную отдавал ребятам. Рыжий мальчик по имени Гришка пек для Изочки хрустящих, как семечки, окушков в сизом пепле костра.

Засучив штаны, сторож плавал с мальчишками в протоке. Грудь у него была седовласая и ребристая, с тощей шеи свисал оловянный крестик на крученой нитке.

– Разве Бог есть? – поинтересовался у него Гришка.

– Может, есть. Может, нету.

– А крестик зачем носите?

– Для красоты, – засмеялся старик. – Только никому о моей «красоте» рассказывать не надо, лады?

– Бог – человек?

– Не человек. Бог – он Бог, – сторож добросовестно старался ответить на вопросы.

– На кого похож? На дяденьку?

– Не на тетеньку же!

– А зачем поп нужен?

– Чтобы помогать человеку идти к Господу.

– Далеко?

– Далеко. До неба.

– Туда, что ли, можно дойти?

– Раз ведут, стало быть, можно.

– Как шагать-то? Ногами?

– Да уж и не руками, малец. Душой люди идут.

– У души есть ноги?

– Про ноги не знаю, а глаза и уши, видать, есть.

– Душа есть у всего живого, – робко вставила Изочка слова матушки Майис.

– А у Бога два глаза или один?

– Два, наверное, – подмигнул сторож единственным оком. Слепой его глаз зиял темнотой, в зрячем сверкало солнце.

– Почему у людей по два глаза? – надоедал Гришка.

– Для подстраховки, если один ослепнет...

Изочка вдруг с удивлением осознала, что у каждого человека два глаза

и уха, две руки и ноги. Вон как удобно придумано! Заболеет, к примеру, и отпадет одна рука – вторая есть для работы, отпадет нога – можно на другой скакать... А рту некуда падать, он и так – дырка, поэтому рот один и находится посередке.

Гришка, кажется, подумал о том же, потому что спросил сторожа:

– У людей нарочно по две половинки?

– Да. На левой стороне – зло, на правой – добро.

– На левой – зло? Отчего же в ней сердце?

– Оно как сторож. Бог его слева поместил, чтоб за злом следило...

Ребята постарше рассказывали разные истории. Одна из них, о привидении древней юрты, стоящей якобы не очень далеко в лесу, показалась Изочке особенно страшной.

– Говорят, в этой юрте сто лет назад жила семья, – посвистывал тревожным шепотом большой щербатый мальчишка. – Хорошо жила, пока не началась чума или какая-то другая холера. Опасная, в общем, зараза, от которой мор. Семья заразилась друг от друга, и все померли – отец, мать, дядьки, тетки, детишки. Все, кроме старого деда. Соседи перестали его навещать, думали, что он чумной, а если старик приходил к ним, закрывали дверь и не пускали. Потом вся деревня взяла и уехала оттуда. Дед остался один и повесился в юрте.

– Наверно, нечего было кушать, – предположил кто-то. – Или заскучал и не выдержал.

– Ну, не знаю... Вот висит он год, висит второй, никто с петли не снимает. Потом надоело и слез с тубаретки. Сам не заметил, как в привидение превратился. Мой старший брат видал его, когда в ту сторону на охоту ходил. Бродит, рассказывал, вокруг юрты белый-белый старик с веревкой на шее и воет, и плачет-надрывается... Всех уток распугал в затоне...

– Плачет?! – ужаснулась Изочка.

– Не отпели человека по-доброму, не похоронили, вот и мается душа неприкаянная, – вздохнул сторож. – Наружу осталось тело-то, не в земле, потому и не берет к себе смерть.

...Всё на свете имело души, сердце следило за злом, жизнь была полна удивительных событий, жутка, таинственна и невыразимо прекрасна.

## Глава 3

### Кукленьш и кукла

Над кустом шиповника кружилась белая бабочка, будто крупная снежинка заблудилась в предосеннем лесу. Изочка тихо подкралась, сложила лодочкой ладони:

– Бабочка, бабочка, сядь-посиди, я тебя не трону, только посмотрю!

Бросок, сомкнутые ладони раскрылись... Где бабочка? Улетела, исчезла!.. А что это там, под шиповником у забора? Неужели кукла?!

Изочка хотела оповестить остальных, но подумала, что кто-нибудь непременно отберет находку, и сказала только рыжему Гришке. Дети долго рассматривали мягкого голыша, слабо обтянутого тонкой резиной цвета красной глины. По некоторым признакам Изочка поняла, что это не кукла, а кукленьш, то есть мальчик. Когда сторож позвал детей на поливку, шмыгнула к шиповнику, завернула игрушку в подол и бегом в общежитие. Дома попробовала поднять закрытые веки кукленьша, показалось что-то темное, мутное, – испугалась, не стала дальше открывать. Побаякала, укутав в платок.

– Спеть тебе колыбельную?

Подождала ответа и попросила себя за кукленьша вежливым голосом:

– «Козину» песню, пожалуйста.

Пела полюбившийся романс, как понимала его сама.

– Утро туманное, утро с едою...

Сквозь прозрачно-бисерный туман на ветках деревьев яркими елочными шарами проступали румяные яблоки, брызжущие, если укусишь, сладким соком. Мария сказала, что они только с виду похожи на помидоры, а на самом деле слаще не бывает... Казалось, милый кукленьш прислушивается к песне плотно прилегающими к голове ушками, шевеля крохотными пальчиками с овальцами ноготков.

Заметив в окно мать, Изочка выбежала навстречу:

– Смотри, что я нашла! – и протянула голыша в платке.

Мария вгляделась, оттолкнула Изочкины руки и вдруг закричала так громко, что стало стыдно за нее. Из общежития выскочили люди, посмотрели на куклу-мальчика, на девочку... Женщины почему-то тоже заорали дурными визгливыми голосами. Соседка тетя Матрена смешно вопила:

– Господи помилуй, Господи помилуй!

Дядя Паша выхватил кукленьша у Изочки из рук, положил его на крыльцо. Народ, перешептываясь, столпился вокруг.

Появился дядя милиционер в нарядной белой форме со звездочками на погонах, – Изочка заметила звездочки, когда он нагнулся, – и сказал два непонятных слова: «Аборт подпольный». Потом велел показать ему тот

куст шиповника у огородного забора, где Изочка обнаружила куклу.

...Кукленьш по имени Аборт оказался капустным гномом-вредителем, так объяснил рыжий Гришка. Гном выходил поедать совхозные овощи из-под пола земли, поэтому и фамилия его была – Подпольный...

«Детеныш нибелунгов!» – ахнула про себя Изочка. Мария совсем недавно пересказала ей папину любимую сказку о волшебном кольце нибелунга<sup>[48]</sup> – повелителя злых гномов... Наверное, малыш проделывал и другие ужасные злодеяния, недаром его все боялись и не хотели взять в руки.

Мария остервенело содрала с дочери ни в чем не повинное платье и кинула его в печь. Вымытая до скрипа Изочка, лежа на тахте, вжалась в стену и поплакала с расчетом, чтобы Мария услышала. Но та не желала слышать, хотя Изочке в самом деле было плохо и жалко себя и детеныша. Где гномикам брать пищу, если они не умеют добывать ее по-другому? Что теперь сделают с бедным человечком, как накажут? Неужели посадят в тюрьму?..

Ночью приснился сказочный сон. Аборт Подпольный превратился в маленького живого мальчика и повел Изочку в свою страну – туманный лес, полный сладких яблок и ласковых птиц. Птицы распевали музыку, высокие деревья с резными лаковыми листьями стояли свободно и не загораживали друг друга. Понизу вместо кустов и валежника расстился прохладный муравчатый ковер – нивы печальные... Они взаправду были печальные, но как-то по-светлому, хотя снег их не покрывал. Грациозно, бесшумно скользили по нивам серебристые тени, пропадая в тумане. В траве там и сям светились цветы, издалека похожие на стрелчатые пятиконечные звезды, как на погонах у дяденьки милиционера.

Изочка долго играла с мальчиком-нибелунгом, плескалась с ним в зеленом ручье под журчащий шепот воды и бегала наперегонки по тропинке, усыпанной тонкомолотым песком. Она сообразила, что этот лес и нивы – небо. Вальхалла – так называется верхний мир по папиной сказке. Изочке хотелось погостить в Вальхалле подольше и Марию привести сюда, но мальчик грустно покачал темной головкой – нельзя – и проводил обратно...

Проснулась Изочка под утро – спине стало липко и холодно. Поняла, что описалась, вот тебе и зеленый ручей... Снова немножко поплакала, теперь уже потому, что лежать на мокром стало нестерпимо, а будить Марию стыдно, но надо. После чудесного сна окружающее впервые показалось пасмурным и враждебным.

Мария не стала ругать, сполоснула простыню и только собралась на

работу, как в дверь постучал дядя Паша. Топчась на пороге, высунул из-за спины маленький сверток:

– Я тут, э-э-э, игрушку принес, куколку...

Он еще не договорил, а Мария почему-то испугалась:

– Что?!

– Да вы не бойтесь, – заторопился дядя Паша, – она ж из бересты!

Куклу славный дядька связал из закруток березовой коры, только не с белой, а со светло-охристой внутренней стороны. Втиснул в плетеное берестяное туловище круглую голову с жесткой косицей из конских волос, толстыми стежками стянул к тельцу смешно торчащие ручки с деревянными ладошками и ножки с искусно вырезанными ступнями. Во все стороны распыжился красный в белую крапинку сарафан, в косице – алая лента, на щеках румянец...

Кукла улыбнулась нарисованным ртом, веселыми бусинками-глазками, и кулачок Изочкиного сердца откликнулся восторженным стуком.

– Спасибо, – смущенно поблагодарила Мария. Подтолкнула дочку к игрушке: – Вот и подружка тебе, чтоб не скучала.

Изочка прижала куклу к груди и назвала сказочным именем Аленушка. Имя ласкало слух мягким звуком «эль»: ль-люб-ль-ю, Ль-ена, Ль-енин, Изоль-да. В зажмуренных глазах Изочки раскрутился хоровод сарафанных девушек в березовой роще. Открыла глаза – кукла улыбнулась еще ласковее. Живая, рожденная не в бездушном фабричном потоке среди множества двойников, а в теплых руках доброго человека. Другой такой не было на свете.

Аленушке пришились впору ажурные стол и стульчики, смастеренные папой Хаимом из жестяных банок. Изочка играла весь день и не заскучала ни разу.

Мария вспомнила вечером, рассматривая дяди-Пашин подарок:

– Майис рассказывала, что в прежние времена при рождении ребенка якуты скручивали куклу из бересты. Она называлась «ого-кут» – детская душа человека. Когда в свой срок приходила к человеку смерть, куклу сжигали, чтобы человеческая душа, уходя в небо, очистилась.

– Что такое душа, Мариечка?

– То, что у человека внутри.

– В кишках?

– Душа в сердце, маленькая ты надоеда и приставала.

– Она с глазами и ногами, сторож говорил... Мариечка, а папу похоронили?

– Похоронили, – рассеянно кивнула Мария, отходя к этажерке.

– Ой, как хорошо, – с облегчением вздохнула Изочка. – А то я думала, что если его не похоронили и оставили тело наружу, папина душа плачет в какой-нибудь старой юрте, и смерть не берет его к себе.

– О чем ты говоришь? – обернулась в удивлении Мария. – Где ты наслушалась этих глупостей? Мы же с тобой каждый год ходили на кладбище за «кирпичкой». Ты забыла могилу папы?

Изочка и впрямь много чего забыла. Год – это же много.

– Мариечка, что такое смерть?

– Это когда человек не живет на земле.

– Где же он живет?

– На том свете.

– В Вальхалле?

– При чем тут Вальхалла? В твоей голове все перепуталось!

– А что этот человек в Валь... там делает?

– Ничего не делает, – рассердилась Мария. – Что за ребенок неугомонный!

И тут Изочку озарило:

– Папа тоже на том свете?

Мария не ответила.

Изочка замерла: раз папа Хаим далеко, почему бы папой ей не согласиться стать дяде Паше? Папу она воочию не видела и не знает, какой он, а сосед умеет мастерить настоящих кукол и лесных человечков...

Мария достала из ящичка этажерки документы, нашла фотографию отца. Изочка сто раз ее видела. На удивленном папином лице блестели большие глаза, а близкие к переносью брови поднимались вверх, будто фотограф показал что-то диковинное и в этот миг сделал снимок. Мария сказала, что папа Хаим очень-очень любил Изочку, но однажды ушел.

Изочка не спросила, куда ушел. Она была спокойна за папу. Знала теперь, что он на том свете, и неважно, Вальхаллой или по-другому называется туманная лесная страна. Главное – папа живет среди яблок и серебристых теней, ему нескучно и есть что кушать. Папиной дочке теперь тоже не скучно – у нее есть Аленушка...

## Глава 4

### Взрослые полны загадок

Говорят, тем, кто хорошо учится в школе, на большой перемене бесплатно дают творожные шаньги. Через каких-то полгода Изочка пойдет в первый класс. В городе она прочитывала вслух все, что встречалось на пути: «Продовольственный магазин № 4», «Кинотеатр Центральный», «Слава Сталину – лучшему другу физкультурников!», «Сталин – это Ленин сегодня!» и еще что-то о товарище Сталине, всего не упомнишь.

«Болтун – находка для шпиона!» – вот что, оказывается, написано на плакате с тыкающим пальцем дядькой на двери кухни. Когда в коридоре никого не было, Изочка, не глядя на плакат, содрала его, скомкала и быстро-быстро сунула в горящую печь.

Изочка любила всехнюю кухню, а Болтун портил всякую радость. Думала, что он потом приснится, но нет, не приснился. Никто даже не заметил, как злой дядька исчез, и радость от приготовления еды и кухонных разговоров больше не омрачалась ничем.

В воскресенье Мария варила в кухне суп из сухих грибов. Тетя Матрена рядом стряпала картофельные блины. Изочка крутилась тут же, надеясь на неудачный блинчик. Тетя Матрена молчала-молчала и вдруг призналась, что ее вызывали в какой-то отдел и велели следить за соседями.

«Выследила! Знает про Болтуна!» – запаниковала Изочка, хотела сбежать и не успела.

– Ну и как успехи? – спросила Мария спокойно. – Много нового о нас узнали?

Тетя Матрена скроила обиженную мину:

– Что я – предатель какой? Пришла и сразу Наталье открылась. Теперь, вот, тебе. Не донесешь же на меня, что я про то рассказала?

– За Натальей Фридриховной тоже слежка? – удивилась Мария.

Тетя Матрена плотно прикрыла дверь.

– Наталья – тюремщица! Три года сидела, пока муж воевал. Не знала?

Изочка принялась складывать щепки перед печкой.

...Наталья Фридриховна жила с мужем Семеном Николаевичем в комнате напротив, была очень строгая и работала кем-то посменно в рыбном тресте. Изочка ее побаивалась. Однажды в мороз Мария попросила соседку присмотреть за Изочкой, опасаясь, что та сбежит на улицу и

заболеет. В комнате Натальи Фридриховны пахло газетной бумагой – Семен Николаевич служит в типографии, где печатают газеты. Наталья Фридриховна сварила пшеничную кашу, и он пришел в обед. Изочка старалась есть аккуратно и не шмыгать носом, собирала кашу ложкой по краям тарелки и медленно подвигалась к середине, чтобы не обжечься, как учила Мария.

«Сядь прямо, не сутулься, – сказала Наталья Фридриховна, – и не клади локти на стол». Изочка поспешно убрала локти, а скоро опять забыла. Тогда Наталья Фридриховна достала с полки две книги и сунула их Изочке под мышки: «Держи крепко и ешь».

Каша была вкусная, с маслом, но есть расхотелось. Изочка хорошо усвоила урок. Поздоровалась на другой день с Натальей Фридриховной, трепеща от ее сурового взгляда, и тотчас выпрямилась, словно сзади за ворот плеснули холодной воды. Соседка сдержанно усмехнулась: «Запомнила? Молодец».

...Изочка снова прислушалась к разговору. Тетя Матрена шептала с оглядкой, хотя в двери не брезжило ни щелочки и никого в кухне не было, кроме Марии, Изочки и куклы Аленушки. Ну, если не считать дяди-Пашиных деревянных человечков на подоконнике.

– Ван Ваныч сковородку-то, значит, поставил со своей яичницей на газетку, а на ей – портрет! Он и не заметил. Дно у сковороды, ясно море, в саже да жирное... Тут Скворыхин возьми и зайди.

...Этот худой и сутулый, как буква «г», дяденька Скворыхин круглый год не снимает облезлого треуха и живет возле общежития в землянке за дощатым забором. Забор высокий, сверху над ним виден только дым из печи. Ребята зовут Скворыхина «злая собака», потому что на калитке так и написано крупными черными буквами. Он действительно ужасно злой и ненавидит детей. Все время кричит: «Не подходите к моему дому!» Будто у него настоящий дом, а не крытая дерном и мхом землянка. Днем слышно, как во дворе на проволоке гремит цепь. Это Мухтар туда-сюда бегаёт, огромная, совсем не злая собака. Ребята говорят, что Скворыхин плохо ее кормит, деревянное корытце возле конуры всегда пустое. Когда он, заперев калитку, уходит на работу, кто-нибудь из мальчиков перелезает через забор и приносит Мухтару поесть...

– Надо же, я думала, этот Скворыхин ни с кем не общается, – приглушенно сказала Мария.

– А он и не общается, не здоровается даже, тока вот к Ван Ванычу шастал, – кивнула тетя Матрена. – Вроде они сызмальства знакомы. То, бывало, за спичками к нему притащится, то за солью. И ведь все равно не

здоровался, зараза такая. «Дай-ка, – грит, – спичек», – и все. Ни тебе пожалуйста, ни спасибо. А тут увидел сковороду-то копченую на газете с портретом да как зазыркал, как завозил буркалами! Ван Ваныч ко мне пришел, рассказал об том, смурной весь. Будто чуял...

– И что? – Мария прижала ладонь ко рту.

– Ну и поскакал Скворыхин, и про обжиренный тот портрет накапал кому надо, скотина, чтоб он сдох, Господи прости!

– А Ван Ваныч?

– Пришли с наганами посреде ночи, газетку с пятном в помойке отыскивали, не поленились. Не догадался сжечь... Срок мотает теперь. А может, стрелянули его. Скока времени, почитай, ни слуху ни духу.

– И когда это кончится!

– Господи, миленька моя, – пригорюнилась тетя Матрена, – рак на горе свистанет, тогда и кончится... Сам-то Сталин, слыхала я, не знает, как всякие Берии народ мучают, и некому об том докладать лучшему человеку, а письма людские с жалобами, конечно же, прячут от его. Нету у товарища Сталина времени на мелочи отвлекаться, большими делами занят: с другими странами надо связь держать, с братским нашим Китаем. Врагов полно кругом – то безродные космополиты, то врачи-убивцы... Кирова, вон, в тридцать четвертом году в самом Смольном по заговору прикончили... Отца нашего отравить покушались... Ничегошеньки, гряд, не ест он нынче, одни тока яйца крутые без соли. Предатели-то, поди, так и норовят в еду яд положить и заместо соли калия какого-нибудь подсыпать. Трудно же отличить настоящих докторов от вредных...

Изочка не знала, о каких докторях говорит тетя Матрена, а улицу имени Кирова знала и видела портрет дяди Берии на прошлогодней первомайской демонстрации в поселке. Дяденька ей не понравился, с большим лбом и недобрыми, как у Болтуна, глазами. Спросила у Марии, кто это, и запомнила его странное имя. Легко запомнить, слово «бери», потом «я». Правда, этот портрет был один, а Сталина много-много!

Изочка совсем недавно научилась выговаривать длинное имя вождя без запинки – Иосиф Виссарионович. На параде дети из детского сада читали стихи и кричали хором: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Изочка тоже была не прочь так покричать. Она кричала бы громче всех, у нее сильный голос, и стихи почитала бы, но в детсад ее почему-то не взяли ни в поселке, ни здесь. А уже и не надо, осенью в школу.

– ...хороший мужик был, – шептала тетя Матрена, – достойный, тихой, куда лучшей моего покойного Кешки. Мы тока-тока сюда переехали,

первые вселились. Ван Ваныч за мной сразу ухаживать стал, а я раздумывала. Не хотелось так скоро, чай, не молоденька, да еще боялась, что Мишка заартачится. Шибко убивался по отцу, хоть и малой был, когда того на фронт забрали. Эта сволочь Скворыхин, чтоб он сдох, мандавошка проклятая, Господи, прости, всю мою жизнь испоганил. Мы бы с Ванычем душевно жили... А Ванычеву комнату трест Пал Пудычу тут же согласился отдать по договору с ветстанцией.

Тетя Матрена выставила на стол круглые, как сайки, локти, наклонилась ближе к Марии:

– Про него ничего плохого не скажу, тоже мужик с понятием... С лица приятный, холостой, умеренно пьющий... Сдается мне, миленька моя, он к тебе клинья подбивает. Seriously причем!

Мария увидела, что Изочка слушает очень внимательно, даже рот открыла, ойкнула и громко сказала:

– Доча, принеси-ка картошки.

– Привет юному поколению, – весело пророкотал в коридоре дядя Паша. – Как жизнь молодая?

– Жизнь – хорошо! – в тон ему бодро ответила Изочка. – А что такое клинья?

– Клинья – это... как его... – задумался дядя Паша. – Это острые железные или деревянные штуковины, которые куда-нибудь вбиваются. А еще клином называют военную операцию. Или земельный надел. Или вот у нашего соседа Петра Яковлевича бородака такая, что про нее тоже можно сказать – клинышком.

– А какие из этих клиньев вы подбиваете к моей Марии?

– Что?! – Щеки, уши и даже шея у дяди Паши стали красные-красные. – Я?.. К твоей маме? Клинья? Кто сказал?

– Тетя Матрена. Только она не мне, Марии сказала.

– А ты, конечно, подслушивала, ай, нехорошо! – Пунцовый дядя Паша погрозил Изочке пальцем.

– Ничего я не подслушивала, – обиделась она. – Мне теперь уши, что ли, все время затыкать? И спросить нельзя...

– М-да, куда ни кинь – всюду клин, – согласился дядя Паша, подумав. – Такая уж ваша нелегкая детская доля. А то, что я к твоей маме с клиньями подхожу, это, честно сказать, правда. Но только они не те, что я тебе перечислил. Совсем другие.

– Еще и другие есть? – удивилась Изочка. – Прямо запутаться можно!

– Мои клинья очень секретные. Как военная операция. То есть, значит, военная тайна. Ты умеешь хранить военные тайны? Не выдашь?

– Что я, предатель Скворыхин?

– Почему Скворыхин? – дядя Паша озадаченно подергал себя за пушистый ус. – Так-так-так, интересно, почему Скворыхин?

– Потому что он, скотина, мандавошка, Господи прости, натрепал куда надо на Ван Ваныча из-за жирного пятна на портрете. И теперь те дядьки, которые на помойке рылись, может, стрелянули Ван Ваныча наганом, а товарищ Сталин об этом не знает, потому что от него письма прячут и хотят отравить. Знаете улицу Кирова? Вот дяденьку Кирова уже...

– Боже мой, что ты несешь, девочка! – Дядя Паша перестал краснеть, даже, наоборот, побледнел и присел на корточки, чтобы стать с Изочкой вровень. – Никогда об этом не говори. Вообще, никому не рассказывай то, что услышишь от взрослых. А вдруг они секретничают о какой-нибудь военной тайне? Ты, не подозревая об этом, можешь нечаянно тайну выдать. Лучше молчок! И про клинья маме ни словечка... Договорились?

– Договорились.

Дядя Паша пожал Изочке руку.

Из кухни в коридор выглянула Мария, кивнула дяде Паше:

– Здравствуйте, Павел Пудович, – и накинулась на Изочку: – Куда запропастилась? Жду ее, жду...

– Ой, забыла, – заторопилась Изочка. – Сейчас!

– Извиняйте, Мария, – сказал дядя Паша. – Это я ее задержал, мы тут об одном деле договаривались, – и подмигнул Изочке.

– О чем вы так долго разговаривали? – подозрительно спросила Мария, когда Изочка принесла картошку. Изочка чуть было не сказала о клиньях, но посмотрела на тетю Матрену и вовремя прикусила язык.

– Так... ни о чем. Дядя Паша рассказывал мне про... как их... земельные наделы.

– Солидные у вас разговоры, – засмеялась тетя Матрена. – Никитину что, надел дали? Строиться хочет?

– Кажется, дали, а может, и нет. Вроде бы точно нет, или да, – забормотала Изочка в смятении.

– Так да или нет?

– А вы у дяди Паши сами спросите, – выкрутилась Изочка.

Фу, аж вспотела. Какая все-таки дотошная эта тетя Матрена!

– Никакого времени не хватает на воспитание. Не представляю, что творится в голове у ребенка, – вздохнула Мария.

– Ничего, перемелется – мука будет, – сказала тетя Матрена. – Я тоже раньше тока о Мишке думала. А как семилетку кончил, так глянь, какой вымахал. В слесарке хвалят. Толковый, грят, ученик.

– Не знаю, не знаю... Бог ведает, что из девочки получится...

– А ты не сумлевайся. Все будет как надо, я тебе грю. Ты голову дочкой шибко не забивай, не на одной же ей свет клином сошелся. О себе, миленька моя, подумать надо, ты ж молодая еще.

...Свет клином сошелся? Который из клиньев – тот, что острый, железный-деревянный? Может, военная операция? Или земельный надел, а то и – странно, конечно, – бородака Петра Яковлевича? – мучилась Изочка, чувствуя, как полная загадок взрослая жизнь заматывается вокруг нее хаотичным клубком.

## Глава 5

### Сожженная ненависть

Почти месяц Изочка не задавала взрослым никаких вопросов. Если Мария начинала с кем-нибудь беседовать, честно выходила из кухни, чтобы нечаянно не выведать новых военных тайн. От скуки стала внимательнее слушать радиопередачи, в которых выступают тимуровцы и отличники учебы. Тут все было понятно: надо хорошо учиться, тогда у всех все будет хорошо. «Шаньги, творожные шаньги для «хорошистов!» – облизывалась Изочка. И вдруг в один из первых весенних дней, не успело клетчатое солнце с утра спрыгнуть на пол с окна, на весь коридор загремела неприятная музыка: ба-ам, ба-ам, ба-ам, ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам...

От репродуктора никуда не денешься. Люди в общежитии давно привыкли и не обращали внимания на песни и болтовню черной бумажной тарелки, даже малыши засыпали под чьи-то доклады вместо колыбельной. Но эта тяжелая музыка напоминала бесконечный плач большого хора. Время от времени она перемежалась обволакивающе-торжественным голосом, от которого шли мурашки по коже. Изочка знала: говорит Левитан. Спрятала голову под подушку – все затихло. Не успела отдохнуть – опять музыка просочилась сквозь пух и перья и зарыдала как-то особенно злорадно. Она звучала везде – под столом, в старой папиной телогрейке на вешалке, в углах и щелях. Изочке уже стало казаться, что по радио ничего не передают, просто жуткая музыка влезла в голову и кричит, и стонет в ней. Пришла с работы Мария, быстро переделась и убежала куда-то. Ни о чем не спросила, не поела подогретую картошку.

Заткнув уши пальцами, Изочка в волнах удушливой музыки двинулась в конец коридора. Звуки навстречу из кухни плыли похожие: там, уронив на клеенчатый стол растрепанную голову, выла тетя Матрена. Мария с неопределенным (удивленным? радостным?) лицом сидела рядом и гладила соседку по плечу.

– Ой, ей-ешеньки, ой, не могу! Отравили друга нашего убивцы в белых халатах, лихоманка их забори-и! – голосила тетя Матрена. – Ой, что же нам делать теперь без его-о?

Обняв Аленушку, Изочка тихонько присела у печи.

– Господи-и! Кто будет учить нас, как дальше жить, кто к коммунизму поведет твердой руко-ой?! Сироты мы остались! Сироты-ы!

– Все утрясется, Матрена Алексеевна, – утешала Мария. – Зачем так убиваться?

– Как не убиваться?! Ой-ешеньки! Господи Боже мой, в груди-то как боли-ит!

– Поберегите сердце...

В кухню зашла безмолвная Наталья Фридриховна и, нервно чиркая спичками, закурила папиросу.

– Ой-ей-ей... Это ж не человек ушел от нас, это великий вождь уше-ел!

– Не человек... Да... Не человек.

– Вызнают имперьялисты про нашу беду, нападут на Советский Союз-юз! – рыдала тетя Матрена. – Опять война будет, мужиков заберут... сыночка моего единственного Мишеньку-у-у!

Страшная «плакальная» музыка все не утихала, да тут еще тетя Матрена... Изочка чувствовала, что у нее от этого неумолчного воя вот-вот расколется голова.

– Что вы так расплакались-то, Матрена Алексеевна, о какой войне каркаете? – не выдержала Наталья Фридриховна.

Тетя Матрена подняла залитое слезами лицо, глянула на нее и резко замолчала.

– Муж придет, расскажет. – Наталья Фридриховна с силой затушила недокуренную папиросу о край плиты. – Если, конечно, типографских хоть завтра отпустят. Оставили на вторые сутки некрологи в газеты допечатывать. А **он** давно был тяжело болен, второго марта же огласили диагноз по радио. Следовало ожидать... Зато скоро ваш Иван Иванович, наверное, вернется... Будут большие перемены.

«Большие перемены? – удивилась Изочка. – У взрослых тоже случаются большие перемены, как в школе? А шаньги?..»

– Что ты, Наталья, миленька моя. – Голос у тети Матрены был такой ровный, будто не она минуту назад вопила как безумная. – **Он** не мог о Ван Ваныче знать. Это Скворыхин, будь он неладен, из зависти все!

– Но ведь не Скворыхин отправил Ивана Ивановича по этапу, – возразила Наталья Фридриховна. – Скворыхин просто донес.

– А я что грю? Я и грю – Берия стукачей развел!

– Тише, – прижала палец к губам Мария. – Пойдемте-ка лучше по комнатам. Завтра всем на работу.

Тетя Матрена сладко зевнула, потерла кулаками вспухшие веки:

– Ой, и впрямь. Может, ты права, Наталья. Подождем перемен.

К ночи радиоприемник подавился и заглох, словно уставший коридор рассердился и заткнул ему черную пасть. В голове Изочки еще некоторое

время надрывался под барабанное эхо безутешный хор. Она легла, крепко прижала к себе Аленушку, и храбрая кукла выгнала из головы назойливые звуки. В тишине, кажущейся после музыкальной пытки хрустально-чистой, Изочка любовалась летающими руками матери. Мария стояла в ночной сорочке у зеркала и расчесывала перед сном свои роскошные пепельно-золотые кудри. А тишина неожиданно нарушилась: в дверь кто-то поскребся.

– Не пугайтесь, это я, – раздался шепот Натальи Фридриховны. – Простите, – сказала она, входя, – подумала, что не спите еще. Вина принесла. Хорошее вино, кагор, церковное. Полторы бутылки... Две было, да первую я ополовинила, а дальше не могу в одиночку. Давно от Семена прятала, все не находилось случая. И вот он – случай, лучше не бывает... Я знаю, я давно поняла – вы, Мария Романовна, Богу молитесь. Попросите Господа, пусть простит нам радость по поводу *его* смерти, потому что *он*, как вы правильно давеча заметили, – не человек...

Наталья Фридриховна в упор глянула на Марию:

– Вы ведь тоже рады? Я не ошиблась?

Не ответив, Мария накинула на плечи теплый платок и достала с полки граненые стаканчики, хлеб и тарелку с вареной в «мундирах» картошкой.

– Эта траурная музыка нынче для меня – будто гвозди в крышку *его* гроба, – сказала Наталья Фридриховна.

– Тише, – как в кухне, попросила Мария. – Пожалуйста, тише.

– Спят все. Наплакались, притомились, вряд ли кто-то подслушивает. Книга вот, смотрите, Семен откуда-то принес. – Наталья Фридриховна положила на стол увесистый том с чьим-то портретом на красной обложке. – Ярославский написал о *товарище*. Биография *его*, снимки разные... Давайте выпьем за то, чтобы дети, – она кивнула на притворившуюся спящей Изочку, – нашего страха не знали... Не чокаются рюмками на поминках, а я – назло. Вы, если не хотите, не поднимайте, я сама звякну. Свой гвоздик заколочу.

Глуховато стукнуло друг о дружку ребристое стекло стаканчиков.

– Семен не велит вспоминать. Считает, что после войны мы новую жизнь живем. Крепкое у мужика сердце, а мое колом в груди стоит, сил недостает молчать...

– Ну и облегчите душу, я не из болтливых, – вздохнула Мария.

– Затем и пришла, – неуверенно произнесла Наталья Фридриховна. – А то, подумала, пока одна дома сижу, с ума сойду, такая месть меня распирает... Дочка-то спит?

– Спит...

(Ох, как ошибалась Мария!)

– Я не пьяная, нет, не пьяная, – начала отрицать соседка, будто кто-то ее о том спрашивал. – Не действует градус на мой организм сегодня. Видать, из-за воспоминаний... Еще налить? Не хотите?.. Тогда сама выпью... Как надоест слушать, вы сразу скажите, я уйду. Или сейчас уйду. Мешаю вам, наверное, завтра вставать рано...

– За что же вы *его* так не лю... ненавидите?

– Ненавидела! – страстно выдохнула Наталья Фридриховна. – Теперь можно в прошедшем времени. *Его* нет!

Изочка открыла на миг глаза и зажмурилась, – испугалась промелькнувшей на лице соседки ярости.

– Так вот... Отец мой – австриец, – дрожа от напряжения голосом, начала Наталья Фридриховна. – Попал в Первую германскую в плен, женился и остался в сибирском городке Балаганске, я там родилась. Мама красавицей была. Все, кто видел ее, ахали: косы пшеничные двойным свяслом вокруг головы, глазищи синие, совсем как у вас, Мария... Я карточку мамы увеличить отдала, сами убедитесь потом. Жаль, не в нее я вышла наружностью, в отца. Войну он проиграл, а тут его австрийская кровь мамину русскую победила, получается, если по мне судить... Ну, сам-то обрусел, живя в бабушкиной семье примаком. Сначала кочегарил на пару с дедом где-то, позже работал в Черемховской шахте. Далеко шахта, а я резвая, бегала туда в обед кашу с отцом похлевать. Домой ехала на его спине. Не понимала, глупая, что устал. Труд-то в забое за сто лет не изменился. Как киркой камень ломили да тачкой возили, так же, наверно, и сейчас.

Вынув из кармана пачку папирос, Наталья Фридриховна достала одну, задумчиво покрутила в пальцах и затолкала обратно.

– Отец услышал, будто на золотых приисках жизнь лучше. Заколотили дом, бабушку с собой забрали, дед к тому времени помер. Поехали поездом в Дарасун. На билет мне денег не хватило. Затолкали на багажную полку, баулами загородили. Захочу по-маленькому, мама баночку подаст... Ничего, прибыли. Пещерку в горе выдолбили, печку поставили, чем не жилье?.. Да только зарплата с гилькин нос. Неделю ходим сытые, две – голодаем. Решили подрядиться на лесосплав по реке Китой. Мать наравне с мужиками вкалывала, мы с бабушкой кулеш сплавщикам варили, чай готовили. Мне всего девять лет стукнуло, а уже зарплату получала. Через два года бабушка стала скучать по Балаганску, и вернулись. Голод застали страшный. Мы в деревню – и там не житье. Продотряды подчистую отбирали зерно у людей в хлебосдачу. Помню случай весной, когда у

одного мужика последний пуд силком за недоимки взяли. Не от жадности уклонялся – ребятишек было в семье что гороху, все мал-мала, и скоро начали с голодухи пухнуть. Свихнулся мужик от переживаний, зарубил топором жену с детьми да и сиганул в Ангару... Ледоход как раз шел. Кровавые следы босых ног на льдине у берега мне потом долго снились... Беды-комбеды...

Булькнуло вино. Громко сглотнув налитое, соседка наполнила стаканчики снова. Уже машинально, по рассеянности, звенькнула краем стекла о стекло.

– Бабушка узнала, что в Якутию вербовка идет. Рассказал кто-то, мол, люди на Севере живут хорошо, коров держат. Лугов богато и леса – дом строить, и рыбы в реках немерено, а в тайге – зверья... Бабушка давно коровой бредила, сама и подбила ехать. Отец-беспаспортник сумел как-то изловчиться, справил себе документ в Балаганске. Сладились с мужиком, который груз в Жигалово вез. Двинулись с ним за двести километров через хребет, где пешком, где на телеге. Есть нечего, а мне двенадцать, в рост пошла, мочи нет голод терпеть. Колокольчиков, помню, в рот наберу и жую потихоньку. Бабушка, как заметит, нос мне зажмет, стукнет по шее, и прочь из меня цветы, сопли, слезы...

Наталья Фридриховна чпокнула пробкой – откупорила новую бутылку.

– Через неделю уже все мы траву походя рвали, корешки разные варили и ели. Бабушка скончалась. Отмучилась, не дождавшись коровы. Закопали родненькую под горой и дальше пошли. И добрались! Счастье было великое: хлеба выдали каждому завербованному по полмешка. Связали люди четыре карбазы и поплыли по Лене. Меня родители для пайка гребцом записали. Где река глубокая, карбаз хорошо плывет, на мелкоте изо всех сил гребем-налегаем. Весла здоровущие, целые деревья. Если садились на мель, прыгали в воду и давай карбаз плечами толкать. Мама шепчет: «Не надсаживайся, Тата, поберегись». А я хитрить не умею, по-честному стараюсь... Вон какие руки большие. Сначала от организма росли, дальше – от тяжелой работы. Девка я была видная, а рук своих всегда стыдилась.

Раскрыв ладони, Наталья Фридриховна рассматривала их с печальным удивлением, словно впервые увидела.

– В Якутске нас удачно распределили, на опытную сельскохозяйственную станцию. Ученые-агрономы селекцией там занимаются – проверяют, какие овощи и зерновые смогут лучше прижиться на Севере, и новые сорта выводят. Выделили нам домик с огородом. Картошки, мелочи всякой до весны хватало. Все трое работали,

приоделись, завели кроликов, кур. Как подкатило время невеститься, я сразу выскочила за Семена. Муж мой из первых типографских, научил отца русскому алфавиту, пристрастил газеты читать. Помню, отец возмущался, что Гитлер к Германии Австрию присоединил, – родина же. Думал, должно быть, о ней, хотя никогда не рассказывал. Может, боялся чего... Радовался, когда Сталину в декабре тридцать девятого шестьдесят исполнилось и по радио поздравительную телеграмму зачитали от фюрера. Юбиляр наш ответил «другу-союзнику» что-то о прочной дружбе народов, скрепленной кровью. Мама довольна была – слава богу, говорила, значит, войны не будет. А у меня слово «кровь» почему-то вызвало дурные предчувствия. Народная кровь – это же много...

Наталья Фридриховна осушила стаканчик и долго молчала, будто запамятовала, где находится, кому что рассказывает. Спohватившись, продолжила тихо, каким-то хриплым, не своим голосом.

– В том году начались наши несчастья. Энкавэдэшники взяли начальника станции и, по слухам, расстреляли. За что – неизвестно. Следом – второго, он и с работниками-то еще не познакомился. Тут и до нас дошло: на отца дело завели, а забрать не успели, сам от туберкулеза угас. Сбежал, получается. Мать радовалась: «Хоть не в тюрьме, на собственной кровати помер, и то хорошо». Во всем умела что-нибудь хорошее углядеть, характером легкая. В этом я тоже не в нее. Да и не в отца. В деда, наверное. Добрый был человек, но вспыльчивый и, говорят, буянил выпимши. Правда, я его и не помню почти... Вскорости маму тоже в отдел вызвали. Ушла и пропала. Я на сносях, бегаю, пытаюсь выяснить, где она, жива ли, никто толком не отвечает. Родила Димочку, а через месяц война началась. Семен ушел на фронт. Со станции меня прогнали, отдали наш домик другим, жить негде. Приютилась с ребенком в юрте на краю города. В ней, кроме нас, двадцать шесть человек. Урывками работала на рынке грузчиком за еду, кашеварила у строителей, летом воду возила на лошади в колхозный огород. Кое-как пробавлялись. Одна радость была – удалось дитя сохранить...

Раздался странный звук, что-то между смешком и всхлипом. Губы Натальи Фридриховны подрагивали и кривились.

– Спустя год повестка мне приходит с приказом явиться туда-то, такого-то числа. Пошла я, глупая, смелая, свято верю в справедливую власть. Бедная мама моя потерялась, а я все равно верю. Вот, думаю, там и спрошу про нее хорошенько. Офицер молодой, на вид культурный, глаза светлые, и зубы в улыбке как снег. «Вы по национальности австриячка?» – «Да, – говорю, – наполовину. Отец был австрийцем, а мать русская. Ваши

забрали, и сгнула. Скажите, пожалуйста, где она?» У офицера вся приятность с лица спала: «В этом кабинете я вопросы задаю!» Вытащил из шкафа папку, показал отцовское «дело». Несколько листов протокола допроса дал прочитать. Не знаю, зачем. Ничего там особенного не было. Отец о себе рассказывал, всю правду, как есть. Меня больше изумило, что бумага исписана с обеих сторон, на одной – допрос отца, на второй – Чернышевского.

– Философа Чернышевского? – удивилась Мария. – Николая Гавриловича?

– Да-да, того писателя, который роман «Что делать?» сочинил. «Протокол допроса Чернышевского Н. Г.», – это я успела прочитать.

– Но ведь он отбывал вилюйскую ссылку в прошлом веке!

– Видно, с тех пор бумага у органов в недостатке, – усмехнулась Наталья Фридриховна. – Офицер мне говорит: «Вот вам ручка, чернила, на листах довольно места осталось. Пишите, с какими высказываниями отца не согласны». Мне все чудилось, сейчас зайдет какой-нибудь высший чин и объяснит – ошибка вышла, она ни в чем не виновата. Я говорю: «Со всем согласна». Энкавэдэшник поскущел: «Добавьте тогда, какие станционные опыты вы с ним совместно проводили». Я подумала – не отстанет, написала о потерянной матери, о Семене, как он воюет, о трудной моей жизни с ребенком. Офицер прошелся глазами и, смотрю, разгневался. «Я об этом сказал?! Я русским языком сказал – о станционных опытах! Вы с отцом занимались вредительской шпионской деятельностью, а тут сопли про тяжкую жизнь размазали! Знаю я вашу тяжкую жизнь! Кому передавали секретные сведения? Назовите фамилии!» Он кричит, а мне кажется, что в кабинете кто-то посторонний есть, хотя вроде, кроме нас двоих, нет никого. Я это присутствие прямо кожей почувствовала. Обернулась – и вот кто: *он! Его* портрет! Висит не над столом, как у них принято, а сбоку на стене. Высоко, под самым потолком. Трубку держит и ехидненько так улыбается – что, попалась, пташка? Теперь не отвертишься!

Отпив из стаканчика, Наталья Фридриховна сжала его в руке.

– Офицер глянул на часы: «Даю десять минут на размышление». Прошло ровно десять, и опять: «Ну что? Признавайтесь!» – «Не в чем мне признаваться». Офицер совсем вскипел: «Ваш отец не сумел скрыть, что вы оба – шпионы!» Я ему: «Не было этого у отца в протоколе». Он прошел на середину кабинета, руки калачом, на портрет уставился. Шипит, будто с *ним* беседует: «Исключительно сложный враг! Мать с отцом были немецкими агентами. Дочь продолжает записывать. Устроили на опытной

станции шпионское гнездо»... Развернулся и мне: «У вас есть время пошевелить мозгами до завтра. Если и дальше будете упрямяться, никогда своего ребенка не увидите».

Наталья Фридриховна с такой силой сжимала в кулаке стаканчик, что костяшки пальцев побелели.

– Сидела я в одиночной камере и думала: раз он сказал, что мать с отцом «были», значит, матери у меня больше нет. Умерла на следствии, а скорее всего, убили. О Димочке думать не смею, сразу впадаю в оторопь. Пить хотелось, а воды не допросишься. После заметила я: человеку от ужаса всегда пить хочется...

Изочка замерла в неприятном ожидании: хрустнет посудка в соседкиной руке и стекло вонзится в ладонь! Но ничего не произошло. Стаканчик мягко выпал из увядшего кулака на портрет в книге с красной обложкой.

– Утром вопросы повторились. Только офицер посчитал, что хорошо уже со мной знаком и перешел на «ты»: «Была связана с начальником станции? В чьих интересах с ним действовали? Куда дела шпионские донесения отца? Передать успела? Кому? Где живет? Где работает? Как его фамилия?» К вечеру я сломалась. Согласна была что угодно подтвердить, подписать, лишь бы отпустили к ребенку. Офицер рассвирепел, слюной в лицо мне брызжет: «Что собралась подтверждать? Сама пиши о своих и родительских преступлениях! Сама говори!» Потом я счет потеряла приводам-уводам. Не могла сообразить, сколько дней прошло, утро или вечер, не понимала вопросов, вообще ничего не понимала. Слышала одно: «Говори!» А у меня в голове тоже одна мысль, на языке одно имя – Димочка. Димочка. Димочка.

Беспокойные руки Натальи Фридриховны затеребили край красной книги, голос опустился до резкого, со свистящими нотками, шепота. Этот шепот почему-то чудился Изочке сильнее крика. Он бился о стены, заполнял собою углы и щели, как давешняя музыка, от которой некуда было спрятаться. Изочка крепко стиснула ладонями уши и полежала некоторое время в тишине. А когда открыла, услышала:

– ...смотрит! Понимаешь, Мария?! Офицер... каблуки в мой живот ввинчивает... кровь горлом пошла, а я глаз отвести от *него* не могу! И *он* – смотрит! Смотрит!!!

Наталья Фридриховна начала задыхаться. Кажется, немножко подавилась вином, потому что отхлебнула прямо из бутылки. Заговорила чуть позже, не шепотом, но будто и не голосом – скрежетом ножа по стеклу.

– Видать, любил наблюдать, как топчут лежачих... После следствия меня отправили в тюремный госпиталь. Осудили по двенадцатому пункту пятьдесят восьмой – за недонесение. Год отсидки, потом расконвоировали, и горбатилась в подсобном хозяйстве Первой колонии, что возле деревни Мархи. Три года впустую добивалась известий о Димочке. Вышла к концу войны – ни юрты, ни сына. Люди, что жили с нами, знать ничего не знают. Я здешние детдома обшарила, куда только не писала. Как в воду канул Димочка за матерью моей вослед. После по заявлению Семена все-таки выдали нам бумагу о смерти мамы «в результате болезни». Какой болезни?.. Вранье! Совершенно здорова была... Семен вернулся с войны с небольшим ранением. Повезло, а толку? Не баба я теперь, не рожаю – вытоптано нутро... Гнала – не уходит... Я до сих пор у особистов на учете, все боюсь, что Семена с работы выставят. С процессом кремлевских врачей, сами знаете, опять началось. Пока медиков-евреев по стране «чистили», думала, скоро до остальных доберутся. Не ожидала радости – смерти *его*...

Наталья Фридриховна встала с красной книгой в руках, худая, прямая, и покачнулась, как оглобля от ветра в слабом прясле. Шагнув к печи, выдвинула притворенную заслонку трубы.

– Угли не прогорели еще. Можно?..

Мария молча кивнула. У Изочки затекла нога, но пошевелиться боялась.

Сидя на корточках перед открытой дверцей печи, Наталья Фридриховна сосредоточенно рвала листы книги. Раздирала страницу за страницей, бросала их в топку и говорила обычным голосом без всякого выражения:

– Нет тебя. Не будет. Нигде. Никогда.

Красное пламя обрисовывало сбоку остро стесанный угол подбородка, высвечивало нежно-алое ухо и сквозную, змейкой вьющуюся, прядь вдоль щеки.

Обложка с чьей-то фотографией полетела в огонь последней. Картон ярко вспыхнул, лицо на снимке потемнело, скомкалось, словно смятое огненной рукой, и облезло черными струпьями. Наталья Фридриховна смотрела на пляшущие в пепле синие язычки, пока все не сгорело дотла.

– Сожгла свою ненависть, – сказала, поднявшись. Лихорадочно блестели сумасшедшие глаза, пьяные губы в страшной усмешке съехали к правой щеке. – Спасибо, Мария, одной бы мне трудно было. Это как ритуал, и ощущение такое же... Забьем по последней.

Она разлила в стаканчики остатки вина.

– Так бы сжечь всю их власть. Их подлость, жестокость, обман...

– Не верится, что Сталин умер, – тихо сказала Мария.

...Сталин умер? Изочка широко открыла глаза. Иосиф Виссарионович Сталин – умер?!

В мгновенно вспотевшей от ужаса голове всполошенной стайкой заметались, замельтешили вопросы.

Как теперь жить? Кто поведет твердой рукой физкультурников и людей вместо него? Значит, права тетька Матрена, и больше не будет у детей счастливого детства? Начнется какая-нибудь новая война, наступит голод, и Мишу, тети-Матрениного сына, пошлют на фронт? А если Марию опять отправят на Мыс Тугарина в ледяном море ловить рыбу для фронта?

И самым страшным, самым огромным, был вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? – заданный кому-то в романе писателем Чернышевским...

От невозможности держать этот раздувшийся вопрос в себе, Изочка нечаянно громко разрыдалась.

## Глава 6

### Базар

Радиоприемник, взорвавший жизнь темной музыкой, переживал триумф. По утрам, едва только он включался, взрослое население общежития, толпясь в коридоре, с нетерпением ожидало каких-то невероятных известий. К счастью, о войне приемник ни разу не сообщил. Марию не послали на море ловить рыбу.

Ко второму месяцу лета, если верить тому, что Изочке удалось нечаянно подслушать из разговоров во «всехной» кухне, обнаружилось, что кремлевские врачи ни в чем не виноваты, а все вредные дела против народа затевали дядя Берия, неизвестный НКВД и другие плохие дядьки с буквами вместо фамилий. Тетя Матрена ходила очень гордая, она же так и подозревала.

Пока Берию не разоблачили, он успел выпустить бандитов из тюрем, и в городе стало опасно жить. Ночами злые бандиты раздевали людей на улицах, оставляли лежать на земле голыми и даже убивали. Из-за того, что Берия оказался преступником, летнему пионерскому лагерю его имени, в который Изочка мечтала когда-нибудь попасть, дали трудно-выго-вари-ваемое имя героя-революционера Нестора Каландаришвили. Этот герой погиб давно, во время Гражданской войны, и ничего вредного уже точно не смог бы натворить.

Судя по всему, в стране начали происходить всякие значительные события, хорошие и не очень. Их-то Наталья Фридриховна и называла «большими переменами». К сожалению, поощрительной раздачей бесплатных шанег для лучшей работы и учебы эти большие перемены не сопровождались.

В жизни Изочки тоже случилось значительное событие: Мария получила деньги за отпуск и решила взять ее на Зеленый рынок.

– Лучше бы, конечно, на барахолку, – сомневалась она, – но вдруг увидят? Барахолка же на другом конце города. А мне дальше проспекта пути нет.

– Что рынок, что барахолка – разницы никакой, везде толкучка, – утешила тетя Матрена. – Все есть, что душа пожелает!

Души желали многого, но основную часть денег Мария отложила на школьную форму и учебные принадлежности Изочке, а главное – на

«пойло» – бутылки со спиртом. К зиме она хотела поменять пойло на дрова для прожорливой печки-«голландки». На базаре Мария собиралась купить портфель Изочке, теплые ботинки себе и больше ничего. Прихватили с собой крынку – тетя Матрена заказала сметаны.

Базар находился в переулке недалеко от центра города, где земля была замощена толстыми деревянными плашками. Пока шли, Изочка, по обыкновению, читала вслух вывески. Когда прочла: «Аптека», Мария вспомнила, что ей нужен глицерин. Они кое-как вместе открыли дверь на тугой пружине... и невольно отпрянули назад.

Множество глаз уставилось на них! Черные, серые, карие, голубые глаза без век и лиц тарасились с подставок витринного шкафчика с каким-то непередаваемо хищным любопытством. Мария поймала Изочкину руку.

– Не бойся, это протезы. Не настоящие глаза, стеклянные.

– Для чего?

– Их вставляют людям, у которых свои глаза повреждены.

– Как у сторожа в огороде? И человек начинает все видеть стеклянным глазом?!

– Нет, к сожалению, протезы незрячие.

Для красоты, поняла Изочка и осмелилась глянуть в отдельные от людей искусственные глаза. Вот бы сторож вставил себе такой в глазницу, зияющую темнотой, а то носит для красоты крестик, никому не видимый за одеждой...

Мария купила глицерин – жирную смесь, которой мазала руки для мягкости. Пружинистая дверь хлопнула за спиной, и неприятное многоглазое наблюдение за Изочкой прекратилось.

Середину Октябрьской улицы обнесли высокой оградой. Там строился новый каменный обком. Старый, двухэтажный и деревянный, обтянутый красивыми лозунгами, стоял сбоку. Подъезд окружали блестящие «Победы», похожие на китов с картинки журнала «Вокруг света».

– Обком – это об ком? – спросила Изочка.

– Обком – сокращенное слово, – ответила Мария, смеясь. – Областной комитет партии.

О партии Изочка не стала спрашивать. Сама знала, что партией называют начальников, которые ведут советский народ к коммунизму, как раньше всех вел товарищ Сталин. А коммунизм – это светлое завтра.

Сложные вопросы просто и понятно недавно разъяснил Изочке Миша. В светлом завтра, по его мнению, деньги упразднятся за ненадобностью, потому что еды будет сколько хочешь.

– И колбасы тоже? – не поверила Изочка.

– Завались, – подтвердил Миша и изобразил продавца в бесплатном магазине: – Какую колбасу вам взвесить, гражданка покупательница? Ливерную, копченую, молочных сосисок? Может, шоколадных конфет хотите?

Изочку так сильно взволновал колбасно-шоколадный политический разговор, что она не смогла принять игру.

– А скоро наступит завтра?

– Завтра наступит завтра, – сказал Миша строго. – А светлое коммунистическое установится не скоро. – Он задумался. – Лет, наверное, через семь. В следующей пятилетке.

Пришлось поверить на честном слове без доказательств, ведь Миша почти взрослый и обычно не врет.

Изочка с уважением посмотрела на главный дом жизни.

Дальше возвышается белая угловая типография. В ней печатает газеты Семен Николаевич, муж Натальи Фридриховны. За типографией в переулке стоит красивый, тоже белый дом с луковкой-крышей. Мария сказала, что раньше он был церковью с колоколами, в них звонили по праздникам, выходным дням и во время пожара. Рядом до сих пор торчит старинная пожарная башня, и водокачка все еще работает. А в церкви теперь хранятся книги и работают библиотекари. Скоро Изочка, как самостоятельный взрослый человек, придет сюда читать сказки.

Длинный забор отгораживал шумный базар от центра. В огромные ворота рыночно-барахольного царства вливался праздничный людской ручей, а вытекал маленький ручеек.

Старик с белой бородой торговал у ворот самодельными деревянными игрушками. Изочка потянула Марию за рукав: остановимся, посмотрим! Старик улыбнулся добрым беззубым ртом, коричневые руки дернули в разные стороны треугольную лесенку, и вялый клоун, расписанный в красно-белый горох, ожил у Изочки на глазах. Она тотчас забыла о Марии и манящей вперед пестроте. Весь день готова была любоваться веселым клоуном, как он скачет вверх-вниз по ступенькам, вертя шарнирными руками.

Белобородый достал из мешка другие движущиеся игрушки. Медведь с мужичком, оба в соломенных шляпах, начали пилить бревешко настоящей крохотной пилой. Потом рыбак забрасывал в воздух удочку и ловил рыбку с красным хвостиком...

Мария вздохнула:

– Пойдем, доча.

Пыль и гул висели над головами, точно гигантский осиный рой. Зрение,

слух и обоняние Изочки напряглись, подстегнутые бешеным наступлением базара. Тут запросто можно было потеряться. Люди вились в толпе, как угри, беспорядочно топтались на месте, толкались, торговались, кричали, смеялись. У забора сгрудились телеги, заваленные дровами и мешками с мукой. Пряно пахло подвяленной на солнце зеленью и смолистым деревом, этот запах смешивался с рыбьим запахом и жирным духом керосина из бочек. Мальчишки с удочками продавали только что выловленных, притрушенных солью тугунков<sup>[49]</sup> в банках. Женщины с южным загаром насыпали в газетные кульки жареные подсолнуховые семечки и арахисовые орешки. Ранняя белокочанная капуста скрипела в руках продавцов, как снег. Возле пирамиды толстых огурчиков, сложенных светлыми рыльцами вперед, красиво рдели горки диковинных ягод, похожих на крупную рябину.

– Мария, смотри, что за ягоды?

– Помидоры.

Изочка вспомнила помидоры и удивилась:

– Почему маленькие?

– Сорт такой.

– А это что – большое?

– Тыква.

– Купим, а?

– Дорого.

– Мариечка, давай купим! Вдруг там карета!

– Какая еще карета? – не поняла Мария.

– Золушкина.

– Дурочка, – рассердилась Мария. – Скоро в школу, а она в Золушку верит.

– Ты же сама рассказывала!

– То сказка.

– В сказке все понарошку?

– Да.

– Значит, неправда? Совсем-совсем, ни капельки?

– Ох, горе мое почемучное! Цыгане шастают, того и гляди сумку стащат, а тут ты лезешь с вопросами...

– Что будет, если стащат?

– Ничего не будет! Ни тебе портфеля, ни мне ботинок!

...Значит, Золушки не было. И хрустальных туфельек тоже.

Изочка решила вообще больше не разговаривать, но сейчас же спросила:

– Цыгане – воры?

– Цыгане – это народ, – почему-то смутилась Мария. – Среди них есть люди, которые воруют.

– Сумки?

– Сумки, деньги... и слишком любопытных девочек.

Изочка обиделась. Зачем Мария говорит неправду, если цыгане – не сказка? Не может быть, чтобы люди воровали чужих девочек. У них в народе, что ли, своих нет?

В вещевых рядах колобродило и волновалось пятнистое море – лица, лица, столько не увидишь за целый год, уследить невозможно за их перемещением. Они мельтешили, трепетали, плавились в вибрирующем от зноя и гомона воздухе. Девушка в накинутой на плечи новой телогрейке, как больную овцу, качала в руках вывернутый наизнанку кудрявый тулуп. Прямо над Изочкиной головой, чудом не зацепив косицу, пронесли большущую железяку с острыми краями, кажется, плуг. Вкусно пахли дымленой кожей кипы новых торбазов, и вышивка на оленьих унтах полыхала северным сиянием. Мельком оглядев радужные бисерные вставки, Изочка убедилась: «Матушка Майис красивее вышивает».

Чернявый паренек, придерживая велосипед просунутой в раму ногой, потряхивал глянцевою стопкой открыток. Кусок ватмана с приклеенными показательными открытками коробился на руле... Ах! Какие хорошенькие девочки в воздушных платьях! Прелестные котята, щенята, ангелы, красавицы на усыпанных цветами качелях! Изочка сжала мамину ладонь:

– Купим?..

– Зачем? Кому дарить?

– Тебе, Мариечка! Я бы подарила тебе вон ту собачку красивенькую! Или принцессу с веером! Нет, лучше с розами, где «Люби меня, как я тебя»!

– А без открытки не любишь?

– Люблю... А ты?

– И я – без открытки...

На неструганых досках, словно выпотрошенные из тележек старьевщиков, высились груды тряпья, откровенный хлам и военные обноски – выцветшие гимнастерки, кители, солдатские штаны. Солдат на костылях, с бликующей на груди медалью, продавал шинель, меченную темными пятнами то ли пороха, то ли крови. Стоял он на правой ноге, а на левой штанина была смотана чуть ниже колена. Рядом сидел человек с закрытыми глазами и неподвижным лицом, на шее у него висела дощечка, на коленях лежала кепка с несколькими копейками. Изочка прочла надпись

на дощечке: «Я оставил глаза на войне» и съежилась от жалости: она-то видела слепого, могла рассматривать его вдавленные в глазницы веки, а он ее не видел...

Кепка звякнула медяками.

– Благодарю, – сказал слепой и безошибочно наклонил голову в сторону Марии.

– Носки, варежки! Варежки, носки! – тоскливо голосила маленькая старушка, не поднимая глаз от вязанья.

Носки были серые, на вид мягкие и пушистые, а на самом деле, Изочка знала, ужасно колкие. Тетя Матрена связала ей похожие из выческов дворовой собаки Шарика... И – вот так встреча! – одноглазый огородный сторож разложил на земле свои тальниковые корчаги. Изочка поздоровалась вежливо, сторож еле кивнул, важный, будто царь всех продавцов.

Не успела она задуматься о неожиданной заносчивости старика, как высмотрела за его спиной светло-желтый, в мелкую пупырышку, портфель. Держал его застенчивый дяденька в очках на веревочке.

– Настоящая кожа, тисненная, – краснея, сказал он подошедшей Марии.

– Потертый портфель, – с осуждением покачала она головой. – На углу трещина.

– Зато с замочком, вот ключи, – дяденька стыдливо позвенел двумя ключиками на шнурке и привязал его к ручке. – Внутри три отделения, среднее на кнопке. Московской фабрики производство, с такими министры ходят, качество как у трофейного... Недорого прошу.

– Ладно, – сдалась Мария.

Сделали первую покупку и отправились дальше. Ходили, ходили... Пищевое и тряпичное изобилие мелькало в глазах, карусельная кутерьма смешанных языков, ругани и зазывалок превратилась в нескончаемый, на одной ноте, гвалт. Легкий поначалу портфель стал тяжелее и оттягивал руку, будто шаг за шагом в него сыпался незримый песок.

Пока Мария примерялась к черным ботинкам с высокой шнуровкой и выторговывала заказанную сметану, Изочкин растерянный взгляд наконец уперся в связку круглых колбас и золотистых окороков под навесами в мясном ряду. Очень хотелось есть, еще больше – пить.

В густых волнах копчено-кровяных запахов, готовясь к посадке, хищно парили перламутрово-зеленые мухи. Изочка глотала голодные слюнки. Одновременно ее слегка подташнивало из-за мух и неаппетитных ворохов несвежих, скользких костей. В магазинском отделе «Мясо-рыба» тоже продавались такие кости. Мария изредка брала их и вымачивала с

древесным углем. Уголь вбирал плохой запах, и получался вполне съедобный суп... Ну ничего, вот наступит через семь лет коммунизм... Жаль, сметана чужая, нельзя съесть. У Майис Изочка ела сметану бесплатно, а в городе за нее надо платить большие деньги, у Марии столько не бывает...

Мария повернула назад. Изочка с облегчением повлеклась мимо тальниковых корчаг, не глянув на сторожа, раз он такой гордый, мимо колючих носков голосащей старушки, одежной рухляди и слепого человека с дощечкой и кепкой... Солдата на костылях не было. Наверное, продал шинель.

Пестрые горы овощей, мешков и чесночно-земляные запахи остались позади. Изочка втянулась за Марией в истекающий из ворот ручеек людей. Домой! Дома хлеб и суп из свеклы с зеленым луком.

## Глава 7

### Яблоко в камне

В руках белобородого мастера игрушек все так же прыгал деревянный клоун, но уже не в горошек, а шахматный – в черно-белый квадрат. Из-за пазухи старика выглядывали плоская фигурка мужичка в соломенной шляпке и половина медвежьей улыбки...

Мария вдруг выпустила Изочкину руку, тихо ахнула и ринулась к противоположной стороне ворот.

Изочка заметалась, рванулась вслед за матерью с невыносимой мыслью: Мария решила бросить ее здесь! Тощая тетенька притиснула Изочку к чьей-то жирной спине, протолкнула в толпе обратно к базару... Мария, Мария, спаси!

Прохладная мамина рука выловила потную ладошку, выдернула из душной гибели дочь и портфель. «Не бросила! Не бросила!» – возликовала Изочка, а Мария окликнула кого-то слабым голосом:

– Зина...

Женщина в просторном ситцевом платье стояла у распахнутой створки ворот. Под платьем скрывался большой живот, сгиб локтя пересекали лямки дамской сумочки. Изочка заметила, как в прижатой к груди ладони женщины блеснуло что-то вроде зеленоватого камешка. Блеснуло – и спряталось в кулаке... или почудилось?

Знакомая Марии явно не хотела ее видеть и сделала неловкую попытку

спрятаться за спины.

– Зина, – повторила Мария громче, – Тугарина!

Женщина по имени Зина Тугарина повернулась к преследовательнице, словно застигнутый в тупике зверь, с затравленным выражением на чуть оскаленном в неприязни лице:

– Ну, здравствуй...

Мария с Изочкой протолкнулись к ней и встали напротив, обтекаемые бурливой толпой.

– Поговорить с тобой хочу, Зина.

– О чем?

– Просто – поговорить.

– Отойдем тогда.

Под брань и толчки они поплыли поперек людского течения.

– Сюда, – позвала Зина Тугарина, заходя под пожарную башню, где было тенисто и курил, прислонившись к столбу вместе с костылями, давешний калека-солдат в накинутах на плечо шинели.

Женщина тихонько опустила кулак в сумку и вынула из нее освобожденную руку. Значит, зеленый камешек не померещился, вправду прятался в зажатой ладони.

Солдат швырнул окурок в лужу у водокачки и зашкандыбал на костылях прочь от базара.

– Говори, что хотела, – сказала женщина.

Мешкая и отчего-то тушуясь, Мария спросила:

– В Якутске живете?

Та кивнула:

– Мария Романовна Готлиб – так ведь тебя зовут? Запомнила имя по рабочему табелю... Вас с мужем чекисты вроде как в другое место послать собирались... В городе, выходит, разрешили поселиться?

– Да, сначала нас отправили на «кирпичку», теперь я в рыбном тресте работаю... А вы?

– Я – тут. Тугарин недавно откинулся по амнистии, в Иркутске ошивается.

– Откуда... откинулся?

– Известно, откуда, – усмехнулась женщина, – из тюрьмы.

– Как – из тюрьмы? Почему?!

Женщина затараторила:

– После закрытия участка Тугарин с горя запил, совсем стало не вмоготу с ним жить, я сюда сбежала, он – за мной, отыскал и пригрозил: «Попробуй еще удрать – прирежу». Сама не пойму, почему раньше от него не ушла,

терпела, а он мучил меня и всех вокруг мучил, Змей одним словом, ну, ты знаешь... Тугарин в леспромхоз устроился, я билетершей в кинотеатре, на жизнь хватало, много ли надо двоим, а он все ходил недовольный, привык на мысе деньжищами крутить... Свинья всегда грязь найдет, и Тугарин нашел, свел знакомство с ворами. Краденый лес начали продавать, я Ваське-милиционеру пожаловалась: уйми дружка, ведь сядет!

– Вася... Василий тоже здесь?

– Здесь, и по-прежнему в милиции служит. Они по старой памяти пили вместе, правда, не часто и не сильно, Васька нынче остепенился, женатый, хвастался – сын у него... Я прошу милиционера за Тугарина, а он говорит: пусть своей башкой соображает, поймают, так сядет! И не повезло Змею – попался. Четыре года с конфискацией дали... а я до того другого человека встретила, полюбили друг друга... в общем, честно скажу, рада была от ирода избавиться. Олег мой дробильщиком на щебенке вкалывает... вдовец, трое детей у него от прежней жены... Я к ним, как к своим, привыкла, четвертого, как видишь, ждем. Думала, через год-два подкопим малость и в Уржум уедем, там у Олега родители, сестры, дом с садом-огородом... и вдруг – гром среди ясного неба! Васька через работу мой новый адрес нашел, с порога бух – новость: Тугарину подчистую скостили срок! У кого из уркаганов ходка первая, сказал, скопом по амнистии выпустили. Тугарин на радостях в Иркутск подался к родне, освобождение праздновать. Васька предупредил: не расслабляйся, мол, объявится через неделю. Им же, фараонам-то, все про эзков известно, или сообщались с дружком... Я так поняла, на самолете Змей прилетит, аккуратно в ту субботу рейс из Иркутска. Мог бы на пароходе, а если шикует, значит, деньги есть... Спасибо Ваське – пожалел. Или сам боится: было подозрение у меня – не он ли, думала, Тугарина сдал? Небось и поощрение получил за раскрытие дела. С него, жида, станется...

Махнув рукой, тетя Зина передохнула и зачастила снова:

– Света белого не вижу теперь, не передать, как боюсь! Убьет же, изверг! Убьет!.. Не спрячешься от такого, один выход – Уржум, каждый день на счету... Олег не знает, что Тугарин на свободе, думает – блажь у меня за месяц до родов срываться, но и ему давно на родину охота, готов ехать хоть завтра, а где деньги взять? Семья большая у нас, домик снимаем втридорога, на житье не хватает, не то что на дорогу...

В конце длинной скороговорки она шумно втянула носом воздух, помедлила и, глянув на Изочку, улыбнулась:

– Дочка? Ишь, синеглазка какая. Твои глаза... А так – на Хаима смахивает, чернявая. Муж-то чем сейчас занимается?

– Его... он... – ресницы Марии задрожали часто-часто.

– Умер? – сообразила женщина, и распаренное то ли от жары, то ли от волнения лицо ее искренне опечалилось. – Вот жаль-то...

– Несчастный случай на заводе...

– Хороший был мужик, есть о ком плакать... Любил тебя...

Они замолчали. Изочка внезапно почувствовала, как в тягостной паузе между ними растет, закипая горячим воздухом недосказанности, ток странного напряжения.

– Зина, простите, я видела в вашей руке...

Застывшее на лице женщины сочувствие тотчас смазилось, глаза прищурились с непотаенной злостью:

– Высмотрела... Отобрать хочешь?!

Изочка удивилась злобному преображению женщины, но больше удивило прерывистое, с отчетливыми слезами в голосе, бормотание Марии:

– Что вы, Зина... Что вы... Я просто посмотреть... Это был когда-то подарок очень хорошего человека...

– Зачем же ты поменяла свой подарок? Тугарин неплохо дал за него по тому времени... По тем условиям на мысе. Купи, если можешь, только я дорого ценю. Тебе ли не знать – редкий янтарь. Наверно, один такой в мире, и цена ему куда выше моей. А для меня этот камешек – единственный способ дернуть отсюда. Ребенка спасти, кровиночку мою, еще не рожденную... Ты сама мать, понять должна... Терять Тугарину сейчас нечего, зарежет, как пить дать! И Олега заодно. У самого-то дети не получались, впустую мечтал о наследнике... По старому адресу страшные письма получала я от него из тюрьмы...

– Василию не показывали? Милиционер все-таки...

– Говорила, но ничего подозрительного в письмах не было. Тугарин же, дьявол головоломный, умеет так слова подобрать-повернуть, что не придерешься. Самой-то все ясно, а не докажешь, какая в них смерть... Ну что, купишь кулон?

– Не могу, нет денег, – виновато сказала Мария, – а вот посмотреть... В последний раз, если позволишь.

Лицо Зины смягчилось.

– Жаль, конечно, что так вышло... Не нуждались бы мы сильно в деньгах, отдала бы. Хочешь – верь, хочешь – нет, вернула бы, честное слово, Христом Богом клянусь. Но – не верну, прости.

Порывшись в сумке, она что-то вынула из нее и резко раскрыла ладонь. Изочка встала на цыпочки, заглянула женщине в руку...

Вначале показалось, будто в ладони лежит капля с глаз величиной. Абрис сердца угадывался в изогнутых линиях золотой оправы. Женщина опустила руку ниже, чтобы Изочке удобнее было смотреть.

Прозрачный камень впрямь напоминал каплю росы, в середине которой вздремнул на рассвете, да так и остался дремать клочок зеленоватого тумана. В дымке легкой, летучей, нежнее дыхания, сияющими половинками-близнецами распахнулось расщепленное древесное семечко, образуя собою плод неизъяснимой красоты и доверчивости. Внутри мерцали тончайшие прожилки, царапинка сверху светилась венчающим черенком...

– Яблоко, – с жалобным всхлипом вырвалось у Изочки.

Младенческая нежность камня ранила ее сердце мгновенно и навсегда.

## Глава 8

### Солнечный мальчик

За водокачкой у дороги столпились какие-то загорелые люди. Тетеньки в цветастых юбках, у многих на руках маленькие дети, дядьки бородатые, с круглыми серьгами в ушах.

– Ты спрашивала, кто такие цыгане, так вот они, – тревожно шепнула Мария, увлекая Изочку к тротуару, примыкающему к рыночному забору. – Легки на помине... Целый табор...

«Что такое табор?» – хотела спросить и опоздала Изочка – их окружили цыганки. Одна, с сиреневыми губами и усиками под носом, протянула Марии закутанного в шаль малыша:

– Красавица, совсем нечего есть. Пухнем с голоду... Хочешь, погадаю? Все, что будет, расскажу!

Мария прижала сумку к груди:

– Нет, нет, мы спешим, мне нечего вам дать!..

Неожиданно кто-то запел высоко и надрывно, словно скрипку поместили в человечесьё горло. Цыганки отстали от Марии, положили малюток в бурьян на обочину. Женщины, мужчины, дети загалдели разом, затопали по земле черными босыми ногами. В облаке взметнувшейся пыли заколыхались многослойные юбки, мелко затряслись плечи в дырявых шалях, зазвенели, вспыхивая на солнце, латунные мониста и серьги. Длинный цыган в кумачовой рубаше, с плохо отстиранными на спине следами плакатных букв, запрокинул кудлатую голову, пронзительно

закричал-заплакал: «Адщя! Адщя, адщя!..»

Мария больно вцепилась в плечо дочери, оглянулась растерянно. Отступать было некуда – жаркий, смуглый, растрепанный мир бешено вращался вокруг.

Густобровая девушка гибко изогнулась в танце, небожно ущипнула Изочку за щеку:

– Ай, какая девочка синеглазая! Милашка! Пойдем медведя смотреть?

– Пойдем, – обрадовалась Изочка.

– Ай, умница, – засмеялась девушка, схватила за руку и потащила в самую гущу латунного звона.

– Куда?! – закричала Мария и потянула Изочку в другую сторону, но шальный поток развернул их обоих, закружил и легко вынес к краю свободной площадки, окаймленной настороженно замершей толпой.

В центре площадки сидел огромный медведь. Бурый мех его с серыми подпалинами дыбился клочьями, в пыльной шерсти курносой морды сверкали злые красно-коричневые глазки. Понятно, почему злые – могучую шею зверя плотно охватывал шипастый железный обруч, а на нем болталась толстая цепь, прикованная к дубинке. Дядька с сизыми щеками, заросшими щетиной, в одетом на голое тело узорном жилете, толкал этой дубинкой в медвежь бока и тонко, по-бабьи, взвизгивал:

– А ну-ка, пляши! Пляши давай!

Зверь не желал подниматься и, разевая страшную клыкастую пасть, вяло взрыкивал.

– Басиль, эгей! – с беспомощной ноткой в голосе кликнул дядька.

Из толпы выюном выскользнул, встал рядом с Изочкой солнечный мальчик. Буйные огненные кудри спадали по его плечам вольными кольцами, улыбка сверкала на чумазом лице, как луч. Мальчик достал из кармана штанов дудочку и засвистел. Птичий свист заструился мягкими коленцами и переливами, перешел в успокаивающую трель. Незамысловатая песня ласково уговаривала и звала куда-то...

Медведь нехотя подчинился – вздернул морду и поднялся над площадкой, как осенний холм с увядшей травой, затоптался кругом, крутя вытянутой шеей. Потешно переваливались кривые задние лапы, передние чуть встопорчились вдоль мохнатого тела. Щетинистый дядька с дубинкой двинулся в хороводе с медведем.

Зрители захлопали, кто-то бросил кусок хлеба. Зверь, с виду казавшийся неуклюжим, резво метнулся к подачке и захрипел, – железный обруч впился в шею, – но все-таки успел словить горбушку прежде своего мучителя. Хозяин подскочил ближе, крича: «Маро<sup>[50]</sup>, маро!», попытался

выдернуть подношение и не смог. Тогда он выругался и стукнул медведя дубинкой по лапе, но тот сел к нему спиной и съел хлеб.

Цыганенок захохотал, убрал дудочку в карман и обернулся. Изочка близко увидела его черные блестящие глаза и белые, ровные, как очищенные арахисовые орешки, зубы.

Мальчик и девочка смотрели друг на друга несколько долгих, очень долгих секунд. В это короткое время – временем-то не назовешь – поместился отрезок жизни длиной в годы, а может быть, вся жизнь, включая прошлую и предстоящую.

Изочке вдруг показалось, что она очутилась далеко отсюда, мерзнет одна на ветру и бесконечно ищет или ждет кого-то, – такая безысходная печаль открылась ей в глазах мальчика.

Ему тоже на миг почудилось въяве, будто взвихрились и полетели ввысь сотни оторванных от земли дорог и, обещая, маня, крутятся спиральями, исчезли в непроницаемых зрачках на дне синих глаз девочки.

– Кон ту? Ромны?<sup>[51]</sup>

– Не понимаю, – прошептала она.

– Ты – не цыганка, – убедился он. – Поздороваешься с медведем? Его зовут Баро, он ручной, не бойся. Баро тебя не тронет. На дар!<sup>[52]</sup>

Мальчик протянул Изочке жутко грязную руку, и она вложила в его ладонь свои робкие пальцы.

Он засмеялся:

– Совсем не боишься?

– Нисколько...

– Храбрая, – сказал мальчик нежно, нагнулся – он был выше на голову – и снова заглянул в ее синие глаза, ярче и загадочнее неба перед грозой. Мальчику хотелось разгадать тайну дорог, обреченных лететь в непроницаемую глубину.

Мальчик и девочка тронулись с места, но тут очнулась Мария, очарованная красотой необычного цыганенка, на которого люди пялились не меньше, чем на медведя. Завороженная острым перекрестьем взглядов паренька с дочерью, полоснувшим по сердцу до оторопи знакомо, Мария не вспомнила, не стала напрягать память, что это было, – потом, потом... Испугалась, рванула Изочку за руку и, толкаясь изо всех сил, поволокла по трудно расступающемуся людскому коридору.

Кое-как выбившись к дороге, они побежали вдоль забора. Изочка едва попевала за матерью. Мальчик пропал в толпе.

Сели передохнуть на бревне в конце ограждения.

– Ты с ума сошла, – задыхаясь, сказала Мария. – Что за дикий, неуправляемый ребенок! Решила уйти с цыганами, жить с ними в таборе? Вести разгульную жизнь, голодать, воровать?!

– Мне понравился Баро...

– Какой еще Баро?

– Медведь...

Мария вздохнула, раскрыла сумку.

– Просто удивительно, все цело, даже сметана не пролилась... – Поправила бумагу с резинкой на крынке и спохватилась: – А где твой портфель?

Изочка совсем забыла о портфеле. Вроде недавно держала в руках... Куда же он делся? Оглядела себя смятенно, будто портфель мог спрятаться в складках подола ее сатинового сарафана.

– Где, я тебя спрашиваю, портфель? – набросилась на дочь Мария. – Заморочила голову с этими цыганами! Почему ты вечно куда-то лезешь? Надо было крепко держать портфель, чтобы не украли, глаз с него не спускать! А ты куда смотрела?!

– На медведя, – заплакала Изочка, думая о потере портфеля меньше, чем о мальчике. Перед глазами стояло его бронзовое лицо с арахисовой улыбкой, обрамленное кольцами огненных волос...

– Пойдешь теперь в школу с авоськой!

«Лучше бы они меня своровали», – плетясь за матерью, размышляла Изочка. Сама бы она не стала воровать. Она бы сняла шипастый обруч с Баро и ходила бы с мальчиком и медведем по дорогам земли.

Изочка с замиранием сердца представила: мальчик играет на дудочке удивительную волнистую песню, а она танцует с Баро, перебирая по кругу загорелыми ногами, вся в цветастых юбках, круглых серьгах, дрожащих монистах... Кричит с запрокинутой головой пронзительным голосом: «Адщя! Адщя, адщя!..», публика хлопает в ладоши, свистит... В одной лапе медведя целая буханка хлеба, в другой – кепка, полная меди, площадка сплошь усеяна веснушками желтых монет...

Среди зрителей стоит слепой, слушает птичью песню. Тут же солдат с непроданной шинелью, маленькая старушка с колким вязаньем, одноглазый сторож и цыганки с завернутыми в шали детьми... Не горюйте, люди, подставляйте ладони, вот вам полные горсти копеек и бумажных рублей – возьмите себе колбасы и шоколадных конфет! Денег так много, что сторожу со слепым хватит купить в аптеке стеклянные глаза для красоты, всем на все хватит, будто уже прошли семь лет и наступило коммунистическое завтра... Ах, как хорошо!

Втроем они – Изочка, мальчик, Баро – заработали бы много-много денег. Изочка нашла бы в магазинах других городов лучший портфель или ранец. Разыскала бы тетеньку Зину с большим животом, чтобы выкупить у нее янтарь за дорогую цену, намного дороже, чем она его оценила. Пусть скорее уедет с семьей от страшного Тугарина по прозвищу Змей...

Из рук любящей дочери навсегда бы вернулся к матери подарок хорошего человека, бел-горюч камень со спящей внутри нежностью.

## Глава 9

### Вруша – шпионская находка

Дома Мария помыла пыльные ноги и примерила новую обувь. Ботинки с высокой шнуровкой были больше на два размера, чтобы надевать зимой с толстыми носками и портянками.

– Ну как?

– Красиво, – похвалила Изочка и подумала: неужто будет не лень шнуровать-расшнуровывать?

– Сто лет не носила приличной обуви... Отнеси, пожалуйста, сметану тете Матрене.

По всему коридору шел дух свежеиспеченных овсяных калачей. Соседка как раз собралась пить чай с калачами и обрадовалась:

– Купили сметанку? Вот спасибо! Садись, поешь горячего.

Положила на стол перед Изочкой румяный калач, сама присела рядом.

– Ну, как базар, что хорошего видали?

– Цыганов.

– Разве это хорошее? – засмеялась соседка. – Они тебя украсть могли.

– Не, у них своих девочек много. Они вместо меня портфель украли.

– Осподи, помилуй! – тетя Матрена смешно схватила себя пальцами за щеки.

– И потом, Мария же за мной следила.

Соседка прижала руку к пухлой груди:

– Ой, лихоманка их забори!

– Еще там сидел ручной медведь, я его гладила, а он ни разу не укусил. Его зовут Баро.

– Ой, что деется-то, миленька моя...

– Мальчик играл на дудочке, а медведь плясал.

– Так-таки плясал?

– Да, очень красиво. Все люди пели и танцевали. И я, и мальчик... и Мария... Медведь собрал полную кепку копеек. Солдату без ноги тоже дали много денег на колбасу, а одноглазому сторожу и слепому – на вставные глаза в аптеке. На выбор – хоть черные, хоть голубые, чтобы их лица стали красивше... Старушке с носками, цыганкам для их детей – всем-всем дали, и все плясали от радости!

– Кто дал-то?

– Люди. Ну, которые на базаре, у кого денег было больше... А мамин янтарь у чужой тетеньки.

– Мария бусы желтенькие продала, что ли?

– Нет, не бусы, другой янтарь, с яблоком в тумане. Его не Мария продавала, а тетенька Зина, потому что Тугарин откинулся из тюрьмы. Он скоро прилетит на самолете, а ей нужны деньги.

– Ой-ей... Что за Тугарин?

– Змей. Он плохой, собирается зарезать тетю Зину, ребенка, который у нее в животе, и Олега. – Изочка немного подумала и добавила: – Ножиком.

– Тугарин, гришь? – вид у тети Матрены стал какой-то озадаченный.

– Ага. Все поплясали, потом Мария сказала, что надо идти домой, и мы ушли.

– Без портфеля?

– Без портфеля.

– Господи... Когда его украли-то? Когда ты медведя гладила?

– Не знаю... Наверно, пока мы с мальчиком танцевали...

Переживая сложное чувство вдохновения, смешанного с ужасом, Изочка краем глаза заметила, что в дверях стоит Мария. Сколько она там уже стоит?..

Тетя Матрена пригласила Марию попить чаю с калачами и сметаной. Изочка бочком выскользнула в дверь и залезла под кровать...

Какая странная жизнь! Разве Изочка не знала, что соседка непременно выпросит о базаре у Марии? Знала! Знала! Зачем врала? Только ли ради удовольствия видеть раздраженное любопытство соседки? Отчего возникает в Изочке этот острый в своей мимолетности восторг, бесшабашный перед неминуемым разоблачением?

О, если бы вернуть время на каких-то три часа назад, Изочка вела бы себя правильно, смотрела б только на Марию, а не по сторонам! Тогда не знала бы непонятной вины перед теми, кого видела и запомнила на базаре, не испытывала бы жгучего стыда за вранье...

Лежа в пахнувшей перцем пыли, она чихнула раз, другой... Если чихаешь несколько раз кряду, значит, кто-то вспоминает тебя, так говорил

Гришка. Понятно, кто расстраивается сейчас из-за вопиющей лживости Изочки. Мария все слышала, по лицу было видно... Дядя Паша совершенно прав, когда называет Изочку болтушкой. Это она – «Болтун – находка для шпиона!» И какими глазами смотреть теперь на тетю Матрену? Как объяснить, что желание поменять действительность на выдумку иногда оказывается сильнее человека, сильнее правды жизни? Слабая девочка неспособна совладать с таким могучим желанием, сжигающим сердце!

«Вруша! Дурацкая, глупая вруша, шпионская находка!» Изочка плакала, плакала и нечаянно вздремнула в мучительно сладкой жалости к себе.

– Что ты там делаешь? – послышался мамин голос.

Изочка заполошно проснулась и, переведя судорожное дыхание, соврала снова:

– Пуговичку от сарафана ищу... (Вообще-то пуговица впрямь потерялась.)

– Еще и пуговицу в толпе оборвали, – вздохнула Мария. – Если не найдешь, возьми в моем ящичке похожую и пришей сама.

– Хорошо, – скорбно сказала Изочка и выбралась из-под кровати.

Мария сидела на табурете. Лицо у нее было усталое и доброе, мамино лучшее на свете лицо. Обняв Изочку, она опять вздохнула.

– Матрена Алексеевна пообещала дать старый Мишин ранец. Он, правда, «мальчиковый» и немного дырявый, но мы с тобой что-нибудь придумаем. А как только я получу зарплату после отпуска, мы купим тебе совсем новый портфель. В магазин к тому времени, может быть, завезут.

Изочка опустила голову и не смогла удержать слез.

– Прости меня, я больше не буду...

Мария задумчиво посмотрела в окно.

– Не плачь, ты же не просто так придумала. Ты не соврала, а пожалела кого-то и сама немножко поверила себе, да?

– Да, – прошептала Изочка.

Мария поняла о ней все-все.

– И портфель тоже... – голос Марии почему-то задрожал и стал прерывистым, как в разговоре с Зиной Тугариной, – тоже ничего страшного. Невелика потеря. Цыгане... Люди голодают... Голод – вот что страшно. Пусть продадут портфель и купят своим детям хлеба.

## Глава 10

### Цыганка с разноцветными глазами

...Изочка твердо решила вернуть портфель. Может, цыгане не успели продать его вчера. Она знала – на самом деле ей хочется еще раз увидеть мальчика с медведем. Запрещала себе думать о них и все равно думала. Что же делать, если постоянно вспоминается мальчик, а глаза при этом наливаются слезами и горлу становится больно?..

Нет, Изочка, конечно, не уйдет к цыганам, не бросит Марию. Не нынче, по крайней мере. За половину короткого лета не заработать денег танцами и дудочкой. И янтарь у тетеньки Зины, должно быть, купили...

Цыгане голодают, Мария сама сказала. А дома много всего: целая буханка свежего хлеба и пакет сухарей, есть ячневая крупа, мука, подсолнечное масло, картошка, свекла, банка соленого полевого лука и любимые грибы Марии в подполье. Изочка отнесет цыганам хлеб, а взамен заберет свой портфель.

– Как только отдадут – сразу домой, – сказала она вслух, чтобы задуманное утвердилось крепче. Погрозила пальцем отражению в зеркале: – Всего раз посмотрю на Баро и мальчика – и домой!

Врать Изочка больше не могла, поэтому не стала никуда отпрашиваться, а попросту сбежала. Остановилась у соседней ограды: ой, а вдруг меня своруют?

Но у кого ее воровать? Не у нее же, Изочки, Изочку красть, раз она одна! Успокоилась и понеслась дальше.

Никто не плясал за водокачкой у дороги. Нигде не слышалось птичьего пения дудочки, не видно было смуглых людей в ярких лохмотьях. Рядом с большими воротами не собирал зевак танцующий медведь.

Белобородый игрушечник улыбнулся и кивнул, как старый знакомый. Черно-белый арлекин в его руках приветственно протрещал деревянными ладошками по клавишам лестнички. А тетя Зина с камнем уже не стояла у ворот. Значит, продала подарок хорошего человека...

Конца-края не было урожайному многоцветью. Лавируя в толчее между продавцами, покупателями и менялами, сквозил летний ветер, полный плодово-травяных ароматов. Но не он пробежал холодной дрожью по спине и перехватывал дыхание ошеломленной Изочке: ей казался враждебным базар. Наверное, потому что без Марии... Ощетинился во все стороны

рядами подвод и телег, выставил вперед нечистые дощатые лавки, как зубы...

Глаза быстро притомились от избытка красок, устали выискивать среди недружелюбных лиц приметного рыжего мальчика. Страх рос, заполняя душу, вытесняя все мысли. Лицо многоголового, тысячерукого чудовища толпы менялось ежесекундно, в безостановочном крике содрогался пещерный рот, клацая лавочными зубами, готовый вот-вот проглотить девочку с прижатой к груди буханкой хлеба.

Изочка в панике забилась в щель между овощным прилавком и мешком с картошкой, зажмурилась, чтобы не видеть плотоядного рта базара. Сознание вернулось, а с ним и запоздавшее прозрение: она своровала из дома хлеб! Взяла, не спросив. Так же, как кто-то взял ее портфель...

Вот какой народ называют цыганами – людей, берущих еду или вещи без спроса! Выходит, Изочка тоже цыганка и теперь ей суждено бродить по дорогам с этими горластыми черными людьми и вести разгульную жизнь, ведь Мария, конечно, больше не захочет жить с такой дочерью – лгуньей и воровкой!

– Мария! – отчаянно закричала Изочка. – Мариечка, мамочка!

Кто-то больно схватил ее за ухо и вытащил из-за мешка. Ничего не понимая, Изочка сразу замолчала от боли и ужаса.

– Ах ты, мошенница! Где хлеб украла? – нависла над нею краснощекая торговка, тошнотворно дыша в лицо чесноком и еще чем-то таким же противным.

– Житья не стало от этих цыган, – поддержали в толпе. – Сама с вершок, а туда же!

– Не тяни ухо-то, напрочь оторвешь, – заступился старик в парусиновой панаме. – Хоть цыганский, все ж-таки ребенок, стыд поимейте...

Тетенька нехотя отпустила ухо, но старик отошел, и тогда, вцепившись в запястье девочки, она затрясла ее:

– Говори – где хлеб слямзила?

Отворачивая лицо от ее зловонного дыхания, Изочка пролепетала в сторону:

– Дома своровала...

– Из какого дома? Горазда врать! У тебя и дома-то нет, бродяжка таборная! – заорала торговка и свободной рукой принялась выдирать хлеб из пальцев Изочки.

– Эй, женщина! – позвал вдруг чей-то гортанный голос.

Изочке некогда было слушать и смотреть. От боли и несправедливости тетенькиных слов пропал страх и родилось возмущение. Она прижала к

себе буханку так сильно, что поджаристая корка треснула и надломилась.

– Неправда! У меня есть дом! Я там живу с Марией! Это наш хлеб!

Тетенька запыхтела и запустила толстые пальцы под раскрывшуюся хлебную корку в мякиш.

– Эй, женщина! – повторил голос. – Тебе, тебе говорю!

Толстуха сердито повернулась... и застыла. Замерла и девочка.

Статная цыганка возвышалась над прилавком, уронив на него тяжелые косы. Плечи ее покрывала шерстяная шаль – алые цветы по вишневному полю. Из-под надвинутой на лоб, по-особенному завязанной косынки выбивались тонкие кольца выющихся волос. Окруженные темными ободками глаза горели, словно угли. Они были разного цвета: один черный-пречерный, другой – карий с золотом, и светился, мерцал изнутри, как змеиное око. Изочка пригляделась: не «аптечное» ли? Убедилась – нет, настоящее...

Дрогнув взведенной бровью, цыганка вкрадчиво сказала:

– Женщина, оставь девочку в покое. Оставь хлеб в покое. Если непонятливая ты, худо тебе придется.

Щеки торговки из красных сделались багровыми – вот-вот лопнут. Сунув вырванный мякиш Изочке в руки, она вытолкала ее за прилавок и забормотала:

– Подите, подите с Богом, чур меня, чур, дурной глаз!

Цыганка подтвердила, умехаясь:

– Дурной... Крестись шибче, женщина.

Притушила веками угольные глаза. Наклонилась над девочкой, погладила истерзанное торговкиными ногтями запястье:

– Больно?

Не смея глянуть цыганке в лицо, Изочка молча кивнула.

– Не бойся, – улыбнулась та. – Пойдем.

Изочка нерешительно вложила ладонь в руку спасительницы:

– Вы... вы меня сейчас воровать будете?

Цыганка засмеялась:

– Я не ворую детей. У самой мальчик есть. В гости тебя зову.

Погостишь, потом мой сын тебя домой отведет к маме твоей.

– А я у Марии хлеб украла, – созналась Изочка.

– У какой Марии?

– У мамы. Ее Марией зовут.

– Что, мать не кормит тебя?

– Нет, нет! – Изочка несильно помотала головой – накрученное ухо пульсировало и ныло. – То есть, да – кормит! Хлебом, кашей, супом,

всякой другой едой. А этот хлеб я хотела цыганам отнести, для их детей. Может, цыгане тогда вернули бы мой портфель...

– Что за портфель?

– Желтый такой, пупырышчатый, с замочком, шнурок с ключами на ручке завязан, мы с Марией вчера портфель для школы купили, я в школу пойду в сентябре, а потом мы увидели медведя и мальчика с дудочкой, и кто-то его украл.

– Мальчика с дудочкой украл? – спросила цыганка, смеясь.

– Портфель... А еще я хотела немножко посмотреть на камень с яблоком, если тетя Зина не продала его.

– На камень?

– Да, на камень бел и горяч...

Изочка хорошо запомнила разговор Марии с тетей Зиной и передала его полностью. Добрая цыганка слушала очень внимательно, ни разу не перебила.

– Если бы тетя Зина не боялась Тугарина, она даром возвратила бы камень маме. Тетя Зина сказала – Христом Богом клянусь... Когда люди так говорят, они же не обманывают, правда?

– Наверно...

Потом Изочка рассказала, как сильно соскучилась о матушке Майис, Сэмэнчике и деревне. Рассказала о жизни в общежитии на Первой Колхозной улице, которую недавно переименовали в улицу имени красного командира Карла Байкалова, о соседях и маминой работе в рыбном тресте. Цыганка задавала всякие вопросы, и как-то так получилось, что выведала почти все, что Изочка знала о папе, Литве, Мысе Тугарина-Змея, и многое другое.

Базар остался далеко позади. Изочка заметила это, лишь когда спустились по кособогу к широкому ленскому берегу у пристани. Там, словно брошенные в песке старые игрушки, темнели чьи-то ветхие палатки в ярких пятнах свежих заплат. В центре стоянки горел костер с огромным, подвешенным на железном стояке котлом, и носилась ребятня. Слышались неумолчный говор, смех и младенческий плач. Возле одной из палаток сидел на цепи Баро. Увидев в руках Изочки хлеб, медведь смешно задвигал носом и заурчал. Ватага босоногих детей обступила девочку, со всех сторон потянулись к ней грязные руки:

– Маро, маро!

Изочка растерянно оглянулась на провожатую. Цыганка отломил кусок от мякиша, вложила в ручонку кривоногого карапуза без штанишек. Довольный малыш заковылял к костру.

– Чего испугалась-то? Дели свой гостинец, – подбодрила цыганка и что-то зычно прокричала сгрудившимся у костра женщинам. «Таня-а, Таня-а» – только и можно было разобрать имя среди непонятных слов.

Женщины повернулись, разглядывая гостью, зашептались о чем-то. Подошла девушка с густыми бровями, которая вчера назвала Изочку милашкой. Вот и здесь она, тряхнув длинными косами, задорно подмигнула:

– Ай, милашка! В гости пришла?

– Ага, – поспешила ответить Изочка, стараясь поскорее избавиться от непрерывно галдящих вокруг цыганят.

– Со тукэ трэби?<sup>[53]</sup> – спросила девушка у разноглазой цыганки. Та принялась сердито о чем-то выговаривать. В словах снова слышалось: «Таня-а».

Девушка Таня подбоченилась и, кажется, начала препираться, покачивая большими серьгами, но недолго перечила – ушла в палатку и вынесла из нее желтый портфель с болтающимися на ручке ключиками. Подала его Изочке, скривив оттопыренные губы:

– Вот пропажа твоя, красавица. На базаре валялся в пыли. Топтали его, а я подобрала. Что ж ты не дорожишь своими вещами, бросаешь везде? Теперь карауль, – и весело рассмеялась, – не то украдут важный твой чемоданчик!

– Не чемоданчик, портфель для школы, – поправила Изочка.

Девушка громко захохотала, захлопала себя по стянутому шалью поясу:

– Ай, глупая ты! Ворам-то без разницы!

Изочка не успела обидеться, тотчас забыла о портфеле и совете караулить его, обо всем забыла: сверкая белозубой улыбкой, по берегу мчался солнечный мальчик!

– Я искал тебя вчера! – закричал он так, будто они сто лет знали друг друга. – Выбрался из толпы, а вас нету!

– Я за портфелем пришла, – робко сказала Изочка.

– Э-э, так вы, оказывается, знакомы? – сощурила цыганка глаза-угли.

– Ай<sup>[54]</sup>, – мальчик нетерпеливо дернул Изочку за руку, – пошли со мной!

Рубаха его была испещрена следами краски и цемента.

– Куда?

– Играть!

– А медведь?

– Подождет, – мальчик оглянулся, – ты ведь подождешь нас, Баро?

Зверь потряс косматой башкой.

– Недолго играйте, – предупредила цыганка, переводя с мальчика на девочку пристальный золотисто-черный взгляд.

Странно смотрели, провожая их задумчивыми глазами, и другие.

## Глава 11

### Волшебная цистерна

Мальчик с Изочкой покачались на гнущихся досках тротуара и побежали мимо макаронного цеха к кондитерной фабрике. От угла, где стояла фабрика, из ее низких, распахнутых во всю ширь окон в обе стороны изливалось неопишное словами, мятное и розовое карамельное благоухание. Под окном шныряли какие-то подростки, и мальчик придержал Изочку:

– Подождем, уйдут скоро.

Ждали недолго, подростки и впрямь ушли.

– А мы туда зачем? – не поспевая за мальчиком, спросила она.

– Сейчас поймешь!

Взявшись за руки, они встали напротив створки крайнего окна, затянутого тонкой черной сеткой. Она свободно просматривалась насквозь. Внутри к оконной стене прилегал обитый блестящим железом стол. На нем лежали прозрачно-зеленые кучки леденцов и окутанный сладким паром ком желтоватого теста в шоколадных разводах. Две женщины в белых колпаках и халатах, молодая и постарше, несуетливо двигались с какой-то посудой между столом и массивной печью. Старшая увидела детей и остановилась:

– Дуняш, смотри, опять тот красавчик!

– Рыжий-то? – откликнулась напарница.

– Да не один, с «девушкой»!

Женщины отодвинули сетку и высунулись в окно, беззастенчиво разглядывая Изочку с мальчиком. Молодая восхищенно щелкнула языком:

– Ишь, какую кралю себе урвал! Вы, детки, цыгане, что ль?

Мальчик серьезно кивнул.

– В жизни не видела среди цыган таких синеглазых, – заметила старшая.

– И рыжих тоже, – засмеялась вторая, загребла рукой со стола пригоршню леденцов и протянула гостю: – На, Огонек, возьми!

– Не-е, – мотнул он головой. – Мне б как вчера.

– От теста отсеки, – поняла старшая.

Молодая Дуняша подала мальчику кусок карамельной массы в пропитанной жиром бумаге.

Мальчик перекидывал горячую лепешку с руки на руку. Шурша бумагой, она смачно шлепалась о ладони и на всю улицу пахла сладкой радостью. Он загибал бумагу, дул на лепешку и давал откусить Изочке, потом откусывал сам. Они шли, по очереди кусая обжигающее тесто в шоколадных разводах. Вязкая карамель жарко облепляла зубы приторной, чуть подкисленной смолкой, и не было на свете ничего вкуснее и слаще.

– Мы попрошайничали?

– Кто тебе сказал? Мы просто понравились конфетницам.

– А теперь куда идем?

– Во-он, – мальчик показал на строящееся неподалеку здание. – Там второй этаж добавляют для конторы. В ней будут сидеть начальники, которые выписывают рабочим зарплату.

На площадке перед зданием кипела работа. Дяденьки в свернутых из газет треуголках крутили палками глинистую смесь в круглых чанах и с грохотом подтягивали к крыше на веревках по дощатой дорожке с перильцами тяжелые ящики с кирпичами. Как докеры на пристани, строители кричали: «Майна – вира! Вира – майна!»

– Не погонят нас отсюда? – струхнула Изочка.

– Они меня знают, – гордо выпрямился мальчик. – Я помогаю им и даже обедаю с ними!

– Подружку привел? – приветливо махнул рукой один из дяденек в выцветшей голубой майке. Второй, толкая полную кирпичей тележку, улыбнулся:

– Под стать себе выбрал, постреленок!

Возле крыльца стояли две громадные цистерны с водой. Мальчик забрался на одну – вода в ней оказалась чистая. Спросил у строителя с тележкой:

– Можно?

– Можно, – разрешил тот. – Утром привезли. Мы из другой воду берем.

– Река студеная, а в бочке хорошо, я часто здесь купаюсь, – объяснил Изочке мальчик. – Солнца сегодня много, вода теплая!

– Я не умею плавать...

– Не утонешь! Лестница есть, и я держать тебя буду.

Изочка подумала, что Мария не позволила бы ей купаться ни в реке, ни в цистерне. После того как Изочка нашла возле совхозного огорода

гномика Аборта Подпольного, мама запретила бегать на протоку. Но если ничего не рассказывать о сегодняшнем дне, это же не вранье?.. Это просто молчание.

Мальчик мгновенно стянул рубашку, штаны и прыгнул в воду.

– Йав кэ мэ!<sup>[55]</sup> – позвало эхо изнутри его голосом.

По разгоряченному телу хлестнул холод. Не студено, но вовсе не тепло... А руки мальчика и в воде были теплыми. Он едва успел поймать Изочку, когда она бултыхнулась без предупреждения, подняв тучу брызг, и упрекнул:

– Зачем сразу сиганула? Ушибиться могла. По лестнице надо было спуститься.

Пахло ржавчиной, тиной и дождем. Голоса и звуки отскакивали от замшелых стен и упруго раскатывались в ливневой свежести воздуха. Взволнованная отчетливость дыхания, стук капель, выгнутые стены в бородавчатых наростах то ли цемента, то ли какого-то металлического лишая, – все носило отпечаток смутной тайны и отдаленного от земли мира. Изочка бы не удивилась, если б внезапно из воды в темном конце цистерны вылезла голова неведомого водяного зверя или плеснул русалочий хвост. А железная лесенка с ближнего края поднималась прямо в ярко-голубое круглое небо.

Из небесного круга летел вниз, пыля и танцуя, солнечный поток. В ослепительном сквозном столбе бесконечно что-то создавалось, менялось, умирало и рождалось вновь. Изочка ощутила щекотное движение живого солнца, – сияющий столб рассеивался и пропадал в воде, но на дне вспыхивали, покачиваясь и рябя, осколки янтарного света.

– Здорово, правда? – прошептал мальчик.

Изочка еще не ответила, а эхо поспешило насмешливо подтвердить: «Да, да-а, да-а-а...»

– Здорово, – перебила она гулкую дразнилку эха, – как в море, где лежат янтарные камни.

– Я видел янтарь, – кивнул мальчик. – Это каменная смола, в нем застревают мухи. Я много драгоценностей видел. Я знаю сапфир – синий камень, он самый красивый. У тебя глаза, как сапфир.

Мальчик нежно поддерживал Изочку за пояс, трепеща в глубине ногами. Белые блики плясали на его медных, потемневших от воды волосах. Легкая дрожь передавалась Изочкиному телу. Оно не тонуло, чувствовало воду, как воздух, и слушалось мальчика.

Мокрое солнце заглядывало Изочке в глаза пытливо, тревожно, словно хотело спросить о чем-то и не решалось. Они смотрели друг на друга

долго, несколько секунд, а может, часов.

– Где ты живешь? – первой спросила Изочка.

– В таборе. Ты же там была.

– Вы, что ли, все время в палатках живете? – удивилась она.

– Ну да, в шатрах.

– А когда станет холодно?

– Полетим за теплом, как птицы, – засмеялся мальчик. – Мы уже на той неделе поплывем пароходом в Усть-Кут, а оттуда – дальше, не знаю куда. Наш старший на Кавказ хочет.

– Кавказ – город?

Мальчик пожал плечами:

– Там горы большие...

– А Иркутск? – вспомнила Изочка название места, где, по словам тети Зины, гуляет в ожидании самолета Тугарин-Змей.

– Иркутск – город, мы были в Иркутске в прошлом году.

– Еще есть Уржум.

– Такого не знаю.

– А когда ты опять приедешь сюда?

– Может, совсем не приеду, может – да. Будет новое лето – тогда узнаем... Мы приехали в Якутск в начале июня. Здесь живет один человек, большой начальник на пристани. Он друг даде – матери моей. Даде – мать по-нашенски. К этому человеку иногда возвращаемся. Он любит ее, хотя он – русский. Зовет вместе жить, у него дом свой. Даде тоже любит его, но еще больше она любит табор и дорогу.

– Где ты учишься? В каком классе?

– Должен в третьем, но захочу – учусь, не захочу – не учусь, – улыбнулся мальчик.

Изочка удивилась: разве можно не учиться? Впрочем, мальчик был особенный, и жизнь цыган – особенная. Наверное, цыганским детям разрешено не учиться.

– Я книжки люблю читать, – продолжал мальчик. – Даде мне их покупает или берет у кого-нибудь.

– Со спросом?

– Конечно. Прочту – и обратно отдает, если табор еще не снялся.

– Как тебя зовут?

– Басиль. А тебя?

– Изочка.

– И-изочка, – повторил он нежно. – Это маленькое имя. А по-взрослому?

- Изольда. Папа Хаим назвал меня так по опере.
  - По чему?
  - По опере. Опера – такой спектакль в театре, где все поют вместо разговора. Папа любил оперу про Тристана и принцессу Изольду.
  - Тристан – жених принцессы?
  - Ну да. Они оба умерли... И мой папа тоже.
- Басиль вздохнул:
- Жалко...
  - Те, кто умирает, уходят в Вальхаллу.
  - Это что?
  - Лесная страна на небе, где растут яблоки.
  - Знаю, только она немножко не так называется.
  - А как?
  - Забыл.
  - Поиграй на дудочке. Ты красиво играешь.
  - Это не дудочка. Называется «свирель».

Мальчик велел держаться за лесенку, сам забрался наверх и тотчас вернулся со свирелью. Она сначала чирикнула резко, смятенно, как испуганная птица, потом запела.

Песнь выровнялась, поплыла поверх воды в воздух невидимыми волнами, кудрявыми барашками и завитками. Музыка не была грустной или веселой, она была летучей. Музыка прикасалась к девочке и мальчику звуками-перьями, обнимала мягким крылом, поднимала к небесному кругу. Крылатый напев кружил их в потоках жидкого янтаря, хотя они не двигались с места.

Изочка переживала настоящее чудо. Она перестала верить, что за пределами этого волшебного мира существует огромная непостижимая страна, пыльный город с пыльными улицами и общежитие на Первой Колхозной... ой, то есть по новому названию, красного командира Карла Байкалова... Карл у Клары украл кораллы... Мальчик-солнце украл у Изочки сердце... Мария, прости за ложь-молчание и кражу хлеба!..

Гибкие пальцы плясали на свирели, чуткие пальцы ласкали вертикаль разбуженных звуков умело и нежно. Эхо красиво удлиняло жаворонковую песнь, рея кудрявым хвостиком после каждого завитка. Потом мальчик снова залез в небо и убрал свирель, чтобы не намокла.

Плавали и плескались до тех пор, пока губы не стали цвета вылинявшей майки строителя, который назвал Изочку подружкой Басиля. Заметив, что у нее зуб на зуб не попадает, Басиль сказал:

– Са<sup>[56]</sup>.

Они вышли на землю, и сказочный мир сразу прикинулся обыкновенной цистерной.

## Глава 12

### На бистыр<sup>[57]</sup>

Табор окутывали дым костра и аромат луковой мучной похлебки, несущийся из снятого со стояка большого котла. Неподалеку женщины прямо на песке разостлали длинное полотно и расставили железные миски. Трапеза задерживалась – ждали с базара мужчин.

Изочка поискала глазами маму мальчика. Взобравшись на высокий чурбак, его даие зашивала дыру в разлохмаченном верхнем крае самого дальнего шатра.

Басиль сунул в варево палец, облизнул его и покрутил головой:

– Остыло...

И вдруг! Изочка не поверила своим глазам! – мальчик сбросил одежду и прыгнул в котел! Будто через заборчик перескочил, да так ловко, что не пролилось ни капли!

Изочка не стала долго обдумывать новую игру. Озябшее тело быстрее головы сообразило, как мальчику теперь хорошо и приятно в горячей похлебке, поэтому она тоже немедля сорвала с себя сарафан...

Они сидели тихо-тихо. Густое, душистое тепло ласково обьяло и согрело промерзшие до косточек тела. Из-за края посуды выглядывали только покрытые маслом и кольцами лука макушки.

– Хватит, вылазим, – булькнул Басиль.

Даие, стоявшая на чурбаке далеко, словно услышала, повернулась в их сторону... Вот тогда-то Изочка и увидела нечто непостижимое, чему позже не смогла найти объяснения. Цыганка пронзительно вскрикнула и удивительно медленно, отвесно повалилась на землю, но не упала, а остановилась на излете, протянула к ним руки издалека... и очутилась рядом. Наполненные ужасом глаза сверкали черным и золотым огнем. Изочка взвизгнула, выдернутая за волосы из котла безжалостно, как морковка из грядки.

– Живые!.. – выдохнула цыганка слабым голосом, согнулась пополам и осела в песок, а девочка снова сползла в похлебку.

В это время с базара подошли мужчины и, ничего не понимая, уставились на котел с человеческими головами, а головы тарасились на них и хлопали мокрыми ресницами.

Поднялся страшный галдеж. Женщины и дети пытались что-то

растолковать, но кричали все разом, к тому же начал метаться на цепи и громко скулить медведь, встревоженный переполохом. Старый пузатый цыган со смоляной бородищей – великанский жук-плавунец в кителе с медными пуговицами – отделился от гомонящей толпы. В разинутом рту загорелось золото крупных зубов. Старик оглушительно рывкнул, и люди смолкли, точно рев его перерубил толстую пуповину звуков.

Изочка перепугалась. Сейчас этот дяденька накинется с воплями или, чего доброго, вообще вздует ремнем ее и мальчика! Цыган угрюмо вперился в котел с непривычным содержимым, почесал горбатый нос и закрыл лицо ладонями, будто заплакал. Басиль переглянулся с Изочкой: дело плохо...

Плечи цыгана мелко затряслись. Внезапно сквозь пальцы прорвались раскатистые стенания, рулады и трели. Целую минуту он в полной тишине пел без слов. Взывал и хрюкал, ржал и кудахтал, с силой набирал воздух и вновь распускал звонкий веер рыдающе-радостных, квохчущих звуков. Так он смеялся. А как прошла эта положенная, очевидно, минута одинокого веселья, берег опять взорвался – теперь уже общим хохотом, и похлебка забурлила, закипела от смеха вокруг Басиля и Изочки. Присев на корточки, издавая звуки небольшого, но шумного скотного двора, старик вспыхивал золотыми искрами в черноте бороды, тыкал пальцем в котел и стучал себя кулаком по колену...

Когда все успокоились, цыганка помогла детям выбраться из котла. Вытирая скользкие Изочкины руки мягкой ветошью, она говорила с мальчиком по-цыгански – то ли ругала, то ли посмеивалась над ним, и вдруг запнулась, а лицо ее резко изменилось. Женщина настороженно, вроде бы нехотя повернула вверх левую ладонь Изочки и оцепенела, засмотрелась, как молодые девушки засматриваются в карманное зеркальце. Потом зачем-то сравнила обе ладони девочки и подняла на нее горестные разноцветные глаза.

– Ай, маленькая, – сказала с близкими слезами в голосе. – Нат бахт тукэ... [58]

Цыганка зачем-то и сына попросила показать ладони, поднесла ближе к Изочкиным и, держа их руки вместе, словно в беспамятстве закачалась на земле с плачущим лицом, забормотала непонятное:

– Оба потеряете, найдете себя... и потеряете, и нет вам покоя...

– Не говори так! – одернул Басиль.

– Не я говорю, судьба вещает, чяво... [59]

В костре пылали кинутые внахлест деревянные плашки, подозрительно

похожие на те, что покрывали землю на Октябрьской улице, терпкий лекарственный запах шел от вязанки опаленных тальниковых прутьев. На вбитых в землю кольях покачивались веревки со стиранным тряпьем. У входа в ближний шатер громоздились предметы, больше подходящие обычному дому, а не легковесному кочевому обиходу – солидный умывальник с керамической раковиной, акварельный пейзаж под стеклом в сусальной раме, облезлое плюшевое кресло на ящиках вместо ножек...

Пестрая цыганская суэта производила на Изочку впечатление сплошного праздника. «Жук-плавунец» с сознанием своей значимости восседал на широком бочонке из-под солярки и отдавал какие-то команды ровным, зычным голосом, уже вовсе не напоминающим разноречивый хохот. Быстрые внимательные глаза с королевской благосклонностью обегали табор, примечая, казалось, каждое движение. Люди обращались к старику смиренно, Басиль смотрел на него в молчаливом ожидании. Тот, наконец, удостоил мальчика взором, блеснул улыбкой и показал четыре пальца. Басиль поспешил воспользоваться не высказанным вслух, привычным, но щедрым сегодня разрешением: вылил в деревянную лохань четыре черпака суповой гущи и поставил перед взбудораженным от предвкушения еды медведем.

Похлебка была наваристая и вкусная – Изочка заметила это еще в котле. Цыгане ели, смеялись и шутили, что дети только на вид худые, а на самом деле жирные, потому и вкусно...

В самый разгар веселого пиршества Изочкино ухо вдруг вспомнило торговкино дранье и снова резко запульсировало... над ним раздался гневный мамин возглас:

– А ну марш домой!

Изочка сжалась в испуганный комочек и лишь тут увидела, что солнце повернуло к закату, а на песке лежат охристые тени. Под глазами Марии тоже темнели полукружья теней. Волосы растрепались, ноги были босы, пыльные туфли она держала в руках...

– Мариечка, – прошептала Изочка и замолчала в ужасе, увидев ее стертые в кровь лодыжки.

Мать Басиля мягко сказала:

– Девочка не виновата. Это я позвала вашу дочь в гости.

– Виновата, – устало возразила Мария. – Дикий, неуправляемый, бессердечный ребенок чуть не довел меня до могилы.

– Ничего страшного с вашим воспитанным, добрым, красивым ребенком не случилось, – улыбнулась цыганка. – После ужина мы собирались отвести девочку домой. Я расскажу, как и почему она у нас

оказалась...

Они отошли в сторону. Цыганка принялась что-то объяснять, энергично размахивая руками, отчего концы ее вишнево-алой шали взлетали и радостно развевались на речном ветру.

Разговаривали женщины недолго. Мария кивнула, зябко передернула плечами и, не оглядываясь, пошла вверх по косогору. Изочка торопливо распрощалась с новыми друзьями и помчалась за матерью.

Мария не останавливалась, не проверяла, идет ли за ней непутевая дочь. Изочке пришлось бежать за нею вприпрыжку. У безлюдного базара их догнал запыхавшийся Басиль.

– Изочка, твой портфель!

– Ой, забыла...

– Мы ходим по разным дорогам, – выпалил он взволнованно. – Я – ром<sup>[60]</sup>. Ты – другая. Но я буду помнить тебя. И ты меня не забудь. Ладно?

– Ладно, – пробормотала Изочка.

– На бистыр!

– На бистыр, – повторила она как клятву.

– Я хотел бы стать твоим женихом, – жарко зашептал он, нагнувшись к ее многострадальному уху, – но у меня уже есть невеста. Она недавно родилась. Нас только вчера сосватали. Я не люблю ее. Я тебя люблю.

Мальчик коротко взглянул на Изочку невозможно прекрасными глазами, пошарил в кармане штанов и протянул добела отмытую ладонь. На ней лежали три крупные красные ягоды.

– Это помидоры. Они сладкие.

– Сорт такой, – кивнула Изочка. – Спасибо.

– Бахт тукэ.

– Что это значит?

– Счастья тебе.

– Твоя мама что-то похожее сказала.

– Нет, – покачал он головой, – она сказала по-другому. Но я не верю, и ты не верь... Теперь иди.

Изочка пошла мелкими шагами на шарнирных ногах, как деревянный шахматный клоун, не оборачиваясь, чтобы не разреветься в голос, а сердце ее плакало и кричало. До него, до самого сердца, внезапно дошло, что миром правит чья-то неумолимая злая воля, которая стоит выше горячих желаний, выше человеческих возможностей и даже жизнью. Она запросто может подмять под себя, наступить каблуком и раздавить, будто муравья, отважного взрослого человека, не то что маленькую девочку. Басиль, конечно, сильный, раз помогает дяденькам-строителям, но ведь и он всего

лишь – мальчик. И никак не избавиться от этой неизвестно откуда и кем посланной страшной власти...

Изочке было невыносимо больно от того, что она больше не увидит Базиля.

– Ты идешь или нет?! – раздраженно крикнула издалека Мария.

– А я вот так могу! – раздался отчаянный крик с другой, все еще ближней, стороны.

Изочка повернулась. Басиль стоял вверх ногами. Она застопорилась, ожидая, что он ее позовет. Но он не звал. Изочка сама приблизилась к нему.

– Прощай, – сказал мальчик хрипло и заплакал.

Руки его дрожали, но он упрямо на них держался, глаза закрылись, и слезы скатывались на лоб, теряясь в пылающем костре рыжих волос.

...Не говоря ни слова, Мария поставила на стол перед сытой Изочкой тарелку супа. Пришлось для вида повозить в нем ложкой. Молча помыли посуду, и Мария принялась за штопку чулок. Изочка напрасно крутилась рядом, мать не обращала на нее никакого внимания. Лишь перед сном налила в таз теплой воды и невыразительным голосом велела помыться.

– Мариечка, – обрадовалась Изочка, – ты на меня уже не сердишься?

– Сержусь, – сказала Мария. – Не смей никуда уходить, не отпросившись, и ничего из дома не таскай!

– Не буду, – заторопилась Изочка, пока Мария не передумала ее слушать. – Я своровала хлеб из-за портфеля, мне ведь стыдно идти в первый класс с мальчишкиным ранцем. Тем более ранец дырявый, а в магазине портфели дорогие, если еще привезут. На базаре без тебя было страшно, и ухо теперь болит... А мы с мальчиком в похлебке сидели, она была не очень горячая... а в цистерне вода холодная, но тоже не очень, не как в реке... Ой, Мариечка, прости, что я без спросу лазила в похлебку и цистерну!.. А толстый дяденька-цыган похож на жука. Он, кажется, немножко король, как в сказке про Золушку, и смеялся смешно, будто сразу много коней, свинок и куриц! А у мамы Базиля, которая «дайте» по ихнему языку, глаза разные, один черный, другой – золотой, но они не стеклянные из аптеки, а всамделишные глаза, ты заметила? Почему они такие?

– Отстань, почемучка, – засмеялась Мария, – откуда я знаю?

– Ты все-все знаешь, – не поверила Изочка.

Но Мария покачала головой:

– Не знаю.

– Может, она – колдунка?

– Колдунья, ты хочешь сказать?

– Дайте прилетела к котлу, когда мы с Басилем там грелись!

– Тогда она – ведьма, – усмехнулась Мария. – Посидела молча, о чем-то раздумывая, и вздохнула: – Опять нафантазировала целую гору!

Изочка не стала разубеждать, да и не успела. Щелоком – так называли в общежитии едкую смесь золы и мыла – Мария начала смывать с ее волос сало цыганской похлебки, и все желание честно рассказать о событиях сегодняшнего дня разбилось у Изочки о горящую боль уха. Потом, лежа в постели, она тихо колупала стену, грызла кусочки извести и заставляла себя думать и жалеть о второстепенных вещах. Жалела, что не успела поиграть с Баро и что никогда не увидит камешек с дремлющим яблоком...

Хотелось поскорее забыть о главном. О том, как мальчик плакал, стоя вниз пламенной головой. О нем самом Изочка не забудет.

## Глава 13

### Возвращение талисмана

Прошло несколько дней, и кто-то под вечер постучал в комнату. Неуловимо знакомый женский голос спросил из коридора:

– Мария Готлиб здесь живет?

– Здесь...

Мария встрепенулась, побежала открывать, хотя дверь не была заперта.

– Входите... Зина.

– Через рыбий трест тебя нашла, – сказала гостя, задыхаясь, сложила на колени большой мяч живота и села на предложенный стул. – Сказали, что Готлиб Мария сейчас в отпуске, а живет в общежитии на Байкалова. Ни номера дома, ни комнаты... Ну, язык, как говорится, до Киева доведет.

Серые глаза тети Зины в этот раз показались какими-то просветленными и радостными, без злых теней. Изочка затаилась в своем уголке за тахтой, приготовилась слушать: женщина, конечно, пришла не просто так...

Мария, с вытянутым от удивления лицом, машинально достала с полки чашки, хлебницу.

– Ты чаю не готовь, – замахала рукой тетя Зина. – Воды стакан выпью и пойду. Некогда рассиживаться, послезавтра уезжаем, попрощаться надо со всеми, манатки собрать, продать то-се... А это, – она торжественно положила на стол янтарный кулон, – не продала и возвращаю. Тяжело мне

с ним расставаться, но должна. Загнать думала от нужды, другого-то золотишка не осталось.

– У меня нет денег, – напомнила Мария.

– А и не надо, твое же! – засмеялась тетя Зина. – Я, думаешь, из-за денег к тебе в такую даль перлась, из одной окраины в другую, да по всему городу искала? Считай, что ты давала мне камень на время. На счастье.

– Разрешились, значит, ваши проблемы?

– Вроде все налаживается, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, сама опомниться не могу... У меня, Мария, не поверишь, избавительница нашлась. Как с неба свалилась.

– Избавительница?..

– Я на базаре у ворот стояла с камнем, когда она ко мне подошла.

– Хотела купить?

– Нет... Я ж цену заломила – о-го-го, она только спросила. Я испугалась поначалу. Всегда таких, как она, боялась раньше, мошенницами считала. Потом нечаянно познакомились, Настей ее зовут. Разговорились слово за словом... До сих пор не пойму, как вышло, что я всю свою жизнь ей рассказала, и про Тугарина, какая дура была, и про Васькино предупреждение о его приезде, и про страх свой. Настя руку мою посмотрела и говорит: «Вижу, Зинаида, будущее твое. А будет оно хорошим и долгим, правнуков успеешь поняичить».

Заговорщицки вытянув шею и губы, словно собираясь открыть страшную тайну, тетя Зина громко прошептала:

– Цыганка она, и глаза у нее цветом разные!

– Разные? – переспросила Мария и бросила на Изочку изумленно-оторопелый взгляд.

– Цыганка-то цыганка, а связи у нее оказались надежные. Большое дело провернула. «Мы, – говорит, – до Усть-Кута на пароходе поедем, давай с нами». Вместе пошли к портовому начальнику Юрию Ивановичу. Настя ему сказала: «Никогда ни о чем не просила тебя, Юрий Иванович, даже за своих не просила, а за Зинаиду попрошу. В Уржум ей надо с семьей». И он сразу же согласился посадить нас бесплатно в четверг на пароход, который идет в усть-кутовский речпорт Осетрово. Спросил: «Перекантуетесь как-нибудь на палубе?» А я рада, мне ли выбирать! Не до шика, лишь бы скорее мотануть отсюда. Там по «железке» Лена – Тайшет отправимся и дальше, Юрий Иванович договорился с кем-то по телефону. При мне звонил, растолковал, к кому, куда обратиться. Они, начальники, оказывается, общаются между собой, выручают друг друга.

– Не обманут? – засомневалась Мария.

– Я, думаешь, об этом не кумекала? Прямо извелась вся! Может, – говорю своему Олегу, – гипноз? Может, загипнотизировала она Юрий Ивановича, как этот фокусник Вольф Мессинг, про которого в газетах пишут? Не зря же глаза у нее такие... Ведь и я как на духу ни с того ни с сего душу ей открыла! А Олег говорит: «Какая с нас польза? Хороших людей на земле много, и среди цыган встречаются».

Тетя Зина всхлипнула.

– Он и сам у меня хороший... Ну и я перестала голову ломать. Нет тут гипноза, нет выгоды никакой, когда человек человеку помогает. Не обманывает она меня. Зачем? Да и Юрий Иванович не цыган же, не жид какой-нибудь, русский человек... Начальник целого речпорта, а как уважительно с Настей разговаривал, поглядела бы ты! И знакомы, кажись, давно. Показалось даже – интерес у него к ней мужской... Да не мое это дело. Мне главное, что ни копейки своей я не потратила, доведут нас за просто так. На еду должно хватить. За мебель сегодня тоже наверняка выручу. Короче, появилась у меня надежда, что доберемся мы до Уржума без больших мытарств. А там Олеговы родители ждут, зовут... Пусть Змей прилетит, пусть город, как песок, просеет, мы – ту-ту-у! – ищи, стервец, ветра в поле!

Тетя Зина как-то странно, мелко-мелко затряслась и закрыла руками раскрасневшееся лицо.

– Тебе, Мария, спасибо, – проговорила сквозь пальцы, продолжая трястись.

– Мне-то за что?

– Как – за что? – страстно воскликнула гостья и отняла ладони от мокрого лица. – Как – за что?! Сама знаешь, какой человек Тугарин! А я?... Я ж, пока с ним жила, в корысти ему не уступала! Что я, не помню, как люди ни за что от голода мерли на мысе? Помню! Помню, и жалко было, а корысть-то – больше!.. Мне, Мария, Хаим твой всю душу враз перевернул, глаза открыл, когда Змей собирался на Столбы к людоедам его послать за нельму стащенную! А знаешь, почему не послал?

– Почему?

– Потому, что Хаим спас гадюку Тугарина! Змей с похмелья молока напился, и оно внутри его свернулось, колом в горле встало. Если б не твой муж, смерть пришла бы гадине, и поделом! Мог бы не спасать, а спас... и Тугарин слово сдержал: не отправил в тюрьму на людоедский мыс, добыл где-то красный стрептоцид для тебя... Ох, чего я не передумала... о любви вашей, о жизни! Я после разговора с Хаимом на сто процентов изменилась, хотя и пяти минут с ним не разговаривала. Знаю – горе на мне людское, до

конца жизни стану отмаливать, только бы на ребенке грехи мои не отразились...

Пока тетя Зина бурно плакала, уронив лицо в ладони, Мария стояла безмолвно и потерянно.

Успокоившись наконец, гостя глухо проговорила:

– Прости за все, если можешь. Береги свой талисман. Счастливым он, если и мне, левому человеку, помог. Жизнь, считай, сохранил. Настю-цыганку красотой своей привлек, а то не подошла бы. Я честно ей сказала: так и так, не мой кулон, вспомнила о тебе, о Хаиме. Настя говорит: отдай камень обратно, раз не твой... А я и сама хотела отдать...

Дрожа подбородком, тетя Зина улыбнулась Изочке, кивнула Марии:

– Ну, пойду. Прощайте. Счастья вам, синеглазые. Молиться буду за вас.

Мария в смятении провела по лицу ладонью, словно хотела снять с него невидимую паутину.

– Мамочка, а до Усть-Кута долго плыть? – спросила Изочка.

– Да, наверное, – рассеянно ответила Мария.

Даже не заметила, что дочь назвала ее не как обычно – не по имени. Глаз не отрывала от зеленого семечка, раскрытого в застывшей капле.

Изочка потом тоже долго разглядывала счастливый камень и все не могла им налюбоваться. Она была очень благодарна тете Зине. Женщина не обманула, не зря клялась Христом Богом – вернула камень. Даром вернула... Дайте Басиля помогла ей с поездкой. Хорошо, что хорошие люди помогают друг другу.

Мария положила кулон в резную деревянную шкатулку, где хранились янтарные бусы. Изочка знала, что однажды во время наводнения на Мысе Тугарина шкатулка с бусами попала в воду, и ее понесло по волнам. Нийоле, соседка Готлибов по юрте, закричала: «Боже, Боже, там янтарь, там наша маленькая Литва!» Тогда большой мальчик Юозас прыгнул в ледяное море и спас шкатулку, а потом долго болел... Жаль, что Мария рассказывала о тех событиях редко и скупно. Изочке не наскучивало слушать мамины воспоминания о пани Ядвиге и остальных. Пани Ядвига пережила болезнь и голод и всем помогла его пережить, а когда люди уже не сильно голодали, умерла... След Гринюсов и учительницы Гедре с дочкой затерялся. Мария говорила, что их послали работать в шахты, где добывают каменный уголь. Но сейчас она, наверное, вспоминает хорошего человека, подарившего ей чудесный камень.

– Мариечка, а фрау Клейнерц – учительница, машинистка или полы моет?

– Просто пожилая женщина. Немка.

– Немка? – удивилась Изочка. – Хорошая? Немцы же плохие!

Мария объяснила, что среди них, как в любом народе, есть всякие люди.

– И красивые?

– Конечно.

Это было удивительно. Все немцы на картинках и карикатурах в старых журналах казались страшными или смешными.

– А Клайпеда красивее Якутска?

– Невозможно сравнить, – Мария улыбнулась, но глаза были грустные. – Клайпеда – настоящий европейский город. Старший среди городов Литвы, ему больше семи столетий. Для меня он красивее всех других. Это единственный морской порт в Литве, который никогда не замерзает... не замерзал, даже если зима была холодная. Через Клайпеду дороги по воде и суше соединяли восток и запад... Вот станешь учиться в старших классах, купим глобус, и я покажу тебе Балтийское море. Маленькая точка рядом с ним – наша с Хаимом Клайпеда. Должно быть, она изменилась после войны. Отец Алексей, мой попечитель, писал, что большие сражения сильно разрушили ее...

Мария вздохнула и снова открыла шкатулку с памятными украшениями.

– Возвращается понемногу «наша маленькая Литва». Когда-нибудь и мы туда вернемся... Да, вернемся! Ты увидишь море, полюбишь его, полюбишь Клайпеду, высокие сосны, белые дюны. Мы с тобой поклонимся месту, где стоял молельный дом – я в нем родилась и выросла. Потом пойдем искать фрау Клейнерц. Она была крепкая старушка и, может, еще жива... А первым делом наведаемся к православному кладбищу, где похоронена твоя бабушка Софья...

Мария сидела за столом долго, смотрела далеко, и шкатулка перед нею была раскрыта.

«Вспоминает Литву, – понимала Изочка и чувствовала в груди большую печаль. – Если б я жила в чужой стране, я бы тоже положила перед собой куриного бога, которого подарил Сэмэнчик. Куриный бог помог бы мне смотреть через леса дремучие, реки бегучие, горы непролазные... И я бы видела мою бабушку Лену».

## Глава 14

### Сын села и вошкины сиротки

На работе дядя Паша носит белый халат и костюм, а дома ходит в старой гимнастерке и брюках галифе, хотя перестал быть солдатом давно, Изочки тогда еще не было на свете. Дядя Паша доктор, но не человеческий, он – ветеринар, лечит разных животных, проводит опыты с крысами в лаборатории ветстанции и ездит с проверками по фермам. Скоро должен поехать на ферму в колхоз рядом с «кирпичкой». Изочке хотелось бы поехать с дядей Пашей, но она не решилась отпроситься у Марии – все равно не пустит. До школы осталось совсем мало времени...

Мария пошла за бисером, чтобы отправить в подарок Майис. Какая-то тетенька обещала по заказу привезти его из Москвы, где все есть, даже бисер. Изочка осталась с соседом. Они послушали пластинки, потом дядя Паша вынул из буфета огромный кусок сахара в вощенной бумаге и стал колоть его железными щипчиками. Острые щипчики вгрызались в ноздрястый сахар, как в осколок весеннего льда: кр-рак, кр-рак! – и в фарфоровую сахарницу падали аккуратные искристо-белые кусочки. Изочка тоже попробовала, но щипцы не слушались неверных рук, норовили оцарапать клеенку, и снежные сахарные крошки разлетались по столу. Хотела бросить, а тут раздалось: кр-рак! – получилось!

Дядя Паша рассмеялся:

– Глаза страшились – руки сделали! Несложно ведь? А ты уже губы надула!

Изочке нравится его привычка смеяться, постукивая себя пальцами по животу. Будто под гимнастеркой прячется гармошка, а дядя Паша нажимает на клавиши, поэтому смех выходит веселый и громкий.

Распивая с ним чай с сахаром вприкуску, Изочка рассматривала полку над столом, полную деревянных птиц, волшебных зверей и смешных человечков. Дяди-Пашины фигурки украшают подоконник общей кухни и все комнаты общежития. Сосед любит дарить свои поделки.

– Вы эти игрушки для красоты мастерите?

– Для красоты, – серьезно подтвердил он. – Но не я их делаю.

– А кто?

– Природа-матушка. Я только поправляю немного. Мне коряжки леший подбрасывает. Иду по лесу, глядь – корешок, и предиковинный! Кто, как не

леший, подложил?

– Ну да! – не поверила Изочка.

– Взрослые тоже сомневаются, – пожаловался дядя Паша. – И не все понимают мое увлечение. Говорят: «Не мужицкое это дело, Пал Пудыч, коряжки собирать».

– А оно мужицкое?

– Самое что ни на есть! Настоящий мужик мимо красоты не пройдет.

– Дядя Паша, можно я кое о чем у вас спрошу?

– Спрашивай, – пожал он плечом. – Только, пожалуйста, не про клинья...

– Не про клинья, – успокоила его Изочка. – Вот о чем: почему у вашего папы такое имя – Пуд? Пуд соли или чего пуд?

Дядя Паша смущенно подергал себя за ус.

– Многие интересуются, а я и сам не знаю. Да и отца, честно сказать, в глаза не видел. Он с матерью пуд соли не успел съесть, бросил нас, когда я еще под стол пешком бегал. Но все равно ему благодарен, ведь если б не отец, я бы не родился.

– А где ваша мама?

– Мама моя ушла из жизни рано, – вздохнул дядя Паша. – Остался я один в домишке, двенадцатилетний. Сегодня у одних обедаю, завтра – у других. Пашка Никитин, сын села... Работать, конечно, понуждали, но так, чтоб не мешало учебе. Люди, когда сами в нужде, жалеют тех, кому хуже ихнего, а сирот особо. Жалость, Изочка, – это сестра любви... Год прошел, и подселили ко мне одинокого учителя. Евгений Афанасьевич замечательный был человек. Вырастил меня, выучил и дальше учиться отправил. Гордился, когда я диплом получил. Работа мне нашлась в районном центре, через пять лет квартиру дали. Хотел я Евгения Афанасьевича к себе забрать, старый он был уже, да война помешала. Я повестки не стал дожидаться, сразу подался на фронт. Пока воевал, скончался мой учитель...

Дядя Паша снова завел патефон. Изочка в унисон Вадиму Козину спела «Утро туманное», а тут Мария вернулась, радостная, – привезли бисерный заказ, и другие гостинцы по дороге купила. Захлопотала дома над пряниками с помадкой, кулечками с леденцами «Дюшес» и земляными орешками. Изочка молча сидела за столом в ожидании, что и ей обломится конфетка или горстка арахиса. Ждала и обеими руками потихоньку, но с наслаждением чесала затылок, ведь у дяди Паши царапать голову было неловко, приходилось терпеть.

Мария сбегала в кухню, принесла банку грибов из подполья.

– Как думаешь, понравятся Майис рыжики?

– Думаю, нет.

Изочка помнила разочарование, постигшее ее при дегустации груздей, посоленных Марией со смородиновыми листьями в кадучке. Пахли грибы заманчиво, а на вкус оказались все равно что соленое мыло, Сэмэнчик тоже так сказал. Из того, что готовила Мария, Изочке и Сэмэнчику больше нравились налимьи котлеты, приправленные топленным жиром, мукой и диким луком. Лепить их научила Марию на мысе пани Ядвига. Там налимы были почти в рост человека и попадались в сети, а здешних, помельче, ловили в большие корчаги, поставленные в Лене на быстрине.

Мария с сожалением отложила лесной деликатес и тихо сказала:

– Боже, как давно мы не были на «кирпичке»! Могила Хаима, наверное, совсем заросла... – Она вдруг насторожилась: – Ты почему голову дерешь?

– Зудится, – сказала Изочка. – Может быть, у меня вошки.

Вообще-то она еще вчера обнаружила, что не «может быть», а точно вошки – поймала ногтями на темени многоногое насекомое размером с тлю.

Мария перебрала Изочкины волосы и разозлилась:

– Ну вот, не было печали, нахваталась живности! Поскакала к цыганам без стыда, без памяти! Как теперь в школу пойдешь?!

Притиснув голову Изочки к подушке, она принялась истреблять вшей тонким ножом. Нож приятно расчесывал зудящие места, а когда его левая сторона прижимала насекомых к коже головы, они звонко лопались.

– Мариечка, вошки, как волосогрызки, волосы едят?

– Они едят тебя.

– Под кожу залазят?

– Сверху делают ранки и пьют кровь.

– А кого называют мандавошками? – вспомнила Изочка тети-Матренино слово.

– Что-о?! Где ты такого ужаса набралась?! Сил никаких больше нет! Этот ребенок всю мою кровь выпил! – застонала Мария. – И вшей как много, да мелкие, мелкие все, не углядишь! Пойду попрошу у Павла Пудовича керосину.

Сосед тотчас сам зашел. Стены между комнатами в общежитии из досок и, несмотря на штукатурку, слышно, если кто-то кричит и стонет.

– Что за шум, а драки нету?

– Все хорошо, – Мария повернулась к Изочке и сделала «страшные глаза». Не сказала дяде Паше, зачем ей керосин, а он почему-то не спросил. Мог бы спросить, ведь керосиновые лампы недавно заменили

электрическими. Когда проводили свет, было очень интересно наблюдать за веселыми девушками-электромонтерами. Они работали, словно играли, смеясь и шутя. Расставили ролики для шнура, подвесили лампочку под потолком и установили штепсельную розетку. Маленькая лампочка так щедро светит, что все углы озаряются как днем, а новый электрический чайник кипит, стуча крышкой: «Выключите меня, выключите!»

Чтобы дочь не вертелась, Мария стала читать вслух газету. Статьи в газете были неинтересные, про какие-то планы, встречи и соревнования. Опечаленная угрызениями совести, Изочка сидела с крепко повязанной платком головой и ждала, когда несчастные насекомые задохнутся насмерть.

Керосин ужасно вонючий! У него один из тех странных запахов, к которым почему-то хочется принюхаться, а если этого запаха много, то становится противно и начинает подташнивать. Рыбий жир тоже вонючий. Правда, пахнет совсем по-другому. Миша говорил, что в школах «эту гадость» заставляют пить каждый день. Миша давно уже не школьник, но воспоминания о витамине D остались у него неприятные. А Изочке рыбий жир нравился, и нравилось вдыхать его прогорклый запах, как у не очень свежей, заветрившейся рыбы... Интересно, будут ли давать Сэмэнчику рыбий жир в деревенской школе?

– Мария, а Сэмэнчик когда-нибудь к нам приедет?

– Может, приедет на зимние каникулы.

– Я хочу к ийэ<sup>[61]</sup> Майис.

Изочка нарочно вставила «к ийэ», чтобы оторвать Марию от дурацкой газеты. Но Мария ничего не слышала или не хотела слышать... Ну и ладно, если так. Если чьи-то съезды и планы ей важнее, чем родная дочь.

Мстительно щурясь, Изочка высказала то, о чем думала с обидой:

– Ты обещала, что я поеду в деревню с дядей Степаном. Он целых три раза был по делам в Якутске, а ты ни разу меня с ним не отправила. Майис не может приехать, у нее же корова. Кто доить будет? Почему мы сами не ездим к Майис? Почему?!

Мария начала читать громче.

– Ты нарочно не слышишь! Лучше бы дядя Степан вместо гостинцев привез мне Майис с Сэмэнчиком! Я их так давно не видела! Ни их, ни корову Мичээр. Я по ним соскучилась. Майис всегда разговаривала со мной, а с тобой не поговоришь...

Это было не совсем справедливо. Почти все свободное время Мария проводила с Изочкой, читала ей интересные книжки или что-нибудь рассказывала. Но разве справедливо пообещать и не исполнить? К тому же

Мария сама жаловалась тете Матрене, что мало уделяет внимания дочке...

– Уроки какие-то с кем-то делаешь, а говорила: отпуск, отпуск! Будем на купалку ходить! За грибами кое-как выбрались, и то недалеко, и опять работа...

– Прекрати бормотать.

Изочка оскорбленно замолкла. Поплакать, что ли? Когда один человек плачет, другой волей-неволей отзывается. Тут главное не переборщить. Давно проверено: если плакать слишком громко и без особой, по мнению Марии, причины, она не станет жалеть.

Хорошо бы Мария будущим летом согласилась послать Изочку к матушке Майис до самой осени. Или до половины лета, а вторую половину пусть Сэмэнчик поживет у них с Марией в городе. С Сэмэнчиком куда безопаснее гулять везде, искать на базаре Василия... Лишь бы цыгане снова приплыли на пароходе из далекого города Кавказа.

Ох, как же много на свете городов! Москва, Кавказ, Усть-Кут, Иркутск, Уржум, Клайпеда, Каунас, Вильнюс, Якутск – посчитала Изочка на пальцах. Девять штук из тех, что она знает, а в одном из них даже живет.

Мария наконец прочла газету и развязала платок. Мылкий щелок покатился с водой по шее, щекоча кожу и рассеивая тошнотворную керосиновую вонь. Волосы на ощупь стали шелковистыми, Мария крепко выжала их полотенцем.

– Теперь, надеюсь, все, доча. А гнидки я сейчас выцеплю.

– Ты их совсем-совсем не любишь?

– Что за глупый вопрос! Как можно любить гниды!

– А дядя Паша говорит, что жалость – сестра любви...

Изочке было жаль вошкиных сироток, крохотными жемчужинками доверчиво прильнувших к волосам. Взрослые вши умерли, и воспитывать их деток стало некому...

## **Глава 15**

### **Нет под памятником могил**

Безлюдные сонные улицы, огороженные заборами, были охвачены предосенней скукой. Мухи лениво оцепенели на лавочках, как старики, которые смахнут их вечером и усядутся курить свои небрежно скрученные сигарки.

Над маленькой площадью одиноко возвышался памятник павшим

героям – деревянная пирамида, выкрашенная в бутылочный цвет, с никелированной табличкой посередине. Изочка помнила: точно такая же, зеленая с красной звездой наверху, стояла рядом с колхозной школой, где будет учиться Сэмэнчик. На табличке выгравированы имена героев, и Изочка была уверена, что в земле площади похоронены их тела. Она сказала об этом рыжему Гришке, а он засмеялся:

– Ты совсем глупая, если думаешь, будто там могила!

Изочка с неприязнью заметила, что волосы у Гришки цвета никчемных ягод боярышника. А у Басиля каждая прядь – как соломенное кольцо в красно-золотой паутине, и блестит, пусть даже грязная и с вошками...

– Зачем тогда табличка, если памятник поддельный? Цветы зачем принесли?

– Наверно, просто так имена записали, для памяти, – примирительно сказал Гришка и поворошил ногой засохшие букеты над чуть приподнятым краем пирамиды. – А цветы в День Победы всегда сюда носят.

Он все-таки сбегал домой за лопатой и подкопал землю с задранного края. Изочка заползла под памятник, Гришка за нею, хотя могли не лезть, а просто заглянуть. Но пыльные сумерки внутри, где было таинственно, как в пещере, манили к себе и тревожили воображение.

Солнце простреливало щели между досками и линовало полумрак над совершенно ровной землей.

– Я же говорил – нет холмиков! – обрадовался Гришка. – Убедилась?

В глубине души он, кажется, сомневался в своей правоте.

– Наврали, – вздохнула разочарованная Изочка.

Гришка настороженно приложил палец к губам: снаружи слышались разухабистые голоса.

– Венька идет, – шепнул заполошно. – Стой и молчи!

К поддельному памятнику приближалась компания взрослых парней, известных в околотке хулиганов.

– Ты не налил мне в последний раз! – вопил один. – Всем плеснул водки, а меня обделил!

– Тебе вечно мало, – задиристо ответил тенорок с легкой фистулой.

По доскам прошелся шорох, кто-то привалился к стене, громко дыша и сплевывая. Чиркнула спичка. В узкий лаз начал пробиваться запах табачного дыма.

Вдруг откуда-то ясно донесся блажной голос, хорошо знакомый всей округе. К площади торопился местный дурачок Коля по прозвищу Оратор. Наверное, он увидел компанию и поспешил к ней, потому что обожал толпу, какой бы она ни была и по какой бы причине ни собралась. Он

считал любое скопище народа публикой, созванной для его выступлений.

Тщедушный, неопределенного возраста, со смуглым морщинистым лицом глазастой обезьянки, Коля обладал красивым мощным голосом. В его бедной башке беспокойно метался, не помещаясь в ней, большой и напрасный ораторский талант. Свои торжественные, полные неизъяснимой притягательности речи Коля произносил у базара, в магазинских очередях, возле школы на переменах, стремился пробиться к трибуне во время праздничных митингов. Бессмысленная абракадабра Оратора чем-то впрямь напоминала первомайские доклады и всегда начиналась с одних и тех же слов: «Сталин казаль, чо...»

Во время «речи» Колин подбородок заливался слюной победного рвения, а глаза загорались безумным огнем. Великолепно поставленный природой голос с ликованием возносился к небу, сыгравшему с дурачком такую жестокую шутку.

Подходя к шпане, Коля зычно изрек:

– Сталин казаль, чо...

Дальше понеслось привычное халям-балям.

– Во дает, – восхищенно отозвался голос парня, обделенного водкой. – Так и чешет проповедь, образина мерзкая. Пряма Левитан!

– Венька? – прошелестела Изочка Гришке в ухо, и он кивнул.

– Эй, Оратор, Сталин-то твой того... Приказал долго жить, – сообщил тенор.

– Ась? – прервался докладчик. – Приказал? Чего долго?.. А-а, жить! Коля понял, Коля умный! – и продолжил тираду. О себе дурачок всегда говорил в третьем лице...

Прозвучали жидкие хлопки. Голос поощренного Оратора взвился до немислимых высот.

– Пошел вон, безмозглый, – прохрипел кто-то.

– Э-э, да ты, никак, придурку завидуешь? – захохотал Венька. – В твою бы хрипатую глотку такую голососяру, а, Портмонет?

– Заткнись, – процедил хрипатый Портмонет и выпустил несколько блевотных слов.

Сухая доска стены скрипнула под чьим-то упершимся локтем. Это Венька встал и длинно, с завыванием, зевнул:

– У-уау-у-у, скукотища!

Портмонет, будто нехотя, предложил:

– Что, пацаны, намнем бока кретину?

– А если заявится кто?

– Пусто кругом.

– Ну да, все ж на работе...

– Тесни дурака за памятник...

Вцепившись друг в друга, Гришка с Изочкой застыли, как в игре «море волнуется»... За противоположной стеной раздались тупые, глухо екающие звуки и азартные вопли, перемежаемые жалобным, но по-прежнему роскошным, точно в насмешку, голосом:

– Сталин казаль, чоб не бить Колю... Сталин казаль – Коле больно! Бо-о-ольно!..

Хрипатый, очевидно, прихватил Гришкину лопату, брошенную в цветах:

– Держи, Веник, ломани ему по хребтине!

Послышался смачный хрустящий звук...

Изочка не выдержала. Выдралась из нечаянных объятий, взрываясь криком и плачем, но Гришка успел поймать, развернул, больно притиснул к доскам...

– Атас! – дурняком заверещал в полной тишине фистульный тенор.

– Бежим!..

– Не орите! – одернул, тяжело всхрипывая, Портмонет. – Мальчонка визжал за забором. Лушкин, с собакой играет... Раз не идет никто, значит, не видали.

– Не дышит... Шея проломленная... Оторвалась...

– Пульс, пульс щупай!

– Чего щупать... Помер!..

– Веник, ты его убил!

– Не я, это о-он, Портмоне-е-ет, – проблеял Венька.

– А лопатой кто?..

– Ты все, ты! Я не хотел...

– Я, не я – чешуя, сейчас верняк нагрянут, начнут по дворам шманать, народ трясти! Кто-нибудь на нас стуканет... Тихо! Берите его под руки, потащили... Выкинем пока через забор ко мне, ночью в реке утопим...

Немая Изочка смотрела на полосатое из-за солнечных щелей лицо поверх ладони, крепко зажавшей ей рот, и ненавидела Гришку лютой ненавистью. А снаружи забубнили разом, засуетились с невнятным шумом, протопали мимо... и все стихло.

Чуть погодя Гришка осмелился высунуть в дыру голову. Вокруг все так же дремали безучастные свидетели – пыльная дорога, заборы и лавочки с мухами. Полузатоптанные следы крови темнели на земле, валялись искрошенные стебли цветов. Лопаты не было. Дети бросились прочь.

– Они убили его до смерти! – крикнула Изочка, очутившись на своей

улице, и схватила Гришку за руку. – Пошли к милиционерам, расскажем им все!

Он вырвал руку:

– Не надо... Не надо!

– Почему?

– Допрашивать станут, а я лопату без спросу взял... Папаша с полевых приехал, узнает, что я с тобой вожусь...

– Ну и что?

– Он меня избьет!

– Почему?

– Започемукала! Потому что ты – дура! – В Гришкином голосе дрожали слезы. – Говорил же – нет под памятником героев!

– Ты мне больше не друг!

– Не трепись никому, – бормотал Гришка, близкий к истерике. – Папаша избьет меня, избьет... избьет...

Остаток дня Изочка провела будто в жутком сне. Она чувствовала себя затаившейся сообщницей бессмысленной бойни, вместилищем омерзительной грязи. Глядя в окно, ничего не видела и думала: если во всем признаться, Мария непременно отведет в милицию. Хулиганов схватят и, может, посадят в тюрьму. О случившемся узнают люди, живущие у магазина, в домах рядом с площадью и напротив, в бараках на соседних улицах, и отец Гришки. Любительница всяких слухов тетя Матрена рассказала однажды Марии, что он, пьяный, колотит сына...

Изочка прижималась к маме с зажмуренными глазами и целую минуту не думала ни о чем. Но истекала эта пустынная капля времени, и в голове возникало видение: тонкие руки тщились защитить от ударов искаженное мукой, залитое кровью мартышечье лицо, в изумленных глазах стыл ужас. Страшный удар рубил на высокой ноте прекрасный и беспомощный звук...

Спотыкаясь о половицы, Изочка слепо слонялась по комнате. Встревоженная Мария решила, что дочь захворала, велела лечь в постель. Мяла живот и спрашивала:

– Тут больно? Или тут?

А в Изочкиной голове откликалось: «Коле больно!.. бо-о-ольно!..» и трясло как в лихорадке. Безысходный ужас – Колин, свой, Гришкин – вырвался наконец в громких рыданиях. Мария не делала попыток остановить приступ, и спазмы плача пополам с сумбурными воплями, не встречая сочувствия, утихли сами собой.

– Успокойся и расскажешь в чем дело, хорошо?

Невозмутимость Марии подействовала на Изочку отрезвляюще.

– Хо-оро-ошо, – захлебываясь слезами, пролепетала она.

Мария ждала. Через некоторое время дочь отвернулась к стене и заставила себя выговорить косным языком:

– Мне... ночью плохой сон приснился.

– Ну-ка, расскажи, что за сон!

– Плохие люди... убивали хорошего человека... а я стояла, смотрела и ничем не могла помочь. Он кричал: «Больно, больно...», и у меня разрывалось сердце... Во сне же иногда бывает не как понарошку...

Мария, кажется, поверила. Намочила носовой платок и положила на разгоряченный лоб Изочки. Мягкие губы коснулись щеки.

– Спи, доча... Хочешь, я спою тебе папину песню о янтаре?

– Хочу...

Изочка уснула, а среди ночи ей то ли послышался, то ли приснился чей-то отдаленный крик, и сон улетел.

На стене играли полосатые, как лучи под памятником, блики лунного света. Изочка зарыла голову в подушку. Вместо Колиной обезьяньей мордочки в глазах замельтешило белое от страха Гришкино лицо: «Не надо... Не надо!.. Папаша изобьет меня... изобьет... изобьет...» Отчаяние, гнев, стыд выбились в подушкин пух с новым задавленным плачем.

Как теперь радоваться первым урокам и пятеркам, по-прежнему есть, гулять, спать? Как жить с болью убитого Коли и жалостью к живому Гришке... с ненавистью к хулиганам – с этой огромной, гнетущей, черной ненавистью, что пришла вдруг на смену ужасу?

Если жалость – сестра любви, то чья сестра ненависть? Сестра зла?..

Изочка плакала болезненно – жалостливо и злобно; плакала наедине со своей маленькой душой, долго и непривычно тихо – впервые не для того, чтобы разбудить Марию, а наоборот, – чтобы не разбудить. Тяжкая ненависть понемногу растворилась в слезах, вылилась с ними, и горлу стало легче дышать.

Но душа не облегчилась. В ней осталось саднящее чувство предательства и вины.

## Глава 16

### Страшное слово «никогда»

Дядя Паша вернулся из деревенской командировки в воскресный день и долго не заходил к ним. Изочка слышала его шаги и вздохи за стенкой с самого раннего утра. Но вот хлопнула соседская дверь, и тяжелые шаги приблизились к порогу. Однако и тут дядя Паша все тянул время, шаркал подошвами и вздыхал.

Мария, конечно, тоже услышала возню и резко распахнула дверь. Дядя Паша успел отшатнуться, и удивленная Изочка заметила, какие умоляющие у него глаза. Он был сильно чем-то расстроен, даже не переоделся в домашнюю гимнастерку. Из-под расстегнутого ворота костюма торчал край белой манишки.

– Плохую весть я привез тебе, Мария.

Дядя Паша грузно опустился на табурет и, помешкав, положил на стол холщовую сумку с гостинцами, которую Мария отправляла с ним для Васильевых.

– Что... что? – шевельнула Мария побелевшими губами и схватилась за спинку кровати, словно боялась упасть.

– Такое дело... – дядя Паша осекся, взглянул на замершую у стола Изочку. – Ох, старый я дурень, – закусил губу, – девочка...

– Доча, выйди, – сказала Мария, села на кровать и затеребила край наволочки.

Изочка послушно вышла. Сквозь обтянутые дерматином доски двери донесся приглушенный голос соседа:

– Кузнец... в тайгу... беда. Жена его за... сгинула в лесу... Полторы недели, как... решили, что далеко... потерялась. Волков нынче много... До сих пор ищут женщину... труп кузнеца нашли... голова разбита вдребез... сволочи! ... следы трактора... они и убили... Мальчика родня увезла куда-то в Верхоянье...

Дядя Паша умолк. Не было слышно и обычной болтовни радио. Семен Николаевич иногда стал выключать его, чтобы Наталья Фридриховна, придя со смены, могла отдохнуть спокойно... Изочка прильнула к щели, затаила дыхание и невольно отпрыгнула. Померещилось, что Мария бросила в дверь не криком, а камнем.

– Май-и-ис!!!

Крик пронесся из конца в конец коридора, вернулся, кружа, разбиваясь о стены зеркальным эхом. Выглянула из своей комнаты Наталья Фридриховна, всклокоченная спросонок. Заскрипели, застучали двери, высунулись немногочисленные соседи – хорошо, что большинство на работе...

– Не-е-е-е-е-ет!!!

...и незримые, но прочные нити протянулись от матери к дочери – через стены, вихри, сугробы, толпы людей и время. В коротком отрицательном слове, удлинённом яростью давнего противостояния, Изочка почувствовала отчаянную надежду Марии на заблуждение, ошибку, сердцем поняла неспособность примириться с новым крахом трудно восстановленного равновесия. На миг показалось, что страшный крик пробил потолок, вырвался в небо... и оборвался пронзительной тишиной.

– Пойдем, – шепнул Изочке дядя Паша, бочком выскользнув из комнаты.

– Что там? – тоже шепотом спросила Наталья Фридриховна.

Дядя Паша кивнул подбородком на дверь:

– Не знаю, нужно ли, а все-таки зайдите к ней позже...

Мария и к ночи не позвала Изочку. Дядя Паша коротко объяснил, что случилось: старшие Васильевы заблудились в лесу, а пока их ищут, Сэмэнчика забрали к себе родственники.

– Я не все расслышала через дверь, но все поняла, – сказала Изочка.

Дядя Паша смешался и пожал плечами:

– Ну, если так...

Не зажигая света, он курил в темноте папиросу за папиросой. Большой сутулый силуэт с узким нимбом серебряных волос был вписан в раму лунного окна четко, будто вырезанная из черной бумаги картина. В открытую форточку валил сырой осенний воздух, но дым не успевал выветриваться, и у Изочки разболелась голова.

В окне скатилась с неба и упала звездочка. Вспомнилось, как мальчишки на протоке говорили: если звезда падает, это значит, что где-то на земле умирает человек. Изочка немножко поплакала. Научилась уже плакать беззвучно, лицом в подушку. Чужая подушка остро пахла мужским одеколоном и потом.

...Никто не возвращается из туманного яблочного леса с муравчатыми полянами. Где-то там исчез Коля-Оратор. Ушли и не вернулись папа Хаим, пани Ядвига и гномик-нибелунг Аборт Подпольный. Не вернутся дядя Степан и...

Изочка не верила. Это было непостижимо.

- Дядя Паша... Правда, что дядя Степан... умер?
- Ты ведь слышала. – Сосед загасил очередную беломорину.
- А чья сестра смерть?

Он оглянулся на Изочку в темноте:

- Почему ты решила, что она должна быть чьей-то сестрой?
- Раз жалость – сестра любви, то и у смерти, наверное, тоже есть сестра или брат...

– Смерть – сестра?.. Гм-м... Вряд ли... Разве что спутница жизни. И вечная ее противница...

– Я видела на картинке зубастую тетеньку в черном плаще с косой для травы...

- Так люди представляют себе смерть, – вздохнул дядя Паша.
- А как люди представляют себе жизнь?

Он опять прикурил папиросу.

– Даже не знаю, что сказать. Каждый новый год у нас отличается от прожитых лет... Э-э, да что год! Каждый день и час для нас новый. Жизнь – само время, вперед шурует. Ей постоять не прикажешь, некогда ей позировать, поэтому у жизни нет портрета. А смерть приходит однажды и стоит над душой вместе с воспоминанием о каком-нибудь событии, о ком-то, кого умирающий вызвал в памяти в последнюю минуту.

– И все видят зубастую тетеньку с косой? – удивилась Изочка.

– Думаю, хороший человек видит того или ту из любимых людей, кого нет рядом, и эта встреча в радость. А перед человеком с нечистой совестью встает тот, кого он предал. Обманул, погубил... Многие преступники в конце жизни признаются в дурных делах. Тони, моя котомка, а я на берегу... Кто-то пытается оправдать себя, кто-то раскаивается по-настоящему. Может, по таким рассказам и написали портрет смерти.

В голове Изочки промелькнуло сморщенное обезьянье лицо с застывшим упреком в глазах. Несчастный дурачок Коля – вот кто явится к ней напоследок...

- Дядя Паша, а что с умершими делается потом?
- Когда – потом?
- После.

– Ох, девочка ты моя кудрявая... Самому интересно знать, что с людьми случается после смерти. Хоть я и коммунист, и должен быть материалистом, а не хочется верить, будто ничего, кроме праха, от нас не сохраняется. Царь да народ – все в прах пойдет, все равны... Неужто только для удобрения на земле живем? Несправедливо это и неправильно. Чувства, мысли, радость, горе – куда ж они деваются? Но и в рай с адом

тоже не верю. Бог, святые, черти с рогами... Нет, не верю. Все как-то непонятно, и сколько бы живой человек ни видел чужих смертей, никогда ему к этому не привыкнуть.

– А вы видели много смертей? – спросила Изочка тихо.

– Кому воевать довелось, все видели. Да и нынче... Если у нас нет войны, это не значит, что ее нигде нет. Война не уходит, она просто перемещается... Ее-то, пожалуй, и можно назвать сестрой смерти. А убийство – брат этих двоих, главный, как его ни назови...

Изочка бессознательно чувствовала, что дядя Паша борется с собой, стараясь не дать воли воспоминаниям. Оконный силуэт ссутулился еще сильнее, точно незримое бремя придавило ему плечи.

– ...Помню, лето было в разгаре, и мы вступили в яблоневый сад, весь разгромленный. Аромат яблонь густой, сочный, гнетом в воздухе повис... смертный аромат. А среди деревьев – дети, много детей и воспитательница или няня ихняя в белом халате, молодая совсем... Плоды на земле – кучами, гроздьями. Видно, богатого урожая ждали... Яблоки неспелые, зеленые... и красные – от крови красные, тела с ветками сплелись, косички с бантами... руки, ноги маленькие... Детский сад находился поблизости. Не знаю, почему не эвакуировали. Когда вражьи снаряды в здание палить начали, все побежали в сад... Некуда больше бежать – кругом стрельба... И вот – два сада... убитых... Немцы были хорошо вооружены. У них техника новая – «тигры», «пантеры», самоходки «фердинанд». А у нас что? Винтовки-пятизарядки да автоматы через одного... Все равно нет прощения... Зачем живы остались?..

Изочка догадалась, что сосед не столько ей отвечал, сколько разговаривал сам с собой. Стал закуривать, но руки тряслись и спички ломались. Он замер, пережидая смятение, и чуть позже спичка зажглась. Алые светлячки летали возле невидимых губ, в лунном свете влажно взблескивала щека.

– Я хотела попробовать яблоки, а теперь не хочу, – прошептала Изочка.

– Ты спи, не слушай меня, – опомнился дядя Паша. – Мало ли что я тут вспомню.

– Дядя Паша... а может, матушку найдут?

– Кого?..

– Матушку Майис.

– Может, найдут...

– А если нет, то... Они никогда не приходят обратно из яблочного сада?

– Кто – они?

– Ну, кто туда... ушел...

– Никогда, – вздохнул дядя Паша.

«Никогда, – заплакала Изочка. – Никогда!»

Многочисленное эхо донесло стон прекрасного убитого голоса. В необъяснимости смерти кулачок Изочкиной жизни трепетал больно и жарко. Беззащитность внешнего мира и неготовность души к недетским страданиям терзали ее. В голове крутились сотни вопросов, не на все из которых, как она теперь понимала, даже взрослые могли ответить. Загорались и гасли у окна огоньки спичек в руках дяди Паши, и так же вспыхивали и меркли в неисклюшенном Изочкином сознании смутные догадки. Изумляло и удручало ощущение себя крохотным осколком невероятно огромной вселенной. Окружающее виделось слабым, непрочным, – «жидким», словно мудрый ытык еще не коснулся неподготовленной людской массы, не начал свое уверенное движение, ведущее к крепости и форме. Открытие того, что все живое – неуправляемое, подобное легкому сну под утро, – может ускользнуть, исчезнуть в любой день от чьего-то насилия, предательства, неумолимого времени, мучительной жалостью заливало душу. Душа страстно желала придать хрупкой человеческой плоти другое, более совершенное качество, – отлить и выковать заново, как поступал в своей кузне дядя Степан с заржавелыми кусками железа.

Глядя в окно на темное небо за дяди-Пашиной сгорбленной спиной, Изочка с жгучей мольбой обращалась к Тому, о чьем существовании если и задумывалась раньше, то без особых сомнений, с ребячьей верой в непререкаемые мамины истины.

– Бог, Ты же есть? Ты же «еси на небесех»?.. Ты же добрый и все можешь сделать, как волшебник?.. Вот я совсем скоро первый раз в жизни пойду в школу. Как мне учиться, если матушку Майис не найдут? Бог, я помню все места в лесу и на горе, где она любит ходить. Сделай, пожалуйста, так, чтобы мы с Марией поехали в деревню и сами поискали, а то Мария без себя меня туда не пускает... А ее не пускает милиция, не знаю почему. Бог, сделай так, чтобы моя Майис была живая! Ладно? И пусть это страшное «никогда» никогда ни с кем не случается...

Изочка собралась с силами, чтобы не заплакать в голос.

– Прости меня, Бог! Я плохая, у меня нечистая совесть, я виновата перед Колей-Оратором... виновата перед Тобой... и все равно прошу – пусть никто больше не умрет! О, Бог, Ты один знаешь, как мне больно!.. Бо-о-ольно...

## Часть третья

### Утро туманное

#### Глава 1

#### Долго растут яблочные сады

Двухэтажное здание женской семилетки<sup>[62]</sup> отапливалось печами. Зимой в школе было так холодно, что в непроливайках то и дело замерзали чернила, а студеные металлические ручки, с пером на одном конце и грифелем на другом, обжигали пальцы. На уроках чистописания ученицам велели, как в начале учебного года, пользоваться карандашами. Мучение с кляксами отдалилось до весны, и девочки тихо радовались. Им разрешили не снимать пальто. Учительницы ходили в перешитых из шинелей крашенных жакетах и юбках. Педагоги-мужчины, почти все бывшие фронтовики, носили военные кители, а директор – пиджак из серой диагонали. Только физик, человек до крайности рассеянный и самозабвенно влюбленный в свой предмет, щеголял в кокетливой трикотажной кофте цвета беж с узорной вставкой на лифе. Дамская кофта, очевидно, досталась ему по одежному ордеру вместо свитера. Выглядел физик в ней более чем странно, что, говорят, не способствовало идеальному поведению старшеклассниц на его уроках. Впрочем, в суровом, по-солдатски строевом режиме учебного заведения минуты незапланированного веселья выдавались редко.

Весело и беспокойно стало, когда девочки и мальчики стали учиться вместе. Класс потеснили новые парты. Мальчишки носились по коридорам как угорелые, играли в чехарду, чур-не-голю, шумели и вообще всячески портили дисциплину. Мама девочек на родительском собрании грозились написать жалобу в горно по поводу «варварского поведения особей мужского пола». Родители мальчиков обещали принять меры.

Собрание проходило в Сталинском актовом зале, который учительница первоклашек в этот раз почему-то назвала Ленинским. Мария заметила: вместо фотографии Сталина с бурятской девочкой Гелей на руках и растяжки с благодарственным текстом о счастливом детстве зал украсился портретами русских ученых и писателей.

На первый взгляд мало что поменялось после самого большого события

прошедшего года. Большинство законопослушных граждан, битых чужим горьким опытом, продолжали смотреть на «врагов народа» сквозь призрачную стену отчуждения. Служивцы не изводили Марию любопытством и, как правило, не затрагивали в беседах с ней опасных тем. Начальник, напротив, имел привычку с убийственным пафосом разглагольствовать о справедливости сталинской политики, мстя подчиненной за неотзывчивость к попыткам наладить неофициальные отношения. Но вскоре множась приметы наступления нового времени и мрачное угасание начальственных восторгов укрепили в Марии надежду на освобождение. Газеты начали туманно намекать о допущенных в недавнем прошлом ошибках и перегибах власти, избегая, впрочем, имени главного виновника этих ошибок и перегибов. Содержание передовиц сохранилось неизменным, если не считать того, что фамилия покойного вождя в хвалебных абзацах постепенно сменилась на коллективно-бесстрастный ЦК КПСС.

Среди спецпоселенцев бродили слухи о восстановлении в правах, и летом с них действительно сняли большую часть ограничений. Ежемесячную регистрацию в комендатуре заменили проверочной явкой раз в год. Ушла в прошлое административная привязанность к месту жительства. Передвижение и переезды теперь были позволены и за пять километров, и за сто, и за сколько угодно. Но только по республике. Самовольный выезд за ее пределы все так же считался уголовно наказуемым преступлением, хотя о каторге никто уже не говорил.

После необходимых затрат Мария, сколько могла, стала откладывать деньги из каждой получки. Хорошо, что с зарплаты убрали «спецпроценты», однако осталась еще покупка облигаций государственного займа охватом в одну среднюю зарплату в год. Независимо от размера жалованья, любой работник был обязан отчислять это пожертвование на потребности державы сверх подоходного налога. Погасить долг с соответствующими процентами государство обещало гражданам в расплывчатые сроки за счет взимания налогов с тех же граждан.

– Мариечка, зачем ты деньги копишь? – допытывалась дочь.

– Придет время, возьмем горстку земли с папиной могилы и уедем в Литву, – отвечала Мария.

– А почему тебе сейчас нельзя туда поехать?

Мария терялась, малодушно отодвигая неизбежный разговор о позорном клейме, унаследованном дочерью, как наследственный недуг. Надеялась, что скоро «вину» с них снимут и не нужно будет ничего

объяснять.

Изочка чувствовала замаскированную сухостью мамину ранимость. Мария предпочитала не отвечать на некоторые вопросы. Если что-то ее настораживало, она никого не подпускала за четко выверенную полосу отстраненности. Даже дочь.

По недомолвкам соседней и отношению некоторых взрослых девочка догадывалась, что они почему-то считают Марию не такой, как все. И на нее, Изочку, смотрят со странным подозрением. В чем их подозревают – непонятно.

Вот в школе Изочка не видела особенных различий между собой и остальными детьми. Вместе с одноклассниками она любила дедушку Ленина и старалась учиться хорошо по его троекратному завету. Радовалась, что ей повезло родиться советским человеком в лучшей на свете стране. Была благодарна партии и правительству, которые распорядились давать школьникам утром по ложке рыбьего жира для здоровья и задаром кормить всех, даже двоечников, горячими шаньгами на большой перемене. Не у одной Изочки при этом горло сжималось от жалости к голодающим в Америке негритянским детям. В голове не укладывалось, как можно угнетать людей за кожу темного цвета.

Слушая рассказы пионервожатого, шестиклассника Алеши о пионерах-героях, Изочка думала, способна ли она на великий подвиг против фашистов. Мальчишки открыто сокрушались, что им уже не дано сразиться с врагами.

– В нашей стране всегда есть место подвигу, – сказал Алеша. – Если человек трудится, как шахтер Стаханов, его называют героем.

Кто-то спросил:

– Фашисты еще существуют или их всех истребили?

Алеша встрепенулся. Его, видимо, тоже огорчало, что он не успел повоевать.

– Нет, не всех. Они разбежались по разным империалистическим странам и прячутся, но их отлавливают и казнят!

– Убивают?

– А что с ними чикаться? Фашисты никого из наших не жалели, и мы должны им мстить! – Алеша воинственно потрянул русыми вихрами и поднял над головой крепко сжатый кулак. – Кровь за кровь, смерть за смерть!

Мальчишки от радости повыскакивали из-за парт. Класс повторил дружно и гордо, как клятву:

– Кровь за кровь, смерть за смерть!

Одна Изочка не выкинула кулак вверх. Алешин призыв почудился ей не гордым, а страшным. Кровавая клятва пугала, вызывая в памяти чужую боль и смерть – то, что она стремилась и не могла забыть. Вон дядя Паша взрослый, и то не забывает. **«Яблоки неспелые, зеленые... и красные – от крови красные, тела с ветками сплелись, косички с бантами... руки, ноги маленькие...»**

– У фашистов, наверное, есть дети, – сказала она негромко, но все услышали. – Что люди делают с ними?

– Детей не убивают, – не очень уверенно ответил Алеша, опустив кулак. – Их отправляют в советские детдома для сирот и перевоспитывают, чтобы они выросли, как мы, ленинцами. Когда на земле установится коммунизм, фашистов полностью уничтожат. Фашизм больше не повторится. Останется только в книгах для описания подвигов во время войны.

Изочка кивнула. Тут она была с вожатым согласна: при коммунизме много грозных слов и клятв уйдут из речи.

Должно быть, тети-Матренин Миша поторопился насчет быстрого наступления светлого завтра, но оно точно построится – пусть не скоро, когда-нибудь... Когда-нибудь. Нереально же за короткое время исправить жизнь, надорванную войной. Когда еще вырастут на истерзанной земле яблочные сады...

## Глава 2

### Притча о крысах

Если нижняя отметка градусника зашкаливала за минус пятьдесят, младшие классы не учились. В прошлый раз активированные дни лишили их утренника, но эта зима пока баловала – холода приморозились к милосердной сорокаградусной отметке.

К школьной елке готовились загодя. На уроках труда мастерили бумажные гирлянды, дома лепили маски из папье-маше и шили карнавальные костюмы. Мария с тетей Матреной за полдня наметали марлевое платье, подсинили накрахмаленный подол и пустили по нему серебряные кружевные снежинки. Наталья Фридриховна вырезала их из фольги. Миша размолотил в тряпке стеклянную елочную игрушку и обсыпал полученным блеском клееную вату на картонной короне. Нарядили Изочку, встали вокруг, заахали восхищенно... Редкий приз получила она за костюм Снежной королевы – пачку карандашей «Искусство» в тридцать два цвета.

Соседи накрыли во «всехной» кухне общий стол. Изочка в жизни не видела такого изобилия! В центре стола, возле усеянных ватным снегом елочных веток в банке, возвышались кувшин с брусничным соком, бутылки с вином и шампанским. А вокруг толпились всевозможные блюда и закуски – так же густо, как люди перед трибуной на Первомае.

– Пирожки, рыбный пирог, винегрет, жареные караси, строганина, – захлеб считала Изочка, – мамины рыжики, картошка с луком, омулевые брюшки, ветчина... уф-ф!

Американский чай в красивых коробках и ветчину продавали перед праздником в киоске рыбтреста по какому-то распределению. Похожая на туго спрессованную свиную тушенку, она была помещена в жестяные банки с прижатым к крышке колечком: дернешь его, и крышка открывается.

– Ой-ей, как буржуи обожремся в пост, Господи прости, – с осуждающей радостью сказала тетя Матрена и, сложив пальцы щепотью, покрестила себя и еду.

– Садитесь, садитесь, еще старый год проводить надо, – торопила Наталья Фридриховна.

Изочка заранее прокрутила пятикопеечной монетой дырочку в мохнатом инее окна – подсмотреть, как ускачет на олене Старый год и

подоспеет Новый: «Год сдан!» – «Год принят!»

Радиоприемник допоздна болтал чьим-то противным мужским голосом, а лишь раздался бой курантов, Семен Николаевич выстрелил в потолок пробкой шампанского, и соседи, подставив стаканы под шипучий фонтан, дружным стуком и криком встретили свежаявленное время:

– С праздником, товарищи!

– С Новым годом!

– Ура-а-а-а-а!

Изочка бросилась к окну, приставила палец к закуржавевшей дырочке. Прижалась лицом – на улице темень, про такую страшновато говорят: «Хоть глаз выколи». Расстроилась, что не успела разглядеть оленей и годовую эстафету, но скоро забыла о них. В душе царило недоверчивое ликование: Мария не прогнала спать!

Взрослые закусывали горькое и красное вино, хохотали над анекдотами Петра Яковлевича. Изочка тоже веселилась – забавно было наблюдать, как трясется от сдерживаемого смеха клинышек его козлиной бородки. Потом густым хором пели могучие песни о Стеньке Разине, казаке с Дона и бродяге из Забайкалья, плясали в коридоре под тети-Матренины частушки и кружились парами под дяди-Пашин патефон...

Народ только-только разгулялся, когда сытые до одышки Мария с Изочкой пожелали всем спокойной ночи. Мария потушила верхний свет и зажгла ночник, но не спешила ложиться, села на кровать в одежде, о чем-то думая. Спать не хотелось, за дверью раздавались призывные взрывы смеха и музыка. Взбудораженная праздничными событиями, Изочка прильнула к маминому теплому боку, дерзнула попросить:

– Мариечка, расскажи, как ты училась.

Мария притулилась к спинке кровати, обняла Изочку, и внешний шум словно отдалился.

– Многим в жизни я, доча, обязана отцу Алексею, священнику из поселка Векшняй на севере Литвы. Батюшка приезжал проводить службы в нашем клайпедском приходе и однажды увез меня в Вильно, город недалеко от Белоруссии. В древности Вильно был стольным градом литовского короля Гедиминаса, а во время моей учебы принадлежал Польше. Незадолго до войны Советский Союз возвратил его Литве, и город стали называть по-старому, по-литовски, – Вильнюсом. В Вильно я поступила в школу при русской гимназии, затем училась в ней самой. Директриса у нас была строгая. Утром мы сообща молились в зале, но сперва она осматривала нас и, если замечала у кого-нибудь нечистый воротничок, отправляла пришивать новый. Не было, кажется, никого, кому

бы ни разу не попало.

– И тебе?!

– Да, однажды ожидалось какое-то знаменательное событие, и мне досталось за то, что вместо белых лент я вплела в косы темные. Одевались мы в заказную школьную форму, ее покупали родители учеников и Русское общество. Оно же платило и за мое обучение.

– Как это – платило?

– Учеба тогда была платной, Изочка, а Русское общество содержало многих сирот и помогало им получить образование. Общество старалось сохранить для нас русскую культуру и русскую православную веру. Оно настояло на том, чтобы преподавание велось на русском языке. Историю России мы изучали по старым учебникам, хотя в действительности Россия изменилась абсолютно... бесповоротно. Ностальгия старших казалась нам странной, грустной, так же странно и грустно было то, что мы всей душой любили совершенно незнакомую нам родину. Мы, конечно, догадывались о преображенной России. Нет, не догадывались, – мы знали! И хотели знать больше.

– О том, что у нас школы бесплатные?

– Ну да, – Мария рассеянно пригладила ладонью растрепанные Изочкины волосы. – Но и в Советском Союзе бесплатна только начальная школа, доча. За твоё обучение в старших классах и институте, если в будущем ты куда-нибудь поступишь, мне придется платить<sup>[63]</sup>.

– А о чем ты узнала здесь?

Мария задумалась.

– Например о том, что в советских учебниках литературы нет ни Достоевского, ни Бунина, ни Блока. Нет произведений лучших зарубежных авторов, давно переведенных на русский язык. Что учебники истории совсем другие, и Закону Божьему детей не учат, потому что в этой стране нет... Христа...

– Ему тут все равно негде жить, – резонно заметила Изочка. – Старая церковь, которая у базара, давно уже стала библиотекой, и крестики носить нельзя. Татьяна Константиновна увидела крестик у Нины Гороховой и велела снять. Сказала, что стыдно октябрёнку верить в Бога и что только невежественные люди Ему молятся. Если Нина не выбросит крестик, ее на будущий год не примут в пионеры... Мариечка, а ты вежественная?

– Нет такого слова, – засмеялась Мария.

– Но ты же иногда молишься. Я не хочу думать, что ты невежественная, и потом, я тоже верю в Бога по секрету от всех, кроме тебя. Мариечка, скажи честно-честно: Он есть?

– Есть.

– Вам разрешали носить крестики вместе с пионерскими галстуками?

– У нас не было пионерской организации, Изочка, а верить в Бога никто не запрещал. Несмотря на то, что вера у поляков отличается от нашей, власти из уважения к Русскому обществу посещали рождественские богослужения в Свято-Духовом монастыре и Кафедральном соборе, ходили на водосвятие. Под музыку военного оркестра ряды людей с хоругвями и знаменами шли к реке Вилии. На берегу стояли широкие мостки с ледяным крестом посередке...

– Мариечка, не смотри так далеко, а то ты опять не захочешь рассказывать!

– Я же вспоминаю, доча... Пели хоры, и у каждого из нас сердце пело. Прозрачный крест сверкал на солнце, оплывал и плакал, и мы плакали от радости общей молитвы...

– В Вильно справляли только богомольские праздники?

– Почему так решила? Разные были, с театрализованными представлениями, спектаклями, концертами. Русское общество проводило в гимназии очень интересные лекционные циклы, там и кино показывали. А на литературные вечера приходила почетная попечительница Варвара Алексеевна Пушкина...

– Жена Пушкина?!

– Варвара Алексеевна – жена Григория, младшего сына Александра Сергеевича, в то время вдова. Она жила за городом в имении Маркуц. Варвара Алексеевна многих спасала, поддерживала, добрейшая душа, настоящая русская подвижница. Для тех, кто хорошо учился, учредила пушкинскую стипендию, и я ее получала. Два раза мне посчастливилось гостить в имении. Можешь себе представить, я прикасалась к корешкам книг, принадлежавших Пушкину! Варвара Алексеевна не просто его именем жила, она преклонялась перед его гением, дышала его поэзией и до последних своих дней хлопотала о торжествах, посвященных столетию со дня его гибели.

– Его гибель справляли, как праздник?

– Я понимаю, в твоём возрасте кажется противоестественным, что люди отмечают такие печальные даты, но так положено, ведь после смерти великого человека его труды не умирают, и возникает другой отсчет – благодарной памяти. Литературный мир задолго начал готовиться к проведению пушкинских мероприятий. В Вильно работал юбилейный комитет, Варвару Алексеевну избрали почетным председателем. Она уже старенькая была, самой восемьдесят, и не дожила, скончалась за два года

до ожидаемого события. Отпевали ее в маленькой часовне Святой Варвары при парке усадьбы Маркуц. Близкие кое-как поместились внутри, мы – вокруг церквушки, людей множество... Снег валил хлопьями, мягкий снегопад, спокойный, без ветра. Башенка над часовней, кусты, деревья, скорбящий народ – все кругом белым-бело – пухом земля... Вспоминаю, и не верится – столько лет пролетело! А через месяц, не успели отгоревать по Варваре Алексеевне, случилась новая большая утрата. Умер Цемах Шабад, наш добрый доктор Айболит. Врач, о котором Корней Чуковский написал свою знаменитую сказку.

– К нему приходили лечиться... и корова, и волчица? То есть даже звери?

– Что ты как маленькая, – досадливо нахмурилась Мария.

Изочка поспешила исправить оплошность:

– А-а, знаю-знаю, Чуковский сочинил про зверей для сказки!

– Разумеется, для сказки. Но Шабад был одним из добрейших докторов на свете. Народ так его любил, что в день его похорон закрылись все учреждения и предприятия Вильно, даже магазины не работали, все горожане вышли на траурный митинг.

– И вы с папой вышли?

– Мы с ним еще не познакомились, он в то время учился в немецком городе Лейпциге.

– Папа был на стороне немцев?!

– Не болтай глупостей! Говорю же – учился. До войны богатые клайпедчане посылали детей на учебу, в основном в немецкие города.

Переварив услышанное, потрясенная Изочка решила спросить:

– Значит, папа был богатый?

– Богатым считался его отец. Твой дедушка Ицхак Готлиб.

– Мой дедушка экспу... эксплуатировал рабочих и крестьян?

– Никого не эксплуатировал. Его рабочие жили достойно и чувствовали себя гораздо свободнее, чем мы...

Мария осеклась. Разве ей известно, как относилось к своим работникам и слугам семейство Готлибов? Когда-то тоже спорили на подобные темы с мужем... Она вздохнула. Недавно пришел ответ из Каунаса на запрос о Готлибах. Власти не смогли их найти. «Вероятно, уничтожены фашистами», – предполагалось в официальном письме.

Ни к чему взваливать на ребенка тяготы собственных сомнений. Хватит и того, если девочка позже не осудит родителей, не станет думать дурно о матери. Об отце... Может, со временем дочери удастся прочесть на черепках прошлого следы, оставленные кровью, которая течет и в ее

жилах. Пусть сама и поразмышляет о жизни предшественников.

...Изочка провела пальцами по маминому запястью, умиляясь нежной субтильностью тонкокостной кисти.

– Мариечка, а где вы с папой встретились?

– В Клайпеде у кинематографа. Папа пригласил меня на фильм «Королева Кристина» с Гретой Гарбо.

– Вы влюбились друг в друга с первого взгляда?

Изочка затаила дыхание, и Мария улыбнулась то ли дочери, то ли какому-то своему воспоминанию.

– Не с первого, но чуть позже – да, влюбились, – призналась она, молодо и влажно блестя глазами. – Мы с папой жили в доме фрау Клейнерц, в маленькой квартире под названием «Счастливый сад», и, наверное, не переехали бы из Клайпеды в Каунас, если б война не подошла слишком близко к границе.

– А зачем вы переехали сюда?

– Я уже говорила тебе, что нас переселили из Литвы, а ты всякий раз снова спрашиваешь, – поморщилась Мария.

– Мариечка, не сердись! Я не нарочно, я забываю... Вы хорошо жили в Каунасе?

– Не всегда хорошо, что совсем от нас не зависело. Но мы очень любили друг друга и все бы у нас со временем сложилось счастливо, если б во главе власти не стояла недобрая личность...

– Ой, я видела такую личность у дяди Паши на работе! – вскинулась Изочка. – На вид все крысы в ветстанции одинаковые – у всех акульки мордочки с красными глазками, и хвосты похожи на дождевых червяков, а дядя Паша сказал: «Нравы у крыс разные, как у людей. Вон та личность – недобрая»...

Изочка не стала договаривать дяди-Пашину фразу до конца: «...и отхватила бы тебе пальцы за здорово живешь». Сосед сказал так, когда она самовольно залезла на табурет перед высоким стеклянным ящиком и приподняла край технической ваты над крысиными норами. Страшная белая крыса, внезапно выпрыгнувшая из отверстия, клацнула ярко-розовой пастью в сантиметре от Изочкиной руки...

– Крысы у дяди Паши опытные, – пояснила Изочка.

Мария поправила:

– Подопытные.

– А чем опытные отличаются от подопытных?

– Жизненным опытом.

– Это как?

Изочка вежливо помолчала с минуту, хотела уже напомнить о себе, и тут Мария рассказала маленькую историю о крысах.

– Однажды опытная крыса бежала мимо стеклянного ящика, а в нем подопытная ест хлеб и кричит: «Эй, несчастная, еду ищешь?» И поспорили крысы, у кого из них счастья больше. Подопытная сказала: «Я всегда сыта и счастливее тебя, потому что неволя обеспечивает меня едой». Опытная возразила: «Я всегда голодна, но счастливее тебя, потому что свобода обеспечивает меня жизнью»... Уловила разницу?

– Свободная крыса счастливее, – кивнула Изочка.

– Как ты думаешь – почему?

– Потому что она живет... играет, бегает, где хочет. А подопытная только и делает, что ждет еды. То, что ты рассказала, сказка?

– Скорее, притча.

Мария принялась расстилать постель.

– Можно задам один ма-аленький вопрос?

– Задай.

– Ты... несвободна и несчастлива?

Зрелая чуткость Изочки, смешанная с детской прямолинейностью, неприятно удивила Марию. Она вдруг осознала, что упустила из виду хваткое ребячье внимание. Об ущемлении права матери свободно передвигаться по стране девочка давно уже знала и, должно быть, размышляла об этом. Неизощренным еще в иносказаниях умом ей удалось разгадать скрытую в притче тоску.

– Да, я не... ты верно поняла, я несвободна в праве вернуться на родину. Именно поэтому не... вполне счастлива. Мы с папой оказались здесь без нашего согласия...

Изочка чувствует околичности, думала Мария. Девочка требовала ответов из-за своей веры в искренность взрослых, своей чистоты.

– У одного города, доча, есть прекрасный девиз: «Равновесие в доме – мир вокруг». Папа считал это изречение выражением высшего человеческого благополучия, и я тоже так считаю. Счастье, когда твоя душа согласна с миром, а мир – с тобой, правда же? Но равновесие в мире, к сожалению, не так прочно, как бы нам желалось. Оно балансирует на грани, а иногда шатается. Вот в такое зыбкое время меня с папой и многих других выслали из родных мест на Север.

– Вас приказала выслать недобрая личность. Я знаю, кто это. Это Сталин. – Изочка помолчала и добавила: – Иосиф Виссарионович.

– Давай-ка спать.

– Бабушка Нины Гороховой говорит, что Сталин был плохим, возомнил

себя вместо Бога. А новый правитель Хрущев Никита Сергеевич хороший и скромный, поэтому нарочно запрещает вешать везде свои портреты. Нина мне по секрету сказала.

– Мир, доча, состоит из разных людей – хороших, добрых, скромных, властных, коварных, злых, с этим ничего не поделаешь. – Мария вынула из прически шпильки и помотала головой, разливая по плечам мягкие, дымчато-рыжие волны. – Но страшно, если коварным и злым удастся добиться власти. Их власть такая же, как они сами, и стремится управлять больше не действиями народа, а душами. Лезет в них, ржавит, червоточит... Большинству граждан в конце концов начинает казаться, что власть всегда и во всем права.

Мария резко повернулась к Изочке и взяла ее за плечи:

– Я хочу, чтобы ты запомнила: мы с папой не виноваты перед теми, кто сделал нас несвободными. Мы никого не обманывали, не предавали и ни к кому не испытывали вражды. Ты мне веришь?

– Верю... А скажи...

Руки Марии соскользнули с Изочкиных плеч.

– Ты собиралась задать один вопрос. Все, теперь – спать.

Мать и дочь долго лежали без сна, молча переживая каждая свое.

## Глава 3

### Что в пух попало...

Мария недооценила настойчивый в поисках ответов детский интеллект, обостренный ранним постижением человеческой смертности. В смятение привели Изочку проблески прозрения, внезапные и ошеломительные в силу новизны. Пополнив копилку маленького опыта, мамина притча заронила ощущение близкой потери. Словно остатки чего-то простодушного и беспечного в Изочке, намереваясь покинуть ее, прощально взмахивали лазурными стрекозьими крыльями. Наивное убеждение в незыблемости затверженных в школе истин исчезало в столкновении с реальным миром. Попеременно хотелось либо зарыться, подобно страусу, в песок и не знать изъянов жизни, либо очертя голову решительно кинуться в холод тяжких знаний. Открытие противоречий между тем, о чем люди говорили во всеуслышанье, и тем, о чем шептались наедине, подстегивало работу пытливого ума. Строение взрослого общества казалось громоздким, сложным, как нелепый агрегат по сохранению равновесия, сооруженный бездарным конструктором. С трудом держась на глиняных ногах, несуразный колосс отбрасывал на Изочку и Марию нечто вроде колючей тени. Тень была подвижная, неуловимая, не имела названия и не поддавалась определению, она сгущалась от неприязненных взоров и слов в спину. Изочка чувствовала, что эта тайна темнее и запретнее правды о загадочных отношениях мужчин и женщин. Может, сродни болезненной теме смерти.

По негласному уговору мать с дочерью не касались стыдных и болезненных тем, не произносили дорогие обеим имена Васильевых. Но Мария молилась о Сэмэнчике и погибших, а некрещеная Изочка верила в существование всевидящего и справедливого Бога потому, что упрямый разум ее не воспринимал гибели самого любимого после мамы человека. «Малис», как звала любимую кормилицу двухлетняя кроха, лучезарно улыбалась ей, повзрослевшей, из темноты перед сном, отгоняя тени кошмаров: «Спокойной ночи, огокком...» Дня не проходило, чтобы мимолетный звук, слово, легкое дуновение знакомого запаха не заверили Изочку: ийэ Майис жива. Просто она где-то далеко. Не в призрачном лесу с ласковыми полянами – нет, здесь, на земле. Господь не должен был допустить смерти матушки Майис.

В памяти отпечатались поразившие когда-то события, встречи и

откровения старших, как поведенные непосредственно Изочке, так и не предназначенные для детских ушей. Все еще жалила обида порубленного ворами хвойника – первая прочувствованная сердцем чужая скорбь. Печальным недоумением отзывался в душе плач по гномику-нибелунгу. А если из радиоприемника доносилась музыка, похожая на хор черных музык, в мыслях огнем возгоралась, корежась, красная обложка книги со сталинским портретом. Снова ярко пылала ненависть Натальи Фридриховны, сожженная, но не забытая.

Прошлым летом цыгане опять раскинули на берегу у пристани латаные шатры, плясали и попрошайничали на базаре. Другие цыгане. Впустую прождала Изочка приезда солнечного мальчика и медведя Баро. Табор пузатого старика с веселым золотом в угольной бороде не вернулся с Кавказа.

Тетя Зина, сбежавшая от Тугарина с помощью пестроглазой дайте Базиля, надо полагать, счастливо проживала с семьей в Уржуме. Рассматривая янтарный кулон в маминой шкатулке, Изочка надеялась, что счастливый камень не позволит Змею отыскать и зарезать тетю Зину. И хоть бы Тугарин не пришел сюда. А то явится, не дай бог, приставит нож к горлу и начнет пытаться: «Где моя жена? Где Зина?!» Бр-р! Стесняясь просить о чем-нибудь Бога при Марии, Изочка ночью молилась в подушку: «Господи Иисусе Христе! Сделай, пожалуйста, так, чтобы...»

Глубокой занозой продолжала сидеть в груди неутешная Колина боль, бо-о-оль. К ней примешивалось далекое эхо воплей задевавшихся куда-то хулиганов. Венька и Портмонет исчезли с тех пор, как Изочка слышала их пьяные голоса за стеной фальшивого памятника. Наверное, уехали в другой город...

О большей части горьких и страшных воспоминаний дочери Мария не имела понятия. Ее снедали свои мрачные тайны. Из-за них она порой кричала во сне и будила соседей, а сама не просыпалась. Утром Изочка ни о чем Марию не спрашивала, и никто из живущих рядом ни разу не упрекнул, что она опять напугала всех ночными криками. А ведь о богатырском храпе тщедушного Петра Яковлевича люди не прочь были пошутить и позлословить во «всехной» кухне. Хорошие соседи достались Готлибам.

...Сквозь иней в незашторенное окно навязчиво светила толстая, месяцем на сносях, луна. Изочка хотела задернуть луну и замерла. Мария пошевелилась, поднялась, точно привидение, – белое пятно лица над колышущимся стеблем ночнушки, – закрыла шторы. Послышался то ли скрип кровати, то ли протяжный всхлип...

Вспомнилось лицо Марии в день приезда дяди Паши с ужасной вестью из деревни. Он даже еще ничего не сказал, а сразу сделалось ясно – случилась беда. Обернувшись в тот миг на маму, Изочка увидела вместо ее лица белую маску. Казалось, с настоящим лицом происходит что-то жуткое, вот оно и спряталось под непроницаемым картоном. Но смертельную тревогу выдавали руки. Скрюченные в напряжении, они дергали и рвали край подушки. Несильные мамины пальцы умудрились тогда раздрать крепкую сатиновую наволочку... Сон не шел к Изочке, пока глаза сами собой не закрылись. «Спи, огокком», – склонилось над нею улыбчивое, совсем не призрачное лицо Майис...

Что в пух попало, то пропало. Несмотря на кажущуюся податливость и мягкотелость, подушки в этой комнате с партизанским упорством хранили все тайны хозяек. Похвально, но иногда жаль, потому что подушка Марии могла по секрету шепнуть Изочке, что страшиться явления Тугарина в общежитие ей нечего. Он при всем своем неистовом желании не сумел бы добраться до Якутска. Как и до Уржума, впрочем. Змей отбивал наказание в местах очень отдаленных, а выйти из заключения ему предстояло глубоким старцем.

...Еще при первой встрече с Зиной Тугариной на базаре в ее скороговорке мелькнули слова: **«...свел знакомство с ворами. Краденый лес начали продавать... Четыре года с конфискацией...»**

Торопливые фразы царапнули память Марии воспоминанием о варварской вырубке в заповедном сосняке, о чем рассказывали за год перед тем Майис и дети. Чиркнуло спичинкой тревоги, а ничего не зажглось в памяти, не сопоставилось, голова была занята другим.

Это уже после внезапно и ярко вспомнилось, как Сэмэнчик путано лопотал о кукше, в которую превратился таежный дух: **«Байанай рыжий, белка рыжая и кукша тоже, она кричала, что лесу плохо!»**

Изочка тоже, переживая лесное горе, задыхалась от слез: **«Мариечка, лес плакал внутри меня, а землю жевали зубы трактора, а Майис гладила пеньки – бедные, бедные! – а с них текла смола... Майис пела, просила прощения у «рожденных стоя», я тоже просила тихонько... она отдала больную ветку Лене, потому что Лена – кровь и молоко тайги... Река поет, Мариечка! Наверное, все, что живет, умеет петь, да? Волны унесут боль далеко, в море Лаптевых, где ты жила на мысе с папой Хаимом! Красивый лес перестанет плакать, и я... может быть... перестану... Тайга живая, Мариечка, она обижается, если люди мучают деревья и оставляют на земле сор и грязь!»**

Обеспокоенная плачем дочери, Мария не разобралась тогда в ее

сумбурном рассказе. Огорошили, помнится, какие-то мелочи, частности, обыденная, словно устоявшаяся манера Изочки изъясняться необычным для ребенка языком аллегорий. Подумалось с оторопью – рановато проявился в девочке сомнительный наследственный дар. Хаим зачем-то поэтизировал даже неприглядные, с точки зрения обычных людей, вещи и поступки...

Выяснилось, что Майис ходила с детьми по ягоды и наткнулась в лесу на разбойно вырубленный участок. Изочка и Сэмэнчик горячо пострадали изломанным, расшвырянным повсюду ветвям, еще живым, не успевшим почувствовать иссушающее дыхание смерти.

**«Изочка пропустила через себя боль леса»**, – виновато пояснила Майис, и Мария успокоилась. Восприимчивая девочка переняла у Майис обыкновение машинально переводить на русский язык обходные обороты речи, присущие якутам из-за врожденного почтения к духам. Или, скорее всего, просто повторила ее слова. Естественные в якутском быту, в переводе эти иносказания звучали почему-то велеречиво.

В тот день Мария осталась ночевать у Васильевых и, пересказывая засыпающим детям сказки Чуковского, не придавала большого значения разговору Майис с приведенным Степаном лесником. Несколько дней спустя Мария почти пропустила мимо ушей и новость о том, что те, кто рубил лес, пойманы. Степан дал какие-то показания.

Пойманы – и ладно, и прекрасно... Мария не стала вдаваться в подробности, не услышала фамилии главаря лесных бандитов, так хорошей ей знакомой. В то время Марию заботили серьезные жизненные перемены, она ждала из спецотдела МВД санкции на переезд в город. Приближение к цивилизации на день «гужевого» пути чудилось ей чуть ли не избавлением от ссыльного гнета, и ничто иное не могло взволновать ее сильнее...

Лишь когда Павел Пудович вернулся из колхозной командировки со страшным сообщением, вспыхнула догадка. Едва он тяжело выдохнул: **«... труп кузнеца нашли на горе, где у них сосны строевые растут. Воры, видать, спешили...»**, Мария все поняла. Ее версия о причастности Тугарина к убийству Степана вскорости подтвердилась, и на воле экс-королю ледяного мыса не довелось долго гулять.

История нового преступления Змея была проста, стихийна и виделась Марии в необъяснимом откровении, словно она нечаянно заглянула в черную тугаринскую душу.

...Без денег он себя не представлял, поэтому, «откинувшись», как сказала Зина, сразу же по приезде сколотил шайку. Решил сделать

единственную вылазку в лес и завязать с хлопотной валкой. Живо сыскавшийся покупатель торопил – строительное лето шло к концу. Лесник с кузнецом не могли знать о столь скором освобождении Тугарина. Время брусничного сезона еще не наступило, а праздно люди далеко в лес не ходят. Змей твердо верил – теперь его не словят. Не смогут, не успеют. Получив свою долю за труд и риск, он намеревался либо смотаться обратно в Иркутск, либо залечь на месячишко в какой-нибудь деревне, покумекать над дальнейшей деятельностью...

Дорога сужалась к околице, тропой ползла вверх, и в горной развилке легко просматривалась из стоящей под горой кузни. Пронесет, – напрягался Тугарин. Трактор оттуда в размер спичечного коробка, по видимому месту даже с волокушей не дольше трех минут езды. Неужто кто-то глазастый от нечего делать вытаращится именно в эту сторону, именно в эти три минуты? А к вечеру, когда трактор повернет обратно, кузнецы разбегутся по домам...

Но не зря Вася-фараон остерегал старого приятеля – не берись за то, на чем попался. Умный гору обойдет... Где тут обойдешь! Мелких тропок куча, широкая – одна. Как судьба одна. Не изменишь, если в назначенный момент прописана невезуха.

Сам Степан и приметил в распахнутое окно трактор, мелькнувший на восходе. Стучать молотками как раз кончили, и донесся надсадный шум мотора, приглушенный отрогами горной цепи. Наказав помощнику завершить работу, Степан прихватил починенную по чьему-то заказу тозовку, – только что отремонтировал затвор и второпях, в одиночку, махнул в тайгу.

«Патроны у него вроде были. Хотел просто спугнуть воров, пока не успели порубить деревья, – сетовал позже младший кузнец. – Вечером собирался потолковать с лесником. Сказал, подозревает, что прежние вальщики по амнистии вышли».

Не дождавшись старшего, помощник заскочил домой к нему по пути с работы. Думал, Степан вернулся из леса по другой тропинке. Но дома того не оказалось. Встревоженный парень рассказал обо всем Майис. Он и предположить не мог, что женщина, на ночь глядя и тоже одна, ринется в лес искать мужа. Потом саму ее искали долго и безуспешно...

Тело кузнеца подельники в спешке сунули под кусты. Он все-таки успел помешать, спас намеченные к валке деревья. Голова его с затылка была раскрыта топором. Тозовка обнаружилась при обыске у одного из преступников в сарае. Выстрелов из ружья не производили. Очевидно, кузнец чем-то выдал свое появление до того, как собрался выпалить в

воздух.

Мария догадывалась, почему он не стал обороняться. Совестьливый и миролюбивый, Степан не способен был убить человека.

Когда-то в годы Гражданской войны командир красноармейского отряда приказал расстрелять за попытку побега к белобандитам братишку Степана и соседского сына, совсем еще желторотых мальчишек. Узнав об этом слишком поздно, Степан догнал отряд и в упор прицелился в командира, а выстрелить не сумел.

За несовершенную месть молодой кузнец поплатился тюрьмой. В этот раз – жизнью.

## **Глава 4**

### **Встреча с прощанием**

Сотрудники спецотдела стали заметно снисходительнее относиться к переселенцам. Прокатилась свежая волна бодрящих слухов. Поговаривали, что одной пожилой паре по состоянию здоровья разрешили поселиться на Алтае. Затем большая семья с помощью влиятельной зарубежной родни и посольского вмешательства добилась неслыханного – визы на выезд из СССР в Данию. Затеялись единичные процессы снятия со спецучета, и наконец в начале нового года для немногих счастливицев, чьи дела были рассмотрены, наступили дни выдачи паспортов и окончания северной ссылки. Но освобождение сложно было назвать подлинным. Переехать условно восстановленные в правах граждане могли в любое место Советского Союза, кроме центральных городов и родной Прибалтики.

«Вольные» люди на радостях тут же бросали кое-как найденную работу. Раздаривали трудно добытое имущество, прощались с местными друзьями и приглашали всех приехать к ним в гости. Расставаясь с товарищами по несчастью, старались не смотреть на вопрошающе печальные лица:

– Месяц, не больше, – и вы следом за нами освободитесь. А через год-два, вот увидите, дома встретимся!

Со справкой о реабилитации в дрожащей от счастья руке к Марии прибежал Гарри Перельман. Широко улыбался щербатой улыбкой (зубы проредила цинга на мысе):

– Мария! Изочка! Мне позволили жить в Свердловске, я достал бронь на самолет! Вы придете провожать?

– Придем...

Музыкант осекся, но ликования затушить не сумел. Прибавил виновато:

– Простите меня... Я уверен – вам недолго осталось ждать!

– Ну что ты, – Мария заставила себя улыбнуться, – мы за тебя рады.

Не в силах сдерживать обуревающие его эмоции, Гарри закружил Изочку по комнате:

– Проситесь в Свердловск! Как только освободитесь, дайте телеграмму, я вас встречу!

Провожать Перельмана Мария пошла одна, дочь была в школе. Ехали в машине радиостудии, шофер великодушно согласился подвезти до авиапорта.

Гарри рассказал, что недавно собирался жениться. «Феодосия», – назвал имя девушки. У него выходило нежно, по-домашнему: «Федося». Он уже сделал предложение, и она ответила согласием, как вдруг ее вызвали в отдел. О чем Федосе там наговорили, музыкант не знал и запоздало жалел, что не делал из женитьбы секрета. Кто-то донес...

– Она тебе отказала?

Гарри потерянно кивнул:

– И да, и нет. Федося сказала, что любит меня и всю жизнь будет любить одного меня, но замуж за меня не пойдет.

– Как они могли! – возмутилась Мария. – Ты ведь теперь свободен!

– По справке вроде бы так, – невесело усмехнулся музыкант, – а все равно мы у них на крючке.

– Почему Феодосия сейчас не с тобой?

– Не хотел расстраивать. Я написал ей письмо. Первое из будущих писем... Федося – талантливый хормейстер и решила полностью посвятить себя музыке. Со спокойной душой оставляю на нее хор. Думаю, справится.

– А за себя ты спокоен?

– Я тоже не женюсь, – вздохнул Гарри. – Может, через некоторое время нам все-таки позволят быть вместе, и она приедет ко мне.

Едва зашли в здание аэровокзала и осмотрелись в поисках свободных мест в зале, как к Марии с безумным воплем кинулась седая, встрепанная женщина... Это была невероятная встреча! Гедре и Витауте вчера прибыли из Сангар, а сегодня уже покидали республику.

Бывшие жители Мыса Тугарина обнялись, постояли минуту, смеясь и плача.

– Вот куда вас, оказывается, распределили – в Сангарский рудник!

– Да, это же «кочегарка» Якутии, главная топливная база всего Главсевморпути! – не без гордости ответила Гедре. – Ох и счастье же от чертовой шахты избавиться! В Тюмень едем. Муж тоже из лагеря

освободился, там нас ждет, на стройку «Обь-рыба» устроился.

Она сильно постарела, да и язвительный ее характер наложил на лицо специфичный отпечаток. В угрюмые складки, стекшие от носа к подбородку, намертво въелась угольная пыль, уголки губ ослабли и повисли горькими скобками. А Виту Гарри с Марией еле узнали – из худенькой конопатой девчонки выросла в красивую рослую девицу с русой косицей ниже пояса.

Гарри неожиданно встрепенулся, просиял: «Простите, отлучусь» – и поспешил к выходу – в двери ввалилась шумная большая компания. Молодые люди заоглядывались вокруг, кого-то выискивая. Симпатичная якутская девушка в пуховой шали заметила музыканта, отчаянной радостью вспыхнули приподнятые к вискам косульки глаза.

«Феодосия, несостоявшаяся невеста», – поняла Мария.

– Хаим где? – спросила Гедре, дернув ее за рукав пальто.

Будто вибрирующий ток просквозил по телу... Ну да, они же не знают, для них Хаим живой. Мария сообщила, что муж погиб вскоре после рождения дочки. Витауте тонко вскрикнула, отвернулась и, дрожа плечами, опустила в ладони лицо. Гедре припала к груди Марии, зарыдала бурно:

– О, дорогой наш Хаим! Какое горе ты пережила! О, бедные мысовские! Золотая наша пани Ядвига!

Вынув из кармана дочери носовой платок и гулко сморкаясь в него, она принялась рассказывать о Гринюсах. Им повезло уехать раньше, одними из первых два месяца назад.

– В Ангарске они...

Гедре торопливо ругала поселкового коменданта, пыльный поселок и невыносимый труд в шахтерском забое, забравший половину здоровья. Ничуть она не изменилась, была все такая же нервная и дерганая. Лишь раздался по радио голос диспетчера, вскочила, схватила сумки и заметалась бестолково:

– Что, куда? Где регистрация?!

– Я слушаю, не пропущу, – придержала суетящуюся мать Витауте, – сядь, не бойся, не улетит без нас рейс.

– Ага, для нас лично его задержат! – вскричала сердито Гедре.

– Мамочка плохо слышит, оглохла в шахте, – вполголоса извинилась за мать кроткая Вита. А спустя минуту и впрямь объявили регистрацию.

Витауте обдала щеку Марии влажным теплом поцелуя. Взмокшая от волнения и спешки Гедре толкнула дочь в спину, вопя на весь вокзал:

– Свидимся, Мария! Помяни мое слово – все вместе в Каунасе

свидимся!

Якутская девушка не отрывала от Гарри Перельмана влюбленных глаз. Смущенный, он не выпускал ее ладоней из своей левой руки, правой отвечал на чьи-то рукопожатия. Кивал Марии, подпихивая ногой сумку и бормоча всем одновременно:

– Устроюсь и пришлю телеграмму с адресом... Буду ждать весточек... Пишите!

Друзья Гарри остались ждать вылета самолета. Девушка тихо плакала у окна.

## Глава 5

### Новые-старые препятствия

Мария отпросилась с работы всего на час, но не смогла удержаться и завернула в спецотдел. Начальника на месте не оказалось, за боковым столом кабинета заполнял стопку бумаг новый сотрудник. Окинув посетительницу профессионально наметанным взглядом, он любезно ответил на приветствие, но не потрудился поискать учетную карточку в картотеке.

– Не беспокойтесь, как только по вашему делу будет вынесено решение, мы вас известим.

– Посмотрите, пожалуйста, в списке заявлений о реабилитации. Моя фамилия стоит почти вначале: Готлиб, – просипела Мария сорванным отчего-то голосом.

Не скрывая досады, мужчина полистал какие-то папки и пожал плечом:

– При чем тут алфавит? Комиссия из центра не каждый месяц приезжает и рассматривает дела не по фамильному списку... В деле вашего мужа было подозрительное письмо, которое и вас касалось.

– Письмо... мистера Дженкинса?!

– Да, из Германии, – кивнул хорошо информированный сотрудник. – Письмо должны проанализировать в определенных инстанциях. Как только придет ответ, ваша очередь приблизится. Если, конечно, ничего другого не найдут. Дел много. Ждите.

...Это роковое письмо! Почему, едва жизнь подходит к повороту, лживый донос стучит судьейским молоточком, взявшим на себя власть губить и миловать? Мистер Дженкинс по-прежнему стоит над душой, готовясь подрезать веревку и выбить лавку из-под ног...

Мария сошла с лестницы, сосредоточенная на своих мыслях, и, ступив

на тротуар, едва не сшибла с ног человека.

– Ой, простите...

Затуманенный взор коснулся лица мужчины и безотчетно отметил знакомые, хотя и потравленные временем черты. Загородив ей дорогу, он взмахнул руками, словно собрался обнять, и воскликнул:

– Мария Готлиб! О-о, не ожидал вас здесь встретить!

– Здравствуйте, Василий. Отчего же не здесь? – усмехнулась Мария, тотчас придя в себя. – Сюда мне частенько приходится заглядывать.

– Ну да, ну да... Надеетесь на освобождение, – осклабился он.

– Надеюсь.

Раньше милиционер Вася был худощавым и хлипким, из тех, про кого говорят «соплей перешибешь». Теперь в располневшей фигуре чувствовались уверенность и вальяжность.

Еще до войны отец-начальник подсуетился устроить отпрыска в милицейскую часть системы Наркомата внутренних дел и посодействовал в отправке на мыс, чтобы «отмазать» от фронта, а подспудно – в надежде на излечение оболтуса от алкоголизма. Не лишенный тщеславия, молодой человек мечтал сделать карьеру, но «политические», к немалому разочарованию Васи, не отличались буйством, не резали друг другу глоток, а прозаически подышали с голоду. Бедный участковый отбывал скучные будни вдалеке от городских развлечений и неотвратимо спивался. Судьба его полностью зависела от благосклонности заведующего – тот владел складом со спиртом.

Милиционер в конце концов стал правой рукой Тугарина. Они и пили вместе, а потом вместе внедрили для «своих» ссыльных правила учрежденного Змеем правопорядка. Тугарин выносил приговоры, Вася их исполнял. За хищение социалистического имущества – нескольких рыб или досок – вершители автохтонного правосудия наказывали больно, но не смертельно. Тиксинское начальство хвалило режим на Мысе Тугарина, и сами переселенцы были довольны местным законотворчеством. Змей с Васей, по крайней мере, не посылали нарушителей на остров Столбы, где находилась тюрьма. Условия содержания на Столбах идеально соответствовали секретной установке скорейшего уничтожения деклассированного элемента. Заключение, сумевшие там выжить, стремительно превращались в зверей. Нередким было на страшном острове людоедство, а такой чепухой, как расследование убийств, никто и не думал заниматься. Справки о смерти ЗК по болезни завершали неслыханное количество подшитых в конторские папки «дел». Горы трупов поглощало море – хранитель многих тайн.

...Милиционер перехватил взгляд Марии, брошенный на его майорские звездочки:

– Да, увы, до полковника я еще не дорос, но все так же верой-правдой служу Отечеству. – Черные, блестящие, будто сбрызнутые маслом, глаза хищно вспыхнули. – А вы изменились, Мария... Выглядите неплохо. Гораздо лучше, чем на мысе, и седина, как ни странно, вам к лицу. Да вы красавица! Не буду лгать, давно знаю, что вы в Якутске, и о вашем вдовстве осведомлен. Соболезную... Не прочь был бы как-нибудь встретиться с вами, так сказать, на нейтральной территории. Столько лет на одном острове... Нам есть что вспомнить, не правда ли? – Он сделал попытку взять ее под локоть.

– У нас с вами не может быть ничего общего, – отстранилась она, не сумев сдержать отвращения.

Вася, должно быть, заметил мелькнувшую на ее лице гадливость и сокрушенно поцокал языком.

– Жаль, если так полагаете... Неужели в вашей памяти не осталось никакой благодарности?

– Дайте, пожалуйста, пройти, я тороплюсь на работу.

Широко расставив ноги на узком тротуаре и не двигаясь, Вася притворно вздохнул.

– Вы не могли забыть случай с нельмой, Мария. Вот и я прекрасно запомнил, что ваш покойный супруг не понес никакого возмездия за попытку кражи. Отделался испугом. Вместо осуждения и вполне законной отправки вора на Столбы заведующий приложил немало усилий, чтобы найти лекарство для его больной жены, и я не стал препятствовать проявлению этого великодушия. Благодаря Тугарину вы сейчас живы и здоровы. Но чем же вы отплатили спасшему вас от смерти человеку? Ах, Мария, Мария, если б он мог предвидеть!..

– Что?

– Не надо строить из себя невинную овечку. – Вася по-волчьи ощерился. – Не станете же вы отрицать, что свидетельствовали против него?

– Не стану, – она прямо глянула в ухмыляющееся лицо. – Ваша осведомленность, майор, действительно потрясающа. Тугарин убил моего друга. А как бы поступили на моем месте вы?

– Друга? – прищурился он злобно. – Ну что ж... Если вас связывали определенные отношения, то вы, пожалуй, имели право уведомить следствие о...

– Пропустите меня, я опаздываю, – перебила она.

– Все, что мне было нужно, я узнал. – Он наконец посторонился. – Не смею задерживать далее... До свидания, Мария Готлиб.

Она не ответила.

...Какие каверзы прокручивает в уме Вася, человек одной с Хаимом национальности, сменивший еврейскую фамилию на русскую? Откуда столь подробные сведения о ее жизни – специально интересовался? Зачем? Знает ли майор о письме мистера Дженкинса?.. Ох, не потому ли оно встало камнем преткновения перед свободой?..

Заходя за угол здания, Мария обернулась. Майора уже не было.

## Глава 6

### Малое наказание

Новая учительница пения Ольга Васильевна обнаружила у Изочки тонкий музыкальный слух и красивый голос.

– Прощайте, скалистые горы, на подвиг Отчизна зовет! – пела Изочка на школьном концерте в честь Дня Победы.

19 мая третьеклассников примут в пионеры. Они будут играть в «зарницу» на Зеленом лугу и петь хором у костра: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих!» Изочка давным-давно выучила пионерское обещание: «Я, Иза Готлиб, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою Родину...»

Знала Изочка и стихотворение о красном галстукке. Только оно ей не нравилось. Вернее, не нравилась одна строка: «Пионерский галстук – нет его родней, он от юной крови стал еще красней». Кровь за кровь... В глазах становилось красно.

Может быть, ее выберут звеньевой. Их отряд обязательно вступит в школьную тимуровскую команду. Пионеры-тимуровцы помогают одиноким матерям и вдовам погибших на войне солдат. Тайно рубят ночами дрова, складывают поленицы и вывозят зимой снег со дворов в овраги. Пионервожатый Алеша рассказывал, как это здорово, когда слабенькая старушка, выйдя утром из дома, не узнает чисто убранного двора и плачет от радости...

Изочка пела. Суровые матросы боролись и погибали за свободу родных берегов. Елизавета Сергеевна сказала вчера, что советские люди отстаивали в войне не только Родину, но и будущее страны – новую эпоху,

завтрашний день мира. Народ воевал за счастье всех-всех ленинцев – октябрят и пионеров... Какие же красивые слова в пионерском обещании и в этой песне!

Лучи майского солнца путались в волосах зрителей. У сцены тяжелым костром полыхало красное знамя. Высокая благодарность звенела и переливалась с песней по всему залу. Ребята и учителя аплодировали долго, и кто-то даже крикнул «бис!».

А после концерта Изочку и Ольгу Васильевну вызвал к себе директор школы.

Стол в кабинете пестрел плохо отмытыми чернильными пятнами. Поставленная на попа темно-фиолетовая классная доска бросала в угол жирную тень, и сиренево темнела под мышками бледно-лиловая директорская рубашка. Было жарко, серый пиджак в косой рубчик свесил плечи со спинки стула, точно упавший от усталости человек...

Директор в упор уставился на учительницу пения выпуклыми глазами странного бурого цвета и, чуть помедлив, невыразительным голосом похвалил:

– Замечательные выступления.

– Спасибо.

Бурые глаза дрогнули, как кусочки подтаявшего студня, и тотчас похолодели.

– Однако не кажется ли вам, что дочери спецпереселенцев не пристало... гм-м-м... лицемерить, распевая патриотические песни?

Ольга Васильевна встала навтыжку, будто страшекласница на экзамене. Лицо ее залилось алой краской.

– Я думала, нет необходимости объяснять ребенку то, о чем он пока не имеет понятия.

Директор смерил учительницу уничижительным взглядом, заложил руки за спину и зачем-то принялся крупными шагами измерять кабинет. Шаггал, поворачивал у стены и шел обратно. При этом, кажется, разговаривал сам с собой, потому что смотрел отсутствующими глазами в глубь себя, а не на Ольгу Васильевну с Изочкой. И не просто разговаривал. Похоже, заучивал наизусть доклад.

– Гуманность ЦК не знает предела! В попытках оправдать и оправдаться скрыта слабость! Всепрощение ведет к отклонению от чистоты идеи. Принимает макиавеллиевские формы якобы чьих-то заблуждений, разоблачений... Руководители партии как будто не видят происков врага. И он вот-вот явится – с «отмытым» прошлым, с переписанной набело анкетой, и с новой силой начнет свою старую

вредительскую деятельность! Врагов освобождают, не требуя от них раскаяния. Подразумевается, что они невиновны, что они – жертвы несправедливости... А ведь самый страшный противник – тот, кто может подорвать страну изнутри!

Директор выдержал паузу.

– Надеюсь, оправдают не всех. Особо опасных оставят здесь, на Севере. Малое наказание для них... Малое! – повторил он жестко, кривясь лицом. – Мы тут живем – и ничего! Пусть и они поживут.

Он резко повернулся к Изочке. От неожиданности она отшатнулась, а он, приблизив к ней большое дрожащее лицо, прошипел:

– Мы должны сделать все возможное, деточка, чтобы вырастить из тебя человека, достойного нашей великой Родины... Мне известно, что ты хорошо учишься. Ты обязана хорошо учиться. А вот до патриотических песен тебе еще следует дорасти, поэтому на школьных концертах петь их не надо. Не надо! Это... – он пожевал длинными губами, подыскивая нужное слово, – кощунственно, деточка. Надеюсь, мать объяснит тебе, почему таким, как вы, нельзя петь советские песни.

## Глава 7

### Журавленок

На небе, словно чернильное пятно на голубой промокашке, расплывалась дождливая туча. Но не тень ее, а ужасная сумеречная тайна неслась следом за дочерью спецпоселенцев, выкатив налитое студенистой влагой око. Тайна готова была взорваться вонючим тухлым яйцом. Тяжкий воздух приближался, охлаждал спину и выпускал ядовитые пары.

Изочка ничего не поняла из директорской речи. Кроме главного: «Врагов освобождают». Значит, директор, читая свой доклад, говорил и о ней? Слова «самый страшный противник» тоже к ней относятся?

Она знала, что Мария ждет освобождения от ссылки. Гарри Перельман перед отъездом сказал: «Как только освободитесь, дайте телеграмму», имея в виду их обеих – Марию с Изочкой. Но при чем тут, вообще-то, Изочка? От чего ее должны освободить или от кого – она же не в ссылке?..

Кажется, приоткрывалась завеса над темным секретом Марии – причина, о которой она не желала подробно ответить на некоторые вопросы. Например, об их с папой переселении из Литвы...

Чем родители занимались в Литве? Почему папа учился у немцев? А дедушка – неужели он не стыдился собственного богатства? Раз люди трудились на дедушку, получается, он все-таки эксплуататор? Семьи его рабочих тоже голодали, как семьи американских негров, угнетенных за цвет кожи? Но ведь мама сказала: «Они чувствовали себя гораздо свободнее... чем мы!»! Куда делась папина большая семья – уехала в Германию к немцам? К фашистам?!

После освобождения Мария, если верить директору, «с новой силой начнет старую вредительскую деятельность». Что же вредного она делала? Один ли директор считает маму врагом, или таких людей много? Кому верить? Кто лжет – директор или мама? За какое преступление дано было ей «малое наказание» жить здесь, где родилась Изочка? Где во всю огромную ширь простирается любимая Изочкина земля?..

Разрозненными кубиками рассыпались заданные никому в никуда вопросы. Черная тень, отбрасываемая войной, презрением, ложью собралась вот-вот накрыть Изочку – тяжелая, будто ступня споткнувшегося великана. Изочка бежала от гигантской ступни, опустив в страхе голову, и не заметила, как налетела на бывшего друга. На своего теперешнего главного противника...

Рыжий Гришка из застенчивого мальчика незаметно превратился в занозистого парнишку. Они давно уже не играли вместе. Но не потому, что Гришка был старше и выше Изочки на полголовы. Их мучило общее воспоминание о смерти Коли-Оратора. А когда с человеком связана боль сердца, его неохота больше видеть. Или, наоборот, появляется желание встретиться и чем-нибудь досадить в неутоленной надежде спихнуть на него часть своей вины.

С тех пор как ввели смешанные школы, рыжий Гришка с тупым упорством начал преследовать Изочку. Он дергал ее за волосы так сильно, что Изочка хотела отрезать косу. Возникая из-за углов школьного коридора, он в упор плевался жеваными бумажными пульками из камышовой трубки, громко кричал в ухо: «Изка-писка!» – и убегал, гнусно хохоча... И вот так совпало, что, когда директор толкнул на нее тень безобразного взрослого мира, Изочка столкнулась с Гришкой. Он часто следил за ней, подкарауливал после школы, но всегда рядом были взрослые или ребята, а тут она оказалась одна...

Одна! Мальчишка аж взвыл от такой удачи. Схватив Изочку за левую руку, он крутанул с криком:

– Врагиня народа!

Рука хрустнула, портфель выскользнул из пальцев, и в глазах заметались полосы рваного огня. Но прошла секундная оторопь, и вдруг оголенная, очищенная от мыслей боль спалила чернильный кошмар за спиной. Изочка едва не потонула во взрыве яростной напруги и мощи. Издав низкий ликующий вопль, она извернулась гибко, по-звериному, и по наитию пнула Гришку в самое уязвимое у мальчиков место. Вереща подраненным зайцем, он сверзился в дорожную грязь...

Изочку ужалило острое, темным криком раздирающее горло наслаждение победой, но на этом все и кончилось. Испарилась шалая сила. Мелкая дрожь сотрясла ослабевшие коленки и судорожно сжатый правый кулак. Левая рука еще до того повисла сзади под каким-то нечеловеческим углом, наподобие сломанного крыла... Зато Изочка поняла, что никакие Гришки ей не страшны! Пусть попробует напасть хоть целая орава мальчишек, даже хулиганов, она не заплачет, не станет просить пощады. А если будет совсем плохо, подберет камень с дороги и заставит себя проглотить его, чтобы умереть до их... (как это называется?) глумлений.

Изочка видела, что и Гришка не рискнет сейчас еще раз на нее напасть. Он был сломлен не только физически. По бледному, в ржавых пятнах веснушек, лицу пробегали волны растерянности... и вроде бы восхищения.

Наклонившись над поверженным неприятелем, она грозно спросила:

– Говори, почему я – врагиня народа?

– Потому что твои мамка с папашей – враги, а ты – их дочка. Вот поэтому...

– А почему они – враги?

– Родине изменяли... раньше... – выдавил он еще не отошедшим от травмы сиплым голосом.

Она задумчиво поковыряла носком ботинка втертый в дорогу булыжник. Пытка в плече переклестывала душевную муку. Снова захотелось пнуть Гришку. Или наступить на него ногой. Жаль, что лежачих не бьют.

– Как, по-твоему, мои «мамка с папашей» изменяли Родине?

– Может, донесения Гитлеру посылали, – предположил он с готовностью.

Булыжник наконец поддался и выковырнулся из земли. Внезапно в памяти вспыхнули слова Марии. Изочка их забыла, а тут они вспомнились легко: **«...мы с папой не виноваты перед теми, кто сделал нас несвободными. Мы никого не обманывали, не предавали и ни к кому не испытывали вражды. Ты мне веришь?»**

Дочь только сейчас поверила матери. Бугристый ком вопросов-ответов сорвался с души и покатился дальше... дальше... Освободил Изочку.

– Вранье, – твердо сказала она. – А если бы и посылали, то не твое дело.

– Как это не мое?! – возмутился Гришка. – Любой советский человек...

– Ты – не человек. Ты – трус и предатель.

Поджав колени, он приподнялся на локтях:

– Ты ничего не знаешь! Я тогда... Я подумал – пускай папаша меня изобьет... Пускай! А если Коля живой? Я враз побежал в милицию и рассказал про Колю, а про то, что ты со мной была, нет... Милиционеры поехали, нашли его во дворе у Портмонета, всех поймали. Коля... помер...

Гришка судорожно вздохнул, помолчал и продолжил:

– Я бы не побоялся в суде выступить. Но следователь велел молчать, а то кодла ихняя, родня Венькина или Портмонетова, захотит мне отомстить. Так он сказал. Поэтому про меня не думает никто. Парни сами сознались. Ты же никого из них после не видала?

– Нет.

– Ну вот. Надолго в тюрьму посадили, или расстреляли всю шантрапу, может.

– Расстреляли?!

– Ага. Правильно же. По закону.

– За то, что они убили, их убили? Убили потому, что ты рассказал?.. А

те, кто их убил, разве не убийцы?

– Выходит, убийцы, – растерялся Гришка. – Но если бы я не рассказал, они бы потом еще кого-нибудь убили!

– Чем эти расстрельщики лучше хулиганов?

– Не знаю...

– Если б мы выскочили из-под памятника сразу, Коля был бы живой!

– Парни и нас могли... Пьяные же.

– А отец? Он тебя избил?

– За лопату по шее дал, и всё. Папаша сам всяких гадов ненавидит. Он с такими, как они, фрицами, на фронте воевал.

Изочка утомленно вздохнула. Не могла разобраться в себе, в Гришке, во взрослых законах, замкнутых в порочный круг: как понять – убить, чтобы не убивали?.. Что-то непонятное творилось в ней, угнетало ее, словно порыв новой боли, хотя плечо, наоборот, меньше стало ломить.

Общая тайна вначале разделила, а теперь связала их скорбно и странно. Задыхаясь, Изочка с силой прижала здоровую руку к груди, откуда, выталкиваемое нахлынувшими чувствами, стремилось вырваться суматошное сердце.

...Повернулась боком к солнцу – пропал светящийся ореол, вместо могучей «врагини народа» над упавшим Гришкой съежилась обыкновенная девочка с разлохмаченной косицей, похожая на встрепанную птаху. На голенастого журавленка... И, несмотря на позор (ведь быть побитым девчонкой самый позорный позор, даже если никто не видел!), Гришка больше нисколько на нее не сердился. Удивительно было все это, и он продолжал лежать на земле, забыв о неприлично засунутых между ног ладонях.

Фиолетовая туча незаметно закрыла солнце, поднатужилась и лопнула щедрым дождем. Ахнула первая, редкая в мае на севере, короткая гроза. Прохладный ливень приятно остудил разгоряченные лица. Запахло не тухло, как угрожало Изочке воображаемое око, а свежо и вкусно – только что заваренной известью. Гришка встал под ливнем, точно гриб вырос, принялся отжимать со штанов ошметья грязи.

Прямо над головами прогрохотала по небесной брусчатке гигантская телега. Гром разодрал небо молнией и с невнятным ругательством отдалился в заоблачную высь. На земле, кроме двоих, никого не осталось. Да и земли не осталось ни островочка – вода и они. Молча стояли лицом к лицу, по-новому, без неприязни всматриваясь в друг в друга сквозь кипящую водную стену, и чувствовали, как плаваются и тают ледяные иглы вражды. Началось таинственное брожение подстегнутых дождем весенних

соков, проклюнулись ранние ростки чего-то хрупкого, трепетного, чему они не знали объяснения и что загадочно тяготило их еще неразвитые души.

«Журавленок», – думал об Изочке Гришка. А Изочка ни о чем не думала. Просто смотрела.

Небо лилось вниз, промывало воздух, плясало зыбуном в лужах, но недолго – запасы воды и трудовой свирепости израсходовались в туче, и она помчалась по ветру на запад, копя в себе влажную мглу. Земля потоками бегучей грязи вернулась под ноги мальчика и девочки. Косые лучи распоролли облачную подкладку, из-под разрыва выполз, зевнув во всю пасть, гривастый огненный зверь, и мир вокруг неправдоподобно засверкал и заискрился. Вдоль дороги на почках ивовых кустов повисли хрустальные бусы, хоровод деревьев обнес улицу трещинками кракле. Омытая улица дымилась радужным туманом и не знала, что такой красивой не была никогда. От одежды исходил пар, и всюду играли, вспыхивали, полыхали тысячи тысяч солнц.

Гришку переполнял жаркий прилив непостижимой радости. Предчувствие чего-то неизведанного, сияющего впереди румяными солнцами, приподняло его над землей как на крыльях... и он заметил сломанное Изочкино крыло. Гришка испугался, бросил на девочку взгляд исподлобья, дрожа, едва не плача – не противник, не друг, непонятно, кто. Почудилось, будто она уплывает от него в ливне, превратившемся в море. Тотчас же, не давая Гришке вольно вздохнуть, летучая радость вывернулась в нем наизнанку, забила в груди тоской. Шагнув ближе, он боязливо коснулся плеча подбитой «птицы»:

– Больно?..

– Пошел к черту, – сказала она.

– Сама иди, – прошептал он, слизнув с кончика носа солоноватую каплю.

– Портфель, – всхлипнула Изочка.

Гришка побродил в луже и нашарил ногой многострадальный портфель. Вылил из него воду.

– Неси под мышкой, прижми локтем, вот так... Разбух, тяжелый, не упусти... или давай я понесу? Дома ополоснешь учебники, высушишь. Завтра как раз праздник, парад, успеют высохнуть.

Заглянул виновато в лицо:

– А хочешь – я? Заберу портфель, учебники отчищу, а? И проклею... Хочешь?

Отрок, что нежданно проклюнулся в мальчике, смотрел вслед уходящей

девочке и видел, как жалко обвисло крыло за ее спиной. Но не он, мужественный отрок, а прежний, маленький и запуганный салага пропищал оробелым дискантом:

– Не трепись, кто руку тебе поломал, а то папаша меня изобьет!

Она обернулась:

– Я не предательница! – в ответном крике слышались отголоски обиды и гнева...

Гришка не смолчал. С тихой горечью сказал не ей, себе:

– Ты не предательница... Ты... журавленок.

## Глава 8

### Это страх

Сдерживая готовые прорваться слезы, Изочка постояла в коридоре. Толкнула коленом дверь – не заперто, мама уже дома.

– Упала, – коротко пояснила причину травмы.

– Ой ли, – засомневалась Мария и начала осторожно снимать с дочери форму и фартук, чей белый праздничный цвет вряд ли подлежал восстановлению.

– Гроза ведь была, ливень, скользко, – безнадежно завиралась Изочка, кося от боли глазами.

Мария особым кодом постучала в стенку, вызвала дядю Пашу. Веселый, шумный ветеринар заполнил собой все свободное пространство тесной комнаты.

– Что тут у нас?

Мягко развернул девочку, а все же задел плечо. Она невольно взвизгнула и не стерпела, взвыла в голос.

– Подралась, подралась! – лицо дяди Паши расплылось в лукавой усмешке. – Честно признавайся, с пацаном воевала? Кто победил?

Изочка ревела белугой, урывками удивляясь пронизательности соседа, а злосчастная рука будто сама по себе вздернулась к предплечью. Глаза на миг полоснуло огнем и перцем, раздалось сочное «кр-рак-чпок», и крыло исчезло, а рука встала на место. Пламя боли, ужас и облегчение Изочка ощущала одновременно: вот как, оказывается, люди умирают... и оживают снова! Выяснилось, что просто вывихнуто плечо.

– Теперь-то непременно на свадьбу позовешь, – засмеялся дядя Паша и заговорщицки подмигнул. Руку с плечом он крепко перевязал и велел походить так с недельку.

Когда сосед ушел, Изочка набралась храбрости и посмотрела Марии в глаза:

– Я знаю: вы с папой не изменяли Родине и не посылали Гитлеру никаких донесений. Это неправда, и я не хочу задавать о неправде вопросов. Я, Мариечка, всю жизнь буду верить тебе, а не директору, даже если он выгонит меня из школы.

– Рановато кончилось твое неведение, – вздохнула Мария. – Может быть, к лучшему. Прости, что я не смогла объяснить.

Отворачивая лицо от горячего пара, она высыпала в тарелку картошку, сбрызнула подсолнечным маслом. Постояла настороженная, тихая, и вдруг, со звоном бросив ложку, упала плашмя на кровать.

...Картошка давно остыла. Липкая тревога сгущалась черной тенью в углу, давила на уши, кружила рядом. Из щелей в полу лезли и ползли к кровати невидимые в сумерках бесплотные существа, куда более опасные, чем ватага драчливых, но реальных и предсказуемых мальчишек.

Напряженно наблюдая за колыханиями темного воздуха, Изочка боялась, что кто-то холодный, бестелесный ухватит и навсегда выдернет Марию из ее рук, из постели и жизни. Гладила пушистые завитки маминых искрасна-пепельных волос цвета угасающего костра и думала о странной случайности.

По-настоящему рыжих людей на свете совсем немного. Тем не менее двое из них – дорогие ей люди. Есть еще третий... Но он, виновник сегодняшних неприятностей, конечно, не в счет.

Побаюкала больную руку. «И это пройдет», – было начертано на кольце библейского царя Соломона, Мария рассказывала.

Пройдет и это. Ни следа не останется от чернильных тайн и смутившего душу ливня. Изочка поняла тайну главной тени – выброса темного духа неуклюжего строения, качающегося над взрослым миром. Это был страх.

Надо понемногу учиться терпеть боль и не расстраиваться из-за недобрых слов. «Сила человека не в мышцах, сила – в способности противостоять тому, что пытается его согнуть. То есть в воле», – Мария говорила так, вспоминая папу, и добавляла, что дочь унаследовала отцовский упрямый характер. На самом деле папино упрямство, очевидно, и есть воля, а у дочери пока одни девчачьи капризы.

Изочка отвлеклась, и страх незаметно исчез. Он не вернется. Если будет нужно защитить Марию, рука не дрогнет. Дочь Хаима и Марии перестала бояться призраков темноты и крыс с мышами. Не боялась теперь ни убийцу-хулиганов, ни директора с кусочками холодца вместо глаз. Никого.

Включая диких медведей, что нападают на ягодников в тайге. Ведь ручные, которые не набрасываются на людей, водятся только у цыган.

Говорят, таежные медведи не трогают женщин, если женщины открывают голую грудь им навстречу. Даже злобные шатуны поворачиваются и уходят неизвестно почему. Может, вспоминают своих мам-медведиц?

К сожалению, Изочке еще нечего было показать медведю, вздумай он кинуться на нее в лесу...

А если схитрить? Запрыгнуть повыше на какой-нибудь пенек, снять штаны и встать к зверю задом, вверх голой попой? Разве не похоже на тетенькины титьки? Очень похоже!

Довольная идеей, она запела – почти неслышно, на малом пределе своего большого голоса, чтобы не разбудить Марию.

Песня была не советская. Текст песни сочинил старинный писатель Тургенев, автор произведения про Герасима и Муму. Изочка догадывалась – романсы советскими не бывают, тут никто не обвинит ее в кощунстве. Музыка слегка дрожала в горле от переживаний, зато слова выпевались четко, как у артиста Козина с дяди-Пашиной пластинки:

Утро туманное, утро седое,  
Нивы печальные, снегом покрытые...

## Глава 9

### Рождение странника

Праздничное утро выдалось совсем не туманным, а ясным, и началось с сюрпризов. В общежитие собственной персоной заявился Гришка. Принес высушенный портфель, подшитые и проглаженные учебники. Дневник не удалось спасти. Хорошо, хоть тетрадки Елизавета Сергеевна забрала на проверку.

– Спасибо, – поблагодарила Изочка, стоя к Гришке нарочно левым боком с перевязкой – пусть полюбуется, что натворил.

Думала, постесняется при Марии, учтиво скажет: «Пожалуйста, до свидания» – и живо удалится, но не тут-то было. Тербя рыжий чуб, он смотрел в пол, переминался с ноги на ногу у дверей и не уходил.

Мария наконец не выдержала, позвала незваного гостя за стол. Как раз собирались завтракать. И снова вышла ошибка: он не отказался. Кивнул без слов, словно ждал приглашения, снял резиновые сапоги и скромно поставил в угол. По тому, что носки у Гришки оказались стиранные и целые, Изочка поняла – вот именно, что ждал! Будто она не видела мальчишечьих вечно грязных и драных носков на физкультуре! Оторопь брала от такого Гришкиного нахальства. Сначала обозвал «врагиней», чуть напрочь не оторвал руку, а теперь нагло приперся распивать чай с изменщиками Родины!

Захотелось топнуть ногой и закричать, чтобы убирался вон, а не то... А не то она убьет его навсегда! Изочка едва не задохнулась от злости, когда он без всякого напоминания поплескал носиком умывальника и вытер с краю полотенца подозрительно чистые, явно заранее отмытые руки. Пришлось отвернуться и закрыть глаза.

– Раз-два-три... Меня здесь нет. Не вижу, не слышу, – прошептала Изочка в сторону. Успокаивать себя так, если злишься, научил дядя Паша, и это часто помогало.

Гришка и за столом вел себя безукоризненно. Взял картофелину вилкой, опрятно покромсал на тарелке кусочками, хлеб не стал обмакивать в масло и не полил, а тонко помазал сверху ложечкой. Ни разу не чавкнул, ел с закрытым ртом, и локти не разбрасывал. Изочке из-за его аккуратности тоже пришлось вспомнить уроки Натальи Фридриховны с книгами в подмышках.

Мария спросила Гришку об учебе. Он честно ответил, что, вероятно,

останется по русскому языку на осень, а может, и по арифметике. Или, скорее всего, на второй год. Ему не привыкать, он уже оставался в первом классе. Правда, тогда по болезни. Лежал в больнице с дифтерией, чуть не помер.

Изочку ошеломила безрадостная перспектива учиться с второгодником в одном классе. Чего доброго, посмеет списывать у нее! Обдумывая, как с ним расправиться, она упустила опасный момент: ласково улыбнувшись мальчишке, Мария вдруг предложила подтянуть его по всем предметам! Тогда, в случае старания и успеха, у Гришки, дескать, появится к осени твердая возможность пересдачи.

Лицо бесстыжего гостя рассиялось:

– Было бы замечательно, Мария Романовна!

Изочка отметила это льстивое «замечательно» вместо «здоровски» и то, что он знает мамино отчество. Наверное, специально у соседней спросил... А хитрец пообещал колоть дрова, топить печь и носить воду! Болтал с Марией бойко и весело, словно они знали друг друга сто лет.

Негодующая и обескураженная полным к ней равнодушием матери, Изочка втихомолку выскользнула из-за стола и выскочила в коридор. Решила подстеречь Гришку на выходе и сказать ему все, что о нем думает. А потом надо чем-нибудь стукнуть больно. Отомстить!

Изочка схватила тети-Матренину чугунную сковороду и спряталась за дверь «всехной» кухни.

Мария окликнула, выглянув в коридор. Никто не отозвался.

– К подружкам ушла, – пожала плечами Мария.

Не понять, кому так громко сообщила: то ли Гришке, то ли дочери из каких-нибудь воспитательных соображений...

Из комнаты послышался смех. Мстительница заплакала за дверь и не укараулила подлого гостя. Он удалился беспрепятственно.

Позже она заметила его рыжие вихры в школьной толпе на параде. Гришка радостно замахал ей рукой, будто давно не виделись, и закричал издалека:

– А я вот на парад пришел!

– Ну и дурак, – тихо сказала Изочка.

Сама не ожидала, что улыбнется в ответ.

Гришка стал бывать у них почти каждый день. Мария поражалась его безграмотности. Он говорил «хотишь» вместо «хочешь», склонял «пальто» и «кино», считал лабораторию «раболаторией», а ножницы вещью женского рода. Его «колидоры», «тубареты», «туды» и «сюды» приводили Марию в плохо скрытый ужас и страшно веселили Изочку. Но невежда

старался изо всех сил. Заучивал наизусть десятки правил, писал под диктовку, решал примеры, краснея от усилий, и мелкие веснушки на носу сливались в одну большую. Усердный ученик глаз не сводил с Марии и умнел на удивление быстро, словно прежде мозг его дремал, а теперь проснулся и с нерастроченной энергией принялся за работу.

За спиной домашней учительницы Изочка показывала подлизе язык и корчила рожи. Гришка не реагировал. Роли переменялись: теперь она его задирала, а он терпел. Иногда ей казалось, что коварный мальчишка втерся в доверие к маме с целью как-нибудь незаметно втиснуться к ним, сделаться частью их маленькой семьи – недостающей мужской половиной...

Куча раскиданных дров во дворе на пяточке Готлибов волшебным образом сложилась в ровную поленницу. Вода в бочке общей кухни не переводилась, и на ящике возле теплой комнатной «голландки» всегда стояло полное ведро.

А самое невыносимое – Гришка без всякого понуждения взял над Изочкой строгое шефство. Следил, чтобы она к приходу Марии прибиралась в комнате, не промочила ноги, не выбегала из школы на перемене без кофты в прохладную погоду... Он отчитывался перед посторонней мамой за отлучки из дома ее дочери-непоседы!

Мария относилась к Гришкиному подхалимажу с обидной Изочке благосклонностью. Вела себя так, будто не прочь завести, кроме дочери, сына... Или даже вместо нее!

К потаенной Изочкиной досаде, больная рука заживала слишком быстро. Ох, как же чесался язык сказать, кто был виноват! И каково было разочарование, когда обнаружилось, что Мария все знает! Гришка успел повиниться. Вцепился в чужую маму клещом:

– Да, Мария Романовна, конечно, Мария Романовна!

До этого она редко читала вслух, а из-за Гришки начались сплошные читальные вечера. Мария обожала Чехова и знала наизусть целые монологи из его пьес. Изочка любила слова Нины Заречной из грустной комедии «Чайка»: «...в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни...»

Изочка тоже не боялась жизни и несла крест знания о тени – тайне взрослого **страха**.

Гришке больше нравилось, когда Мария рассказывала истории о неведомых городах. Оттолкнувшись однажды от краткого экскурса по

Литве, она переключилась на Любек. Вспомнила легенду о том, как при вражеской осаде городской крепости пекари остались без муки и решили приготовить хлеб из того, что было, – из миндаля и сахара. Смолот эти остатки в муку, пекари случайно изобрели рецепт неповторимого лакомства – марципана.

Рассказывая, Мария подметила, что мальчик чем-то обеспокоен. Не понимая некоторых мудреных «буржуйских» словечек, он, вероятно, чувствовал собственную ущербность. Может, даже классовое неприятие, сродни глухой зависти оборвыша, подсматривающего в окно, как барчуки играют и кружатся у освещенной свечами елки. Мария терпеливо, как бы мимоходом, объясняла сложные слова.

Детальное, с подробными отступлениями, описание Любека заняло несколько вечеров. Тревожные сомнения в сбивчивых Гришкиных мыслях стали понемногу рассеиваться. Фантазия взяла верх: лицо покраснелось, глаза лихорадочно заблестели, он словно сам вдохнул древний воздух Рыночной площади. Вокруг него сгустились ароматы цветущих роз, запахи выдержанного в дубовых бочках любекского бордо и горького миндаля. Гришку потрясло кафе Нидереггеров с его съедобной флорой, фауной и самой сладкой на свете сказочной галереей. Он мечтал попробовать, – нет, мысленно уже ощущал вкус белого марципанового золота, в обмен на которое мышиный король согласился оставить в покое Щелкунчика. Гришка разглядывал ганзейские гербы на фасаде ратуши, диковинно разодетые толпы продавцов и покупателей, актеров и мастеров – кузнецов, гончаров, бондарей, – творящих на виду у всех необходимые, необыкновенно красивые вещи... Для человека, совсем недавно не подозревавшего ни о чем подобном, это был огромный прорыв.

Мария не упомянула о роковой лестнице и чудовищном изобретении средневекового правосудия – позорном столбе, о человеческих страданиях, что становились зрелищем и развлечением для толпы...

За историей Любека, свободного со времен унии Ганзы и потерявшего вольный статус в годы Третьего рейха, последовало путешествие по европейским столицам. Вдоль лондонской Конститушн-хилл загорелись газовые фонари, окутывая бархатом золотистого тумана изящные линии креповых крыш, Зеленый парк и зубчатую стену Букингемского дворца... Между станциями берлинского унтергрунда с лязгом и ревом помчались по туннельным путям полные пассажиров поезда, а сверху по магистрали Курфюрстендамм покатались роскошные автомобили и двухэтажные автобусы... Яркие раскрашенные парусные лодки с санными полозьями и группы нарядных крестьян на коньках заскользили из голландских

предместий по каналу Принцен-грахт на праздник святого Николааса... Сквозь утреннюю морось на острове Ситэ у правого берега Сены выступил стрельчатый фасад собора Парижской Богоматери, и где-то за университетом и Латинским кварталом вырвался из облака к небу указующий перст Эйфелевой башни...

Отец Гришки дошел с боями до города Кенигсберга, который стал советским и был назван Калининградом. Из подслушанных застольных разговоров отца с друзьями сын уяснил, что зря советское руководство не позволило армии **«...уничтожить в прах фашистскую Германию, а следом Европу и американцев-союзничков, все ихнее поганое гнездо»**.

Зарубежье существовало в разуме мальчика только как рассадник империализма и поле возможной битвы. Гришка знал о ратных подвигах и разрухе и нисколько – о красоте мира. Впервые раздвинулись перед ним мысленные границы. Перед глазами радужными красками расцвели неведомые города. Неутолимое любопытство разгоралось с каждым новым названием, напряженная работа ума и сердца зажигала глаза восторгом. Слова Марии падали в Гришкино сознание, словно зерна в девственный чернозем. Древняя, но не дряхлая, мощная и нестареющая культура Европы захватила его и заставила преклониться перед гением человеческого созидания... Гришка, конечно, не мог бы так выразиться, он и слов таких не знал. Но теперь, представляя горестные руины на месте исторических улиц, проспектов и площадей, содрогался в суеверном ужасе и незаметно стучал костяшками пальцев по ножке табурета.

В нечаянных лекциях Марии не горели инквизиторские костры. Не было крестовых походов, погромов, революций и нарушенных пактов о ненападении. По проспектам не маршировали колонны солдат, и с балконов на них не сыпались ни цветы, ни проклятия... Никто никого не ликвидировал, не мучил и не ссылал. Кровь истории, из века в век текущая по людским тропам, не лилась в этом созерцательном мире, и не было на Марииной карте флажков, обозначающих взятые города.

**«Уничтожить в прах»** – всплывающие в памяти слова отца больно задевали восхищенного путешественника, родившегося в мальчишке вместо воина.

## Глава 10

### Неодолимое чувство

Разбуженная любознательность мальчика взволновала и захватила

Марию. Извлекая из памяти рассказы Хаима, она стремилась воспроизвести их дословно, с его остроумными сравнениями, замечаниями, интонацией. Наблюдала, как ярко и послушно разгорается в Гришке страсть к постижению земных горизонтов – то, чего не сумела зажечь в дочери, и чувствовала вдохновение, смешанное с печалью.

Изочка тоже испытывала смешанные эмоции: гордилась матерью, сумевшей вызвать в Гришке такой восторг, и одновременно злилась, что он слишком много времени проводит у них в гостях. К тому же Изочку в путешествия никто не приглашал. Она оставалась дома, мыла посуду, и чашки бренчали чуть громче... Все эти далекие страны казались ей неуютными, как неуютным кажется все чужое и поэтому чуждое. Для нее, склонной к открытию неизвестных миров в знакомом краю, гораздо привлекательнее были хоженные тропы, а на большой мир за пределами своего края Изочка смотрела с вежливой отстраненностью.

Мария с удивлением обнаружила, что в дочке, с ее семитскими чертами лица и синими славянскими глазами, живет человек, крепко влюбленный в Север. Негибкая, неотступная и ревнивая, эта любовь не терпела посягательства на свои права, не позволяя Изочке уделить хоть толику внимания чему-то другому. Рассказы о Литве Изочка как будто слушала внимательно и с удовольствием, но не выказывала желания там побывать. Нетрудно было догадаться, что Литва интересна ей только как место, где когда-то жили родители.

Марию пугала эта не по возрасту глубокая, какая-то языческая привязанность к якутской природе, как будто впитанная с молоком Майис. Прочнее стальных слоев на изделиях Степана пристыли к детскому сердцу аласы у березовых рощ, песчаные берега Лены, шаман-дерево на перепутье, бог знает что еще... Однако и сама Мария, русская по происхождению и воспитанию, сознавала, что ее чувства к трем литовским городам также кажутся кому-то странными.

Машенька Митрохина родилась на мемельской, то есть клайпедской земле. Там покоились ее родители. В Клайпедде она встретила любимого человека и прожила лучшие годы. Она дорожила памятью и о Вильнюсе – Вильно, городе, где училась. Русское общество и церковь, вопреки любым экспансиям, всегда оберегали в Вильно русский православный дух. Наверняка исхитрились сберечь и теперь, в безбожное советское время. Что же касается Каунаса...

Литва была не просто родиной. В Литве вместе с сыном осталась часть сердца Марии.

Она часто перечитывала письма Перельмана. За музыканта похлопотал

народный артист Кипрас Петраускас, депутат Верховного Совета, и с Гарри сняли последнее ограничение – он вернулся домой. Когда-то Мария с Хаимом, Сарой и старым Ицхаком ходили в оперу слушать Петраускаса...

В письме Гарри с присущей ему восторженностью восклицал: «...если бы ты знала, как сильно изменился Каунас! И – не изменился! А как возрождается и растет твоя Клайпеда, ты ахнешь! Но все же, Мария, лучше приезжайте с Изочкой в Каунас, я думаю, скоро всем позволят вернуться. Тут никого не удивила первая запись в моей трудовой книжке: «Принят на промысел в качестве ловца рыбы». Никто не спрашивает о ссылке. Незапятнанное имя мне полностью возвращено. Думаю, без особого труда найдем и тебе работу. На родине неприятные воспоминания уходят»...

Ни слова о судьбе семейства Готлибов и отце Алексии. А ведь обещал разузнать... Такое молчание не сулило ничего хорошего.

Холодом обдавало при воспоминании о ядовитой ухмылке майора Васи. Мария не сомневалась – эта встреча не была случайной. Комиссию из центра уже не ждали, следствие проводил местный суд. Кто-то написал жалобу в Москву о волоките с документами спецпереселенцев, и реабилитация значительно ускорилась. В города Сибири и на Урал уехали многие, а дело Марии Готлиб как будто окончательно застопорилось... Не Вася ли строит козни?

Может, записаться на прием к начальнику, который занимается делами департаментов? Ах, нет. Как бы хуже не вышло. На вид этот человек интеллигентный, но кто знает...

Мария пыталась взять себя в руки. Нельзя поддаваться унынию. «Дело» просмотрят недели через две. Спустя месяц, три месяца... стоп! Не дольше. Не должно быть дольше!

Витауте прислала письмо из Тюмени. Хорошо они там устроились. Гедре, правда, прибаливает, и отец попивает, а все равно хорошо и к родине ближе...

Вита передала Нийоле адрес Марии, и та написала из Ангарска. Дождались из лагеря старшего Гринюса, втроем с Юозасом работают на заводе, Алоис поступил в Иркутский университет...

Нийоле звала в Ангарск. Город молодой, спокойный, у больших предприятий свои общежития. Наверное, надо попроситься туда на жительство, все-таки Гринюсы – близкие люди. А потом они когда-нибудь все вместе вернуться в Литву...

Грозная мощь Балтийского моря покорит Изочку. Дочь полюбит патриархальность Клайпеды, ощутит и поймет двойственность столично-

провинциального Каунаса, проникнется лирическим спокойствием Вильнюса. В ней пробудится – не может не пробудиться! – чувство настоящей родины. Ведь главное не в том, *где* сохраняется исконное и родное, а в том, *как* оно сохраняется.

## Глава 11

### Мореход

Едва открылся судоходный сезон, Изочка приневолила Гришку встречать с нею пароходы. Она не говорила, почему ей это необходимо. А он и не спрашивал. Посчитал, что девчонку, как его, влечет все, что связано со странствиями. Гришке нравилось подробно рассматривать речные корабли и следить за расторопной работой матросов. Но вскоре в Изочке, кроме упоения манящей жизнью причала, проявился необъяснимый интерес – к цыганам, и мальчик занервничал. Дай волю, часами бы пялилась на них с прибрежного косогора. Порывистые темнокожие люди с воплями и внезапными песнями ставили на прикол пестрые шатры у берега.

Гришка ворчал:

– Журавленок! Что ты вылупилась на цыган, что в них нашла?

– Не нашла, – вздыхала она, не отрывая от табора туманного взора. – Не приехали... Не зови меня так! Ну! Не зови, сказала!

Гришка игнорировал требование. Он называл Изочку Журавленком, когда был уверен, что никто посторонний не слышит.

– О ком ты? Кто не приехал?

Она не отвечала.

Отчаянно скупясь, Гришка выделял на девчачью причуду двадцать минут драгоценного времени. День он теперь рассчитывал по часам: столько – для дома, столько – на подготовку к пересдаче, библиотеку, кой-какие дела и снова на дом. Изрядно промучился со строптивницей и в конце концов освободил ее из-под опеки, пока сам сидел в читальном зале. Благо библиотека находилась недалеко от места, облюбованного цыганами. Спыхватываясь, бегал к каланче, забирался повыше по перекрытиям и тревожно высматривал на косогоре синее пятнышко Изочкиного сарафана. Могла улететь птица, ищи потом ветра в поле...

В книжное святилище мальчишку погнала жажда знаний, вдруг пышным цветом расцветшая в нем после безоблачных лет невежества и слепоты. Диву давался он прежнему безделью. Библиотечная «читалка»

обогатила Гришкино воображение фотографическими видами городов Советского Союза. Мария Романовна ничего о них не рассказывала.

Домой большие красочные альбомы не выдавали, и он взял пугающе толстый том без картинок, с массой сбитого в длинные главы мелкого шрифта. Книга была сильно потрепанная, значит, интересная, к тому же с интригующим названием: «Фенимор Купер. Красный корсар».

Светленькая библиотечка со славным лицом и нездешним именем Алегра Милиеина обращалась ко всем читателям, независимо от возраста, на «вы».

– Самое подходящее чтение для вас, молодой человек, – сказала она одобрительно.

Непривычная вежливость произвела на Гришку оглушительное впечатление, и он моментально решил соответствовать и вести себя подобающе. В ту же ночь «молодой человек» перенесся из кухонного чулана-темнушки, где обычно спал, в таинственные просторы морей.

Сначала мальчику было трудно пробиться к содержанию сквозь незнакомые слова, названия, эпиграфы и сноски. Чуть позже он перестал о них спотыкаться и заскользил по течению сюжета на всех парусах.

Гришка читал, пока под утро не сжег вторую свечу. Ночные часы дальнего плавания не утолили его любопытства. Вот тогда-то он и начал жалеть время, погубленное никчемной беготней по улицам. Мария не подозревала, что, раскрыв одну дверь с сокровищами, отправит ненасытного путешественника на поиски многих и многих кладов. С первого же, еще только книжного рейса магия вечной борьбы корабля и неукротимой стихии больше не покидала Григория Емельянова.

Труд разума и воображения оказался пленительнее всех вместе взятых уличных игр. Словно пчела к нектару, пристрастился Гришка к чтению. Необъятная вселенная наполнилась такими захватывающими приключениями, что сердце заходило от ощущения разнообразия и огромности мира. В смелых речах героев будущий моряк с гордой радостью узнавал мысли, сходные со своими. Он и думать забыл о пролетарском смятении, постигшем его во время рассказа о «марципановом» Любеке. Недоступный праздник жизни беспечных богачей, случайно замеченный в чужом окне, уже никогда не привлек бы сурового морского волка. Он готов был плыть через годы и воды, пока хватит сил бороздить океан и вдыхать розу ветров.

Впервые взхлеб плакал мальчик не о покойнице-матери, не от обиды и побоев отца. Плакал, скорбя над мертвым телом благородного негра Сципиона, а потом – от прилива сопричастного счастья, когда в глазах

погибающего Корсара заплескался победный флаг...

Гришка понял: ученые люди пишут умные книги, но лучшие созданы путешественниками. За лето были прочитаны пять романов Купера – все, какие нашлись в библиотеке. «Красному Корсару» досталась особая роль. Гришка заболел морем. Только неистовое желание стать, когда вырастет, капитаном дальнего плавания держало его якорь на школьной привязи. Противоречие мечты и действительности подавляло Гришку, но уяснилось твердо – без образования не выбиться в капитаны.

Он стал чаще просить Марию Романовну рассказать о море. Вбирал в себя воздух, пропитанный йодистой солью, и солнце в мечтательных глазах поджигало рассветом водную гладь Куршского залива. В акватории порта толкались и пыхтели пароходы, буксиры и прочие морские обитатели. От одних лишь названий – Клайпеда, Смильтине, Нида, Паланга – кружилась мальчишечья голова. Сама того не желая, Мария привила новоиспеченному романтику свою ностальгию. А фантазия его, отчалив от земли, плыла дальше на живом корабле – к манящей линии горизонта и океанской шири, к разноцветным морям, рассыпчатым звездам, свирепым штормам...

Под туго натянутыми снастями Гришка видел человека с выдубленным ветрами лицом. Себя, капитана. На спине его коробом топорщился соленый бушлат, пенковая трубка попыхивала дымком в углу усмешливого рта. Капитан любовался играющими в волнах дельфинами. Крепкие ноги сливались с палубой, такой чистой, что хоть белым платком подметай – белым и останется. Да и какая в море пыль? Это на земле полно пыли и грязи...

Весело крича: «Аврал!», он разливал воду по всей длине общежитского коридора. Изочка дежурила на «камбузе». После драйки крашенные полы блестели почти как палуба.

– Мореход! – шутил дядя Паша и снимал ботинки у коридорной двери. Проницательному ветеринару нечаянно открылась большая Гришкина мечта.

Вслед за дядей Пашей все соседи стали звать Гришку Мореходом. Как-то встретился на тропе злобный дядька Скворыхин, живущий в землянке у общежития. Вот и он, непонятно осклабясь, то ли поддразнил, то ли обозвал ни за что:

– Мореход, ешкин кот...

В следующее дежурство Гришка возился у печи, а Изочка мучилась с полами. Мыла по-честному: проверяя ее работу, «корабельный» ревизор проводил по плитусам чистой тряпочкой и, бывало, требовал перемыть

заново. Готовить они оба научились если и не лучше заправского кока, то ничуть не хуже Марии.

Учителей сразило преобразование потенциального второгодника. В конце августа он прибежал в общежитие, победно размахивая дневником, и выпалил с порога:

– Четыре! Мария Романовна, у меня четыре по русскому, а по арифметике – пять!

## **Глава 12**

### **Нашли прислугу!**

Гришкина мать умерла, когда ему исполнилось шесть лет. Отец Илья Саввич недолго ходил вдовцом, женился на молодой. Мачеха сразу невзлюбила похожего на покойницу пасынка. Не очень-то сладко приходилось мальчишке с неласковой чужой женщиной.

Отец работал в Амакинской геологоразведочной экспедиции и не жаловался на судьбу до тех пор, пока ряды чернорабочих не пополнила ворошиловско-бериевская амнистия. Нрав у фронтовика Ильи Саввича был крутой, у зэков-уголовников – подлый. Пришлось оставить хорошую зарплату и устроиться грузчиком в магазине. Без привычных полевых разъездов и радости таежного труда быстро стало невмоготу. Илья Саввич оброс новыми приятелями, в выходные дни пытался с помощью водки отвязаться от недовольства жизнью и мало-помалу опускался на дно. В семье участились скандалы.

Гришка начал всерьез подумывать, не сбежать ли ему из дома. Добрался бы как-нибудь до первого морского порта и попросился на судно юнгой. Но тогда придется распрощаться с мечтой, ведь без официальной учебы не подняться до капитана. И братишку бросать жалко. Малыш любил старшего брата, припрятывал для него лакомства и с недетским терпением ждал его прихода.

Стену своего чуланчика над кроватью Гришка украсил морскими картинками. Велел братишке называть каморку каютой.

– Ты – мореход, а я кто? – спросил малыш.

– Мой матрос.

– У меня нет кораблика.

– Погоди, сейчас будет...

Округлив восторженные глаза, мальчик наблюдал, как из простого тетрадного листа в ловких Гришкиных руках рождается волшебство.

Кораблик получился с треугольным парусом, спичечной мачтой и крохотным флажком. Схватив игрушку, братишка даже «спасибо» забыл сказать, тотчас убежал на улицу к лужам. А Гришка достал из сундука белую рубашку и принялся нашивать на нее широкий воротник с матросскими полосками...

В сенцах шваркнул дверью папаша. Грузно протопал к кухне, выпил воды и, отдернув занавеску каморки, встал перед сыном с пьяным, красным от злости лицом.

– Где все дни шлендраешь? – Не дожидаясь ответа, ткнул пальцем в картинку: – Это что?

– Корабли...

– Откуда?

– Из журнала.

– Откуда, я говорю! Кто дал?

– Ма-мария Рома-мановна, – пролепетал Гришка.

– Замамкал, сопляк!

Белки глаз отца продернулись красными ниточками вен. Одним движением смахнув картинку со стены, он треснул сына по затылку.

– Я кровь на фронтах проливал, а ты таскаешься к этим!..

Гришка мотнул головой то ли от затрешины, то ли из противоречия. Но смолчал.

– Я за Родину воевал, а отпрыск мой... Люди глаза колют: прислуживает сынок-то... Мореход, едитвовать... Перед жидами стелется...

Папаша пошатнулся. Гришка знал, что он только на вид бугай, сам же весь изрешечен пулями. Сверху донизу залатан, точно старый картофельный мешок. Страх было смотреть в раздевалке, когда ходили в городскую баню. Но и у многих других на загорелых телах белели стянутые рубцами следы ранений и ожогов. А как-то раз в очереди у крана оказался рядом человек с нежным, как у младенца, черепом. Розовая кожица на лысом темени дышала и пульсировала. Человек увидел папашу и обрадовался. Пошлепали друг друга по плечам. Потом, плеща на себя водой и паром из цинковой шайки, лысый кричал на всю баню: «Я гляжу – ты это или не ты? Трудно же голого распознать! По шрапнели твоей догадался! Чего греха таить, думал, мертвяк ты давно!» – «А я думал – ты!» – засмеялся отец. Гришка удивился – зачем орать? Вроде моются бок о бок, людей в воскресный банный день всегда густо... И догадался – человек глухой.

Папаша после рассказал, что в сорок втором они мобилизовались

вместе, и фронтовые пути-дороги развели их в стороны. Через два года случилось сойтись в окопах, где полегла половина их батальонов. На ногах не стояли, подползли друг к другу ближе. Земляк был ранен в голову, а по отцу хлестнул свинцовый град. Перекрестившись, сняли у мертвого товарища рубаху, у самих-то все промокло от крови. Разорвали пополам, кое-как перевязались...

Отец сгорал в жару, земляка же лихорадило. Бессознательно жался к горячему, грелся, будто у печки. Умирили потихоньку. Под утро сестрички собрали немногочисленных раненых в докторской палатке. Живучесть северян потрясла врача. Раны у обоих оказались почти смертельными. На этом «почти» и держались. «Повезло, – сказал врач. – В чем еще чудо-то: не встретиться вы, один бы не вынес температуры, а второй бы замерз». Как развезли по госпиталям, так до сих пор и не виделись...

Неделю спустя лысый фронтовик неожиданно нагрянул в гости, при новом костюме и в кепке, принес коробку дорогих конфет. Папаша в это время лежал головой на столе пьяный в умат, но, услышав свое имя, очнулся, полез целоваться. Лысый придержал его, на лице мелькнула брезгливость. Оставил конфеты на столе, сочувственно кивнул сыновьям хозяина. Больше не приходил.

...Ощущая себя виноватым и не понимая, в чем виноват, Гришка растерянно глянул на отца, стоявшего в проеме чулана. А тот погрозил кулаком кому-то невидимому и вдруг заворочал шеей, словно ей стало тесно, рванул вырез рубашки. Звонкими горошинами посыпались на пол пуговицы.

– Я воевал за Родину! За Сталина! Я с его именем в бой шагал, я бы сдох за него! И мне по хер их долбаные культы!

Рубанув рукой в неприличном жесте, папаша снова шатнулся и чуть не упал.

– Предателей оправдали! Предателей!!!

Он задыхался. Ненависть набухала в нем жаркой мужицкой кровью. В висках стучал молот неотмщенных мыслей. Затеяли власти плач над урками, как теперь над вредителями! Враги-изменщики, мошенники-жулики отняли хорошую работу у него – солдата, трудяги! Советским воздухом дышат, советский хлеб жрут, а в головах прежнее – заставить лакействовать, вернуть анархию, бандитство, буржуйство! Всех бы их, как при Иосифе Виссарионовиче, к стенке, к стенке и – та-та-та-та! – покосить слева направо!

Эта рыжая лиса Готлиб лишний раз не глянет, корчит из себя цацу... Схожа цветом с покойной женой, вот сын и растаял... Приманила пацана

училка, подтянулся в школе – на том, как говорится, и данке шон, а к чему было пудрить мозги сказками о морях-плаваньях? Скворыхин сказал – пашет Гришка на мамзельку как проклятый, воду таскает, полы моет, с девчонкой нянькается! Это что – выходит, плату за простую человеческую помощь требовала барыня?!

– Нашли прислугу, э-эх!

Не просто так Илья Саввич выверился. Утром с фронтона обкома исчез портрет покойного вождя, что стало поводом для выпивки и ожесточенного спора с приятелями. Толян привел какого-то дохлого интеллигента. Тот новость ляпнул, будто на съезде партии разоблачили культ Сталина (Илье Саввичу хуже послышалось) и прячут от народа. Потому-де и съезд закрытым был. Хрущев только начальству велел секретное письмо отправить. Думают, народ отсталый, не дотумкает, и как бы возмущений не вышло.

Что за херня? Илья Саввич сильно удивился. Остальные тоже не шибко поняли, о какой части сталинского тела бухнул интеллигент. Отодвинулись – вдруг чокнутый, болтает всякое. Дохляк долго втолковывал с умным видом: не тот культ, а этот... Культ. Ну да, ясен пень, – не то, что по первости померещилось. А тут белобилетник Скворыхин, известный доносчик, стоит, уши развесил и в рот интеллигенту заглядывает...

Потом сами о Скворыхине забыли. Илья Саввич Хрущева ругал. Это ж надо, а?! Власть в руки заграбастал и на отца народного, на благодарную память о нем решил замахнуться! Каков Никитка!.. Верно, видать, болтают – кремлевцы же и траванули Иосифа Виссарионовича!

Интеллигент с Толяном защищали Никиту, кричали об освобождении узников «тоталитарного режима». А то Илья Саввич не помнил об амнистии сволоты, что жизнь его, честного человека, повернула наперекосяк!

Разлаялись небывало, аж о третьей поллитре не заикнулся никто. Скворыхин-то и ввернул о Готлибихе – теперь, мол, уедет, заскучает Гришка Мореход, сынок-то твой... Как под дых врезал!

Пока стукач сплетню жевал, Илья Саввич жалел – не подсечешь тубика чертова, еще окочурится. И все в голове спуталось, связалось в одно: культ личности, козни жидовские, вождь опороченный... рыжая Готлиб... сын...

Ненависть выкручивала душу, палила лицо и требовала выхода. Стукнув кулаком о стену, отец заорал:

Выпьем за Родину,  
Выпьем за Сталина,

Выпьем и снова нальем!

Судорожно сжатые пальцы на излете схватили Гришку за ворот, приподняли. Голос опустился до сиплого шепота:

– Понял, щенок? Понял, я тебя спрашиваю?! Нет, я тебя спрашиваю, ты понял, за кого твой папаша кровь проливал?! И если кто-нибудь еще раз скажет мне о культах... и что ты шляешься к этим... я им ноги повыдер...

– Не надо, – перебил Гришка, прикрывая локтем лицо. – Не надо, я понял...

– То-то, – отец с силой отбросил Гришку на кровать. Постоял, стекленея глазами, кляцнул сбитыми каблуками сапог и отдал честь стене.

Занавеска колыхнулась сбоку. Братишка торкнулся с мокрым корабликом в руках, ойкнул и скрылся.

В кухне папаша грязно заругался и, кажется, отобрал кораблик у младшего сына. Малыш заплакал.

– Сволочь! – закричала мачеха. – Не смей трогать ребенка, пошел вон, сволочь, пьяница!

Послышался звон разбитой посуды, вслед за тем звериный отцовский рев. Мачеха завизжала. Гришка выскочил из каморки, подхватил забившегося в угол братишку и выбежал с ним на улицу...

## Глава 13

### Пришел Бык Мороза

Соседи спрашивали, куда пропал Мореход. Изочка разводила руками. Кто-то сунул в почтовый ящик конверт без штемпеля с именем Марии. Дома Мария села за стол и в недоумении пробежала глазами по листку из тетради в линейку.

– Очень уважаемая Мария Романовна! – хмыкнув, прочла Изочка вслух из-за маминого плеча. – От всего своего сердца и души признателен Вам за то, что Вы потратили много часов для того, чтобы я не остался на второй год в четвертом классе. Примите огромную мою благодарность за Вашу замечательную учебу и рассказы. Я никогда не забуду Вас, Ваше благородство и доброту. Еще раз простите меня за вред руке, причиненный мной Вашей дочери...

– Ошибок нет, – печально усмехнулась Мария и сложила листок.

– А дальше? – возмутилась Изочка. Ее потрясла церемонная, неуловимо книжная витиеватость Гришкиного слога. – Там много, я не дочитала!

– Письмо адресовано мне.

– Ну Мариечка, ну пожалуйста, что он еще написал?

– Попросил прощения.

– За что?

– За то, что больше не придет.

– Почему?!

Мария молча открыла дверцу «голландки» и бросила послание в огонь.

В школе Гришка старался не попадаться на глаза. Если случалось столкнуться, бурчал под нос приветствие и шмыгал в сторону. Но в коридоре на переменах Изочка постоянно ловила на себе чей-то тоскливый взгляд, и кто-то провожал ее после уроков домой, прячась за деревьями и заборами. Она не оглядывалась.

Осень выдалась холодной и дождливой. Попадая в хлюпающую грязь, ботинки Марии тут же раскисали, и ледяная влага просачивалась внутрь. Железные набойки каблучков весь день зябко поцокивали под конторским столом. Вечером дочь помогала переодеться в домашнее, стаскивала мокрую обувь с ног, покрытых белой сморщенной кожей и разбухших, словно брюшки дохлых рыбок. Втирала в спину матери топленое с красным перцем медвежье сало, уговаривала хоть немного поесть... На ночь Мария принимала полтаблетки аспирина и отвар толокнянки, иначе

утром не смогла бы подняться.

Изочка полностью взяла в свои руки заботу о домашнем тепле и справлялась с обогревом комнаты без особого труда. Не говорила Марии, что неизвестный доброхот ежедневно рубит им поленья.

Дядя Паша, хитро подмигивая Изочке, напевал:

– Капитан, капитан, улыбнитесь...

Дрова, кроме лимита кубометров, выписываемого в ведомствах, народ приобретал у спекулянтов за двойную цену. Древесный хлам традиционно обменивался на спирт. Наспех накиданные у ворот горы сушняка и горбыля постепенно распиливались и размещались вдоль забора аккуратно рубленными штабелями.

Пронадеявшись на отъезд, Мария купила топливо поздно. С уборкой дров тоже канителилась дольше остальных, то забывая нанять сдельщика, то откладывая до следующей полочки. А в одну из воскресных ночей с дровяной морокой разделались невидимки.

Анонимное содействие отчего-то рассердило Марию. Полмесяца не разговаривала с Павлом Пудовичем. Без того замкнутая, она в последнее время стала чаще обычного пресекать порывы чужого участия, будто оберегаясь от вторжения в тайники своей души. Кое-как удалось Матрене Алексеевне убедить владелицу свежесложенной поленицы в том, что дрова покололи тимуровцы, выискивающие возможность ударно потрудиться. В округе уже не осталось дворов, где бы они не похозяйничали. Им, сказала соседка, все равно где работать, только бы соблюдалась тайна, и в отчете отметить.

Догадываясь о славных именах по крайней мере троих «тимуровцев», Изочка расстраивалась. Не зря, конечно, Мария подозревала лукавого ветеринара в скрытой помощи, но если у Гришки были какие-то непонятные резоны для тайн, то дядю Пашу и Мишу вынуждала секретничать исключительно мамина суровость.

Дровами, к счастью, запаслись вовремя. Зима взлютовала скоро, и нешуточная.

– Злится нынче Бык Мороза, – вздыхала Мария, собираясь в контору.

У Изочки вздрагивало сердце. Об этом старинном якутском поверье она еще в раннем детстве слышала от матушки Майис.

Бык Мороза, свирепый муж старухи Зимы, выходит супруге навстречу из стойла, высеченного из глыбы льда и упрятанного в глубинах Северного моря. Дух у быка мутный, глаза как проруби, шкура заиндевелая. Сам покуда безрогий, но в подмышках у него кроется голод, в пахах таятся болезни... Рога вырастают в ноябре. Чем стужа крепче, тем круче и

длиннее они вымахивают к декабрю – месяцу кричащих коновязей. Бык ненавидит лошадей, поэтому коновязи на пике холода трещат и стонут, и даже из бревен громко выстреливают остатки сучков. Как чуть повеет весной, у быка обламывается один рог, затем тает второй, и чудовище наконец отправляется обратно в ледяное царство...

Старые пимы Марии совсем вытерлись и уже не подлежали починке. Когда спохватилась – валенки в магазине кончились, а барахолка закрылась задолго до холодов. Добротные подошвы ботинок с высокой шнуровкой были еще справны, но на подъеме кожа прохудилась и прорвалась, обнажив слой подкладочного материала. Мария зашила дырки суровыми нитками, замазала трещины смесью дегтя, солидола и сажи. Вырезанные из пимов двойные стельки легли внутрь. Ноги в суконных портянках и носках из собачьей шерсти влезали в ботинки плотно и все равно страшно мерзли.

Павел Пудович предложил раздобыть валенки. Мария отказалась.

– Настоящий северянин – не тот, кто терпит мороз, а тот, кто тепло одевается, – заметил он, не сумев скрыть обиду.

– Я живу здесь, но это не значит, что я – северянка или хочу быть ей, – резко парировала Мария. Она не любила простонародных сентенций, к которым сосед имел досадное пристрастие.

Однажды декабрьским вечером луна вынырнула из-под туманного марева странно темная, лишь по бокам обозначились каемки наподобие светящихся рогов. На следующий день уличный градусник перестал показывать температуру, потому что ниже отметок в нем не оказалось. Говорили, что она упала до минус пятидесяти пяти.

В двух шагах ничего не видно, мир тонул в молочном тумане, не пробиваемом светом фонарей. Двигаться и дышать в оцепеневшем полумраке было тяжело. Люди ходили на работу группами, закутавшись в одеяла поверх телогреек и пальто. Окна доверху покрылись мехом инея, густым и жестким, как шерсть белого медведя. Необходимость закрывать жизнь шторами от посторонних глаз отпала. Прекратились занятия в школе. Приближался Новый год, а мечтать о школьной елке и маскараде не приходилось. Слег с гриппом Миша, такой, казалось бы, крепкий. Коридор оведали влажные травяные запахи – тетя Матрена готовила во «всехной» кухне лекарственные отвары для сына и соседей. Наталья Фридриховна мучилась приступами ревматизма. Семен Николаевич напрочь выключил нервную жену радио, и никто ему не возразил. Изочка поняла, что ни курантов, ни общего праздника в этот раз не будет.

Она начинала ждать Марию, как только за нею затворилась дверь.

Ненасытная «голландка» дров поедала много. Ярко краснела чугунной дверцей, а отойдешь чуть подальше – пар занимался от дыхания.

Изочкины дни до вечера заполняли уединение и знобкая тишина, дни Марии – отработанные до автоматизма должностные обязанности: распечатка нужных бумаг, звонки, ответы, пояснения, составление отчетов, сбор материалов, запись чьих-то речей, куча документации. Машинально справляясь с массой собственных и чужих дел, Мария едва сознавала свои движения. Главным для нее было казаться спокойной и ни на секунду не терять непроницаемо-корректного выражения лица. Под маской служебной вежливости прятались раздражение и усталость. Время ожидания свободы, время холода представлялось монотонной укладкой тяжеловесных, как сырые кирпичи, дней у конвейера вечности и успело порядком вымотать душу.

Подходя к дому, Мария не чувствовала пальцев ног. Благо, что работа недалеко, если идти напрямую по дворам. Дочь расшнуровывала задубевшие ботинки, укладывала Марию в постель, прогретую завернутыми в холстину горячими камнями. Десяток продолговатых булыжин, похожих на недопеченные сайки, принес откуда-то Павел Пудович. Изочка научилась калить их на железном листе над красными угольями и вытаскивать щипцами в совок. Камни долго сохраняли тепло.

Восхитительный чай с березовой чагой и брусничным вареньем жег губы, прокатывался по гортани мягким пламенем. Мария ела с ложечки исходящую дымком пшеничную кашу, послушно принимая дочкину игру: «За меня, за себя, опять за меня...» Ныли и покалывали в костях ожившие ноги. Тело оттаивало, расслаблялось, разморенное маленькой победой тепла.

Допоздна читали вслух или о чем-нибудь разговаривали, пока изнеможенное сознание Марии не ухало в темный, без снов и мыслей, провал. Она боялась оставаться наедине с собой. Если не получалось заболтать бессонницу, взамен ипохондрии являлся сильный и наглый страх и скручивал душу спазмом отчаяния.

Мария не назвала бы случайными превратностями судьбы все свои удачи и поражения. Судьба ее была большой искусницей обращать случайности в закономерности и вплетать их в вереницу предрешенных событий. Приметной нитью пробивался в этом сумбурном витье донос мистера Дженкинса. Марии снились пророческие сны, но предугадать, когда и какой эпизод аукнется ей из прошлого, она не могла.

Она опасалась уподобиться стервозной Гедре. Та во всех, даже мелких напастях на мысе винила начальство и верховную власть. Женщина, в

сущности, неплохая, Гедре словно не замечала ни своей озлобленности, ни понятливого великодушия соседей по юрте, вынужденных сносить ее постоянное недовольство. Может, так она сопротивлялась душевной боли и страху, знакомым каждому спецпоселенцу...

Но разве не с боли и страха перед неизвестностью начинается жизнь?

Нет, с преодоления, спешила возразить себе Мария. Ребенок растет и крепнет, пересиливая боязни, которым в жизни человека несть числа. Отпечатки мелких страхов стираются бесследно. Глубокие не тревожат, пока цел иммунитет. Пока власть не заставит взрослого человека согнуться...

Слово «власть» пробуждало в Марии гнев. Власть стремилась не просто согнуть ее, но сломать позвонки. И не ей одной. Что для власти люди? Рабочий скот, не имеющий права ни на что, кроме работы. С мушиными требованиями «по способностям», с жалкими надеждами на благополучие и утопичную в этой стране свободу...

Мария со стыдом сознавала, что жить за оградой вечного страдания, как Гедре, действительно проще. Перебивать мрачные раздумья становилось все сложнее. Стущенные мнительностью, они раздувались негодованием, доходили до предела и спускали пары. Правда, ненадолго.

Обессилев, Мария думала об особенности дочери говорить о некоторых вещах, придавая им степени родства. Деревья были у Изочки «родичами, рожденными стоя», река Лена – «бабушкой», огонь – «дедушкой», жалость – «сестрой любви». Это пращурное речение девочка почерпнула у Майис. Впрочем, последнее, о жалости, кажется, позаимствовала у Павла Пудовича, любителя прибауток и подержанных фраз... Ну, неважно. Следуя Изочкиной терминологии, гнев явно имел «родительский» статус. От мезальянса гнева с сермяжной ненавистью родилась злоба – пылкий, но бесплодный ублюдок...

Пани Ядвига как-то раз назвала злобу Гедре грыжей ее норова, и Хаим пошутил: «Несет в себе саму себя, с ума себя сводя». Не о Гедре. О «грыже».

Воспроизведенная вслух скороговорка вызывала улыбку. Ирония мужа вытягивала Марию из нарастающего ожесточения, и делалось легче.

Она давно поняла, чем Хаим отличался от всех. В нем отсутствовал страх. Именно поэтому у мужа был такой спокойно-ироничный, без сарказма и яда, взгляд на жизнь и мир. И на власть. Снисходительный взгляд трезвого наблюдателя чужой пирушки. Свободный от гипнотических влияний среды, Хаим оставался свободным и от внутреннего рабства.

Как могла, взбадривалась Мария на людях и прятала от дочери нетерпение сердца. Скоро девочку начнут томить неуверенность и вопросы переходного возраста. Ни к чему ей знать о маете матери. Пусть живет в нерасколоте мире. Пусть пьет молоко жизни из чистого таежного родника, оставленного ей Майис, и унаследует отцовскую незамутненность.

Мария стала намеренно уклоняться от бесед с Изочкой о Литве. Боролась с собой.

## **Глава 14**

### **Призрак**

В несчастливый день одну из товарок, с которыми Мария обычно возвращалась с работы, зачем-то задержали в проходной. Пережидая заминку, попутчицы столпились на крыльце конторы. Сбоку слои тумана прореживал папиросный дым. Расплывчатые силуэты курящих внизу мужчин шевелились, как тени больших рыб в полынье.

– ...еще себя проявит, – донесся веский голос бухгалтера Полушкина. – Поглядим, время долгое.

Кто что проявит, Мария не расслышала, но в словах померещился неприятный намек. Привыкшая быть настороже, она почувствовала смутное беспокойство, и тут незнакомый мужчина, облаченный, похоже, в форменный овчинный тулуп, повернулся ближе к окну. В лучах рассеянного потемками света на плече тускло блеснула звездочка.

Отпрянув, Мария прислонилась к стене. Студеный страх пополз вверх от подошв, дрожащим желе разлился в коленях...

Василий. Майор. Верный исполнитель распоряжений заведующего рыболовным участком № 7. Явился по команде Тугарина осуществить вынесенный спецпоселенке приговор. По островному закону она должна понести наказание за то, что свидетельствовала против бывшего хозяина. Задержка реабилитации из-за письма Дженкинса – лживая отговорка. Это Тугарин наглухо затормозил рассмотрение дела. Судьба-злодейка, в своем репертуаре, учла коварство короля мыса, не поленилась выковать в цепи злочлукений Марии петлю нового рокового звена.

Мария недооценила подпольную власть Тугарина, его мстительность, криминальные способности и знакомства. Недаром говорят, что хозяевам жизни и в тюрьме вольготно. Холуи продолжают выполнять их приказы, их преступному разуму тайно подчиняются начальники, их дьявольскими

замыслами опутана земля... Все время отсидки Змей посредством личных секретных служб искушал Марию грезами и химерами, несбыточными посулами, – наигрался и послал милиционера убить ее. Дерзкая женщина осмелилась выступить против самого Змея, а такое не прощается.

Пытаясь превозмочь панику, Мария встряхнулась. Ноги повиновались неохотно, но все же стронулись, понесли, и простеганный ватниками круг раздвинулся. Она бросилась вниз по ступеням.

– Куда ты?

Беглянка не ответила, не обернулась. С единственной мыслью – спастись, спущенная тетивой древнего инстинкта, мчалась она прочь от конторы.

Сердце всполошенным комком трепыхалось у горла. Тяжко дыша мокрым воздухом замотанной до глаз шали, Мария неслась домой наугад. Открытая между шалью и шапкой полоска лица взялась цепкими зарослями инея. Объятое туманом пространство, медленно расступаясь сквозь наросты куржака, притворялось необитаемым, но скрип страшных шагов безотвязным эхом звучал в висках. Рассудком владел ужас погони. За Марией, бегущей стремглав, неспешно шагал огромный и мгlistый майор Василий... он же Змей... Призрак Змея.

Голосом бухгалтера Полушкина преследователь глумливо повторял за спиной: «Время долгое... Время до-о-олгое...» Кто подсказал ему, что Мария торопит дни и обрывает листки календаря задолго до окончания суток? Убийца сократил ее ссылку, отмерив остатки времени расстоянием вытянутой руки... Если бы чья-то рука коснулась в это мгновение плеча Марии, она бы, наверное, умерла на месте от разрыва сердца.

– Эй! – окликнул за периферией сознания человек у магазина. – Эй, остановитесь, легкие поморозите!

Человек, вне сомнения, был подослан, чтобы она оглянулась.

Мария побежала быстрее, и шаги позади участились. Призрак шел, неумолимый, как смерть. Затылок жгло стужей адского взора. Казалось, стоит оглянуться, и все пройдет – странные судороги в темнеющей голове, страх, холод, чертов морок... Она вдруг догадалась, что находится во власти одного из своих наваждений-снов. Дремлет на бегу с открытыми глазами. Просто мозг не выдержал и болезненно отреагировал на туман и переутомление. Она не сошла с ума, она спит. Но в любом случае лучше не оглядываться.

Впереди слабо забрезжили желтоватые квадраты – сами по себе автономные окна, повисшие в непроницаемой пустоте зимы. Окна парили в воздухе, отвергая закон земного притяжения. Обман, опять обман... Зима

только снаружи оставила окна свободными, внутри же сковала льдом. А свобода – это когда ничто не сковывает, не душит и не подавляет. Когда внутри и снаружи легко и чисто... Без равновесия окнам не уйти, и ног у них нет. Вот у Змея ноги длинные. Целые бревна. Позорные столбы... Кааки... Стоят рядом с окнами и поскрипывают – тихо, вкрадчиво. Не уходят.

Ноги Марии тоже никуда не шли. И не стояли. Призрак подсек их под колени, поэтому окна взлетели в небо. Она лежала на утоптанном до каменной твердости насте тропы в двух шагах от двора общежития, как муха, вмерзшая в молоко. Полы одетого поверх пальто ватника расстегнулись и раскинулись по сторонам серыми крыльями. Тело не ощущалось почти до пояса. Руки пока еще слушались.

С неизвестной по счету попытки локти сумели чуть-чуть приподнять одеревенелую спину, и лицо по инерции запрокинулось. Отвлечшись на усилия, Мария забыла о спутнике, а едва взглянула вверх, он тотчас склонился над ней. Так долго не оглядывалась, чувствовала – нельзя смотреть в пустоту, где нет ничего, кроме безумия. Знала.

...Это был не Змей. Провалами колодезных глаз уставился на Марию Железнодорожник, призрак из прошлого.

Коготь беспредельного ужаса зацепил и вздернул кровоточащую в сердце рану. Обломки эфемерных надежд, вера, мысли, воспоминания устремились в зимнюю пропасть. Пещерным факелом, бело-пятнистым огнем горело над Марией изрытое оспинами лицо. Меняя очертания, оно безостановочно колыхалось и кривилось в гримасах зловещих ухмылок. Сквозь дыры просвечивали полусвободные окна. Из пальцев разлапистых рук струились дымчатые ручьи.

Мария помнила эти нечеловеческой силы руки. Помнила их всегда. На товарной станции в Каунасе они отобрали у нее сына.

...Не демонов ли призвал «жених», поклявшись отомстить отвергнувшей его девушке? Спустя некоторое время ему удалось это сделать. В тот июньский день, шестнадцать лет назад, Мария потеряла сознание от внезапности нападения Железнодорожника и всепоглощающего, смертного страха, хотя вокруг были толпы людей. Красноармейцы зашвырнули бесчувственную женщину в вагон, ребенка спасла мать Хаима... по его словам.

Через неделю, когда «скотский» эшелон, сверх всякой меры нагруженный переселенцами, вез убитую горем чету Готлибов по Транссибу на север, в Каунас вошли полки вермахта. Сообщение ввергло Марию в безысходное отчаяние. Она очутилась наедине с невыносимым

кошмаром. Бесконечная армия шагала перед ее глазами по аллее Свободы. Под звуки знакомого еще с Клайпеды кайзеровского гимна: «Дойчлянд, Дойчлянд юбер аллес!»<sup>[64]</sup> войска Гитлера шли расстреливать и жечь. Солдаты поворачивались, целясь автоматами в детей Каунаса, и Мария видела лица, лишённые всего человеческого. В какой-то жуткий миг они сливались в одно гигантское рябое лицо... Только бережная любовь мужа смогла вырвать Марию из душевного паралича.

Теперь Хаима рядом не было. А Железнодорожник, отняв сына у матери, не успокоился, разыскал ненавистную женщину, чтобы свести ее с ума и осиротить второго ее ребенка.

Нависшая над дочерью угроза сиротства заставила Марию опомниться, но тело уже безнадежно онемело, и руки перестали шевелиться. Тогда она сделала единственное, на что подвигла ее сила раненого сердца: она закричала.

## Глава 15

### От ностальгии не лечат

Суставы и кости ныли, будто тело сплошь состояло из больных зубов. К тому же оно приросло к кровати. Казалось, если встать, не остерегаясь движений, обдерется кожа. Впрочем, Мария вообще вряд ли сумела бы подняться. Ее словно пытали недавно. Голова была пустынной и гулкой, точно земля после оледенения. Но Мария очнулась и слышала, как пульс выстукивает время с оттяжкой заржавленных часов.

Что же с нею случилось? Вчера или раньше?

Ватную тишину комнаты прорвал незнакомый мужской голос. Раздались журчание, плеск, и забряцал стерженок умывальника. Мария забеспокоилась – в доме какой-то чужой человек, все ли в порядке у нее с одеждой?

Голос осведомился:

– Вы можете сказать, сколько примерно времени ваша жена пробыла в снегу?

Чья жена? Кто кого спрашивает? О ком?

– Н-нет, – запнулся голос Павла Пудовича. – И я не муж ей. Я сосед.

– Она что-нибудь говорила?

– Только кричала. Я за дровами вышел и услышал, как человек кричит за воротами. Да я рассказывал уже.

Мария вспомнила яркое, мелькнувшее зарницей чувство спасения и

защищенности – живой, не призрачный мужчина нес ее на руках.

– Что именно она кричала?

– Без слов... Ах да, после того, как мы влили ей разведенный медицинский спирт и растирали медвежьим салом, бредила непонятно. Разобрал вроде «Каунас», что-то о железной дороге, и всё. Потом сразу уснула.

– Спирт медицинский? Откуда?

– Я в ветстанции работаю...

...И это было вчера: резкий этиловый запах, живительный огонь, мгновенно опаливший желудок, резкая боль в уголках отмирающего тела, – чудилось, кожа горит и кровь вскипает. Потом боль стала меньше, мельче – точечная, игольчатая, послышался усыпляющий рокот моря, будто к ушам приставили раковины, накатила темень...

– Вы все правильно сделали, успели в самый критический момент переохлаждения. Обморожений нет.

Незнакомый голос, видимо, принадлежит врачу. Ей вызвали врача. Стул скрипнул, на столе зашуршала клеенчатая скатерть.

– Вот рецепт и справка для выписки больничного листа, сходите сами, в регистратуре выдадут. Думаю, недельку отдохнуть не помешает. Лишь бы последствий не было. У женщины малокровие, требуется усиленное питание, витамины. Вероятно, от слабости упала.

– Она... устала очень, – трудно выговорил Павел Пудович. – Может, нервный срыв.

– Мария сильно скучает по Литве. – В робком детском голосе звучали оправдывающие нотки.

– А ты кто? – Кажется, врач только что заметил Изочку. – Тоже соседка?

– Нет, я ее дочка, просто привыкла с детства по имени маму называть.

– Если с детства, тогда понятно, – засмеялся врач. – Вы, стало быть, из Литвы?

– Там мамина родина.

– М-да, – сказал он, помешкав. – К сожалению, препаратов против ностальгии наука еще не изобрела. От тоски по родине лечит только родина, медицина тут бессильна... Что ж, смотри за своей Марией хорошенько. Ей нужен покой и уход.

Павел Пудович пошел провожать врача.

На лоб легла прохладная Изочкина ладонь, и в груди Марии защемило от прилива недавнего страха навлечь на ребенка несчастье. Тяжелыми волнами прихлынуло, вспомнилось вчерашнее: звездочка на погоне,

блеснувшая в туманном свете, явление милиционера Васи в контору, паническое бегство... что-то облачное шагало позади... преследовал кто-то огромный... Бык Мороза, подумала Мария и усмехнулась краем губ.

Ну, приходил Василий в контору. Ну и что? Ничего дурного он не способен сделать. Не убьет же, в самом деле, с чего она вообразила? Павел Пудович прав, временное помешательство нашло на нее из-за напряжения нервов. Погоня, ходячий кошмар, парящие в воздухе окна – все померещилось. Все, кроме страха за дочь. Счастье, что этот страх перешиб тот, мнимый, и не дал умереть. Даже если майор каким-то образом сумеет навредить и Марии с Изочкой придется остаться на Севере, значит, надо выдернуть жала змеям-мыслям и жить дальше. Разве так уж здесь плохо? Есть жилье, стабильный заработок, люди вокруг добрые, ребенок здоров... Не слишком ли многого требует она от жизни? Как бы начальник к ней ни относился, с работы не выкинет, самому не справиться с бумажной волокитой, полностью возложенной на плечи сотрудницы. Сколько раз уже казалось, что все кончено и бороться не стоит...

Человек живет сравнениями. Крайняя юрта на Мысе Тугарина была единственной, где голод никем не поживился. По сравнению с другими юртами... А каждой ли женщине подарено счастье быть любимой так, как ее любил Хаим? Свет этой любви хранит Марию и сохранится в ней до последней минуты. Все познается в сравнении, и, получается, прав многомудрый сосед, чья неизменная доброта искупает банальность его присказок-поговорок. Нужно научиться жить, помня о том хорошем, что подарила судьба. Ведь у других и того нет. Век живи, век учись – век человеческий слагается из тривиальных истин, проверенных тысячами судеб.

Мария не давала ожиданию снова взять над нею ослабляющую власть и, как велел доктор, усиленно питалась, дивясь умению дочери готовить вкусные блюда из привычных продуктов. Изочка завела особую тетрадку, куда вклеила вырезанные из «Работницы» и «Крестьянки» кулинарные рецепты...

Бухгалтер Полушкин самолично принес зарплату, ведомость на роспись и кулек сухофруктов.

– Звонил сосед твой Никитин. Сказал, заболела сильно, не выдадите ли, мол, получку на дом, требуется витаминизированное питание. А мне сват как раз лакомство с юга отправил, дай, думаю, схожу, и не стал кассиршу тревожить. Вот урюк – не магазинский, домашний, изюм без косточек, чернослив. Гляди, какой мягкий, умеет сватья вялить, тут и витамины, и солнце южное... Ты давай быстрее поправляйся, директор без тебя как без

рук. Спрашивал, может, нужно чего, лекарства редкие – достанем, говори, не стесняйся.

Подтвердил приход милиционера в контору.

– Был, ага, лекции читал в отделах, только с директором не успел потолковать. Инструкцию повесил у охранников на стене. Новые порядки завелись, строго курить будут. Через наши склады все-таки большой объем продукции идет.

– Майор?

– Майор.

– Лет тридцать пять?

– Моложе. С сыном Петровича учился, тому двадцать семь.

– С сыном технолога Алексея Петровича? – пробормотала Мария. – Не может быть... Майору должно быть около тридцати пяти лет...

Не слушая ее, Полушкин осуждающе качнул головой:

– Пороху не нюхал, а поди ж ты, со званием, важный, пешком не ходит! Мы с Петровичем и завскладом домой собрались, а этот молодой говорит – погодите, за мной сейчас шофер приедет, на машине вас подвезу. Пока ждали, авторитетно так заявил: зря, мол, Москва иностранцев летом на фестиваль вздумала пригласить. Наедут всякие с буржуйскими замашками, нам оно надо? Кому веселье, кому лишние хлопоты. Меня, говорит, с нашей молодежной группой отправляют за дисциплиной следить... Поди пойми, то ли посетовал, то ли мальчишечье взыграло и решил перед отцом одноклассника похвалиться. Петрович ему: «А сам-то ты – не молодежь? Люди везде одинаковые, напрасно об иностранцах огульно судишь». Петрович-то, он, слышала, поди, на Эльбе с союзниками братался. Завскладом тоже поддерживает: пора, говорит, нам со всеми дружить, и войны в мире больше не будет. А майор говорит – как пить дать, вынюхивать что-нибудь станут подосланные шпионы. Я тогда сказал, что шпионов, конечно, пришлют пять-шесть штук профессионалов, не без того. Ведь и наши за границу без наблюдателей не ездили. Молодец, гляжу, аж взвился: то, говорит, наши, а то – ихние! Аж подозрения у меня закрались: неужто, думаю, всерьез осуждает внешнюю политику партии? А еще милиция! Либо, что хуже, провоцирует за чем-то? Прямо рассердил он нас! Я ему говорю: не простое намечается мероприятие – во-первых, дружественное, во-вторых, демонстрация наших достижений. Нам стыдиться нечего, а гордиться чем – есть! Вот, говорю, увидите, товарищ майор, раз взял наш ЦК курс на укрепление отношений с капстранами, международное сотрудничество с лучшей стороны себя проявит. Поглядим, говорю, время долгое. А он говорит...

Мария устала кивать. Память у разговорчивого Полушкина оказалась страстная и внимательная, несмотря на солидный возраст. Бухгалтерская. Убедил старик: не Василий посетил контору, другой милиционер, с другим, не касающимся ничьей свободы, заданием...

Спустя полторы недели на улице потеплело, занятия в школе возобновились. Стихийные попытки встать на ноги Мария предпринимала не раз, но все как-то безуспешно. А в отсутствие дочери подготовилась и рискнула. Так хотелось порадовать Изочку, встретить ее у двери.

Головокружение и слабость, ударившая с зябким потом, не обеспокоили, их следовало ожидать. Испугала немощь ног. Подломились в коленях, и если бы Мария не схватилась за стол, не легла бы на него грудью, то неизвестно, как поднялась бы с пола. Еле перевела дух, сползла со стола и, опираясь на табурет, с трудом забралась в постель. Ноги, бывало, обессилевали, иногда «западали» пальцами, она к этому привыкла, подозревая нехватку кальция в костях, но чтобы совсем не держали?.. Такое случалось только на мысе, если не считать «сумасшедший» день.

Обескураженная, Мария снова растянулась на кровати. Ругая предательские ноги, отгоняла смятенные мысли, да как думу от себя скроешь? Неладно было с почками. Не помогали ни Изочкины взвары, ни настои Матрены Алексеевны. Лицо к утру неузнаваемо отекало, набрякшие веки саднили. Надавишь пальцем на вспухшее запястье – надолго оставалась вмятинка. Не проходило ощущение припекшегося к пояснице чугунного противня, тяжелой воды во всем теле, а силы истекали куда-то...

Вызванный к вечеру доктор, почесывая переносицу, хмуро сказал:

– Вот и последствия «ностальгии»... Острая уремия, отягощенная хроническим пиелонефритом. Почки воспалены, нарушена проходимость мочеточников. Необходим стационар.

## **Глава 16**

### **Опоздала свобода**

Наступили ветреные, звонкие на переломе зимы вечера, подернутые засиневшим туманцем. Лед на оконном стекле истончился, вода пропитала свернутую канатиком марлю на подоконнике и побежала с нее в подвешенную бутылку. Ночью бутылка переполнялась, и звук бьющихся о половицы капель будил Изочку. Окно плакало: кап... кап-кап... кап-кап... На мощной голове Быка Мороза зашатался и упал один рог, потом незаметно обломился второй. Снег просунулся, осел, вода под ним

опробовала хрипловатый поначалу голос и, вобрав в себя утоптаный наст и сугробы, повлекла с гортанными ручьями к рекам растаявшее бычье тело.

Мария продолжала лежать в больнице. Изочка ежедневно бегала туда после школы. Передавала в окошко санитарке бутылку с брусничным морсом и вслушивалась за дверью в обрывки разговоров – вдруг что-нибудь скажут о больной по фамилии Готлиб? Спросить у врачей почему-то боялась.

В начале июня дядя Паша привез Марию в повозке ветстанции. Перенес на руках в комнату и уложил в гнездо, сооруженное Изочкой на кровати из подушек и одеял. День казался праздничным... Изочка была рада, но не сказать, что счастлива. В больничную палату ее стали пропускать месяц назад, и тогда, как сейчас, она видела: состояние Марии не улучшилось.

Назавтра произошло большое событие: явился посыльный из ведомства, которое Мария просто «ведомством» и называла. Вручил справку с длинным номером, скрепленную печатью и подписью председателя судебной коллегии Верховного суда Якутской АССР. Дело в отношении Марии Романовны Готлиб было «...прекращено производством в связи с освобождением от спецпоселения».

Мария еще не слышала о том, чтобы свободу кому-то, как бухгалтер Полушкин зарплату, доставляли на дом. Значит, «там» знали о болезни ссыльной и выписке ее из больницы.

Когда посетитель ретировался, зашла Наталья Фридриховна. Взяла со стола ничтожную по виду, огромную по значению бумажку и взбешенно фыркнула:

– «В связи с освобождением»! А где слова о невинности, хоть какое-то подобие извинения?

– Многого хотите, – невесело усмехнулась Мария. Подчеркнуто суровый сотрудник не пожелал добавить к выдаче справки ни одного неофициального слова. Ничего не сказал просто так, по-человечески, что хоть немного смягчило бы горечь перегоревшего ожидания.

Нарочно распахнув дверь, Наталья Фридриховна громко закричала:

– Мария, счастье-то какое! Кончилась ссылка!..

И снова заглядывали соседи – вчера несли гостинцы и желали здоровья, сегодня поздравляли с получением долгожданного документа.

Матрена Алексеевна всплакнула:

– Господи, миленька моя-а! Ох и крупные годы мы сообча пережили!.. Уедете с Изочкой, так пишите, не забывайте нас... А комод свой, Мария, никому не продавай, я возьму... За скока скажешь, за стока и возьму...

Дочь красиво причесала и приодела Марию в нарядное синее платье для паспортного снимка – Семен Николаевич привел знакомого газетного фотографа. Статус неблагонадежности снят, пора получить вместо удостоверения личности настоящий паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик.

Мария любовалась дочкой – красивым, пышущим здоровьем ребенком, радовалась ее радости. Научилась в больнице останавливать в памяти, как на фотографии, драгоценные мгновения жизни, полюбила перебирать их, переживая заново бессонными ночами. Она знала: свобода опоздала к ней. Освободить из новых оков, повязавших пленницу, не сумела бы теперь вся власть страны. Волен был избавить только Тот, Кто не подчиняется ничьей власти.

– Ты же поправишься, Мариечка? – заплакала дочь вечером.

«Догадывается», – с печалью подумала Мария. Больше девочка не задавала этот вопрос. Поняла, что у матери нет на него утвердительного ответа.

Приходящая медсестра каждый день ставила уколы. Павел Пудович по подсказке врача добыл у спекулянтов дефицитное лекарство в ампулах, утишающее боль.

– Вы стойкий человек, – убеждала Наталья Фридриховна. – Выкарабкаетесь.

Мария впервые при ней вспомнила Хаима вслух:

– Стойким был мой муж. Как дерево на скале. А я... меня вынудила к стойкости его смерть.

– Почему ты сказала о папе «как дерево на скале»? – спросила Изочка позже.

– Он, доча, таким и был – крепким деревом в каменном грунте. Бури крутили его, крутили, не сумели ни согнуть, ни сломать и выкорчевали с пластом камня. – Мария отметила, что неожиданно для себя выразилась поэтично.

Она держалась не упорством – терпением. Не жаловалась и по-прежнему никого не впускала в свой мир, но взгляд стал мягче и открытее. Печаль знания о близящейся «другой» свободе позволила ей снять жесткую узду с подавляемых чувств.

Замурованное в хвори время двигалось болезненными однообразными рывками, часы сна плыли отданной на волю памяти каруселью, с которой все труднее становилось сходить. Тихо и виновато угасала Мария в тоске по дымчатым балтийским волнам, вздутым муссонным ветром. Осязая во сне мятное дыхание кленов и лип, скользила тенью в лучистой ряби аллей,

по воде у парапета набережной; слышала неспешное движение в утренних домах, воркующий женский смех и чьи-то легкие шаги. Из прохлады вечернего воздуха прорывались к ней смешанные запахи морского порта, густоцветного лета и аромат кофе с крыла кисейной занавески в открытом окне, машущей кому-то вслед. Беглый взгляд праздно плутал по разветвлению улиц, переулков, эспланад, в бездумном блаженстве выхватывая всплывшие из подсознания детали городского пейзажа, милые мелочи, мимолетные улыбки в колыханиях приливающих к площадям толп, и ни на чем, ни на ком не останавливался. Мария целовала солнечное лицо Клайпеды, теплые древние щеки ее в трещинах мостовой. Целовала соленые губы залива, призрачную землю, дюнным песком струящуюся сквозь анемичные пальцы...

Милосердные сны воспринимались подлинным освобождением, полноценной, возликовавшей в яви надреальностью. Пробуждение почти всегда было глухим и страшным, как пинок кованого сапога в поясницу. Недуг беспощадно возвращал душу в боль и стон искалеченной холодом плоти. Вместе с тем мгновенно осмысливалась необходимость собрать остатки душевных сил и улыбаться – без видимого напряжения улыбаться дочери, соседям, навещающим чаще, чем бы этого хотелось. Опасаясь выдать себя, Мария следила за лицом и забывала о руках. Тревогу пальцев, в безотчетном порыве шарящих по постели, умирляли янтарные бусы, подсунутые чуткой Изочкой. Мария перебирала медвяные камни, отполированные любящими руками мужа, и боль стихала.

Он давно не снился. Наверное, не желал беспокоить заранее, ожидая жену за гранью времен. А может, не знал, что она струится к нему последней живой кровью, не хотел докучать...

Однажды вспомнилась его рассудительная реплика: «Безвыходных ситуаций, кроме смерти, не бывает. Да и смерть, вероятно, выход. Или вход?»

«Я выхожу туда, где светло...» Где светло...

Чете Готлибов изначально было суждено остаться погребенными в одной земле. Мария смирилась с мыслью о смерти, испытывая вину перед жизнью: она не любила ее без Хаима. Она любила дочь.

Матрена Алексеевна уже не напоминала о продаже комода. По тому, с каким скорбным лицом соседка принесла и поставила на комод бумажную иконку Николая Чудотворца, Мария поняла, что дни ее сочтены.

– Молись, мамочка, – просила Изочка. – Ведь бывает чудо: просишь-просишь Бога, и вдруг нечаянно выздоравливаешь. Тетя Матрена сказала – бывает, правда!

– Я молюсь...

Ежедневно, ежечасно, пока не спала, Мария молилась о дочери.

– Бредит, – шептал Изочке Павел Пудович и, вздыхая, смягчал кедровым маслом обметанные лаковым гляncем губы Марии.

Она знала – сосед взял бы на себя бóльшую часть забот, свалившихся девочке на плечи, но не решался предложить помощь. А Изочка и не позволила бы. С трогательной готовностью ухаживала она за матерью. За все каникулы ни разу не отпросилась поиграть с окрестной детворой. Любимый Изочкин лес без нее благоухал шиповником и земляникой, потом наполнился грибными запахами, словно воздух сырного погреба, и, наконец, задышал осенней, чуть банной березовой дымкой. А Изочка в это время варила еду, стирала, сушила и гладила бесконечные прокладки с разводами крови, мыла Марию губкой, подстилая под ослабшее тело старую клеенчатую скатерть, втирала мази, заворачивала в прогретые пеленки...

Медсестра продолжала ходить аккуратно и, поставив укол, изумлялась с грубоватой прямоотой:

– Надо же! Похудели как, а кожа не дряблая, до сих пор пролежней нету!

Целительную энергию Майис чувствовала Мария в маленьких руках дочери. Эти решительные руки выминали ее тело с упругой и ласковой силой. Изочка обладала удивительной интуицией – тем, что якуты называют «зрением пальцев». Хваткие пальцы двигались ритмично, как гребцы на веслах, точно определяли, где усилить, а где ослабить массаж, и вялотекущая кровь оживала.

– Ты устала, хватит, – пугалась Мария теней утомления под глазами девочки.

– Не устала, – упрямылась та. – Мне интересно, я как будто леплю тебя из глины...

За ужином Изочка клевала носом и вдруг резко вздрагивала:

– Мамочка? – она перестала называть Марию по имени. – Мама?!

– Все хорошо, – отвечала Мария бодро. – Ложись спать.

– Я сейчас... Я немножко помолюсь. И ты помолись о себе на ночь, ладно?

– Ладно.

Мария послушно молилась о себе. «Господи, прошу! Пусть скорее придет то, что должно! Надорвется дитя...»

## Глава 17

### Не северное деревце

В день рождения Изочки Марии, как по заказу, полегчало. Утром она согласилась поесть геркулесовой каши и впрямь съела почти полтарелки. Привычная боль отдалилась, ныла где-то на кромке сознания, и даже подумалось мельком: «А что, если?..» Захотелось сесть, попросила дочь сложить за спиной подушки.

– А ты не ходи сегодня в школу, – заглянув, предложил Изочке Павел Пудович. – День рождения – причина веская, и я с работы пораньше слиняю.

– Классная руководительница справку потребует.

– Нич-чо! – весело махнул рукой сосед. – Нарисуем тебе справку, а что печать ветеринарная, так кому какое дело? Может, у тебя, к примеру, колики начались в копыте правой задней ноги!

– На преступление толкаете? – притворно нахмурилась Мария.

Изочка заметила мамину игру, обрадовалась:

– Не надо преступления! Я так отпрошусь.

Поставила на табурет перед кроватью чашку с чаем, накинула пальто с капюшоном из оленьего меха от старой детской шубки. Ушла...

Мария смотрела в окно. Иней еще не расписал его узорами. Зима, кажется, не будет слишком морозной. На улице легкий ветер, но не холодно. В стекло мягко постукивает ветка с гроздьями ярко-оранжевых рябиновых ягод.

Павел Пудович привез деревце в позапрошлом году. Посадил, и прижилась южная жительница всем на радость. Студеной зимой сосед закутал ствол в старый тулуп, веточки осторожно обернул тряпками. Рябинка выдержала нашествие Быка Мороза, не замерзла. А нынче дала плоды, не обильные, но такие красивые... Матрена Алексеевна предлагала сорвать, сварить варенье – полезное, говорят, – Изочка не разрешила. Марии нравилось смотреть на рябинку.

Жаль, что не попросила Павла Пудовича купить Изочке кулек конфет «Раковая шейка» ко дню рождения, она их любит... Мария с трудом нагнулась, достала из-под края матраца заветную шкатулку. На ладонь выкатился янтарный кулон.

Сорвала судьба плод незаконченной жизни, унесла со злым ветром в неизвестную даль... Вот и Марии бы куда-нибудь унести. Будь она

волчицей, уползла бы в чашу, почуяв смерть. Умирать на глазах у своего ребенка жестоко.

Недавно Мария нарушила табу не говорить о смерти.

– Скоро я уйду к папе, доча. Только не плачь, слушай...

Изочка закусил губу и отнеслась к сообщению стойко. Дала слово когда-нибудь поехать вместо матери в Клайпеду.

– Mamочка, а не навсегда можно?

– Можно, – вздохнула Мария. – Только вот о чем тебя попрошу: принеси к морю подарок фрау Клейнерц и брось его подальше. Как будто мы с папой вернулись...

– Хорошо.

– Серебряные серьги возьми себе. А янтарные бусы пусть будут у меня на шее.

Дочь все-таки не удержала короткого рыдающего всхлипа, но твердо сказала:

– Я сделаю все, как ты хочешь.

Был еще договор с Павлом Пудовичем. Он обещал позаботиться о девочке. Надо сегодня же написать письмо с просьбой в горисполком, а то ведь не отдадут ребенка одинокому мужчине даже на время. Павел Пудович оповестит Гарри Перельмана и Гринюсов о кончине Марии, и кто-нибудь из них примет Изочку. Ей-то наверняка не возбраняется жить там, где она пожелает. Если пожелает. Может, все-таки выберет Каунас...

Всего пятьдесят рублей осталось под письмами и облигациями в шкатулке. Как дальше жить?

Жить... С этой мыслью Мария унеслась в сон.

В полости пустого, без грез, времени она в беспокойном ожидании прислушивалась к тому, что подкрадывалось к ней с тонким змеиным шорохом. Это было не блаженное «клайпедское» полузабытье, а нечто другое, всходящее из тумана прошлого запоздалым эхом, выскользнувшей частью пошевеленного сна... Из беспросветной мглы проявились стенки полузасыпанного колодца, отдающие тусклым свинцовым блеском. Медленно кружа, раскидывая вокруг комья мерзлого дерна, они надвигались со странной настойчивостью, подступали ближе и ближе. Мария попробовала оттолкнуть колодезный сруб руками – пальцы провалились в холод. Отдернула в ужасе, стряхнула с них тяжелую ртуть небытия. А колодец начал вращаться быстрее, становясь шире и глубже. Страшный водоворот приблизился вплотную к глазам, завертелся так, что высветленные стенки превратились в литой круг, прозрачный, как кусок озерного льда. Издалека донесся глухой самолетный гул.

Она уже видела этот сон когда-то... Когда? Не могла вспомнить.

...Город суетился развороченным муравейником, по дорогам неслись машины, мотоциклы, по обочинам громоздились брошенные подводы. Сирены выли с крыш домов, отвечая авианалету. Вой взмывал, опускался и снова взвивался наступательными хрипучими волнами. Воздушная тревога заставила кинуться врассыпную колонну людей. В сумятице раздались автоматные очереди, где-то неподалеку послышался стремительно нарастающий металлический свист, удар, и земля сотряслась. Между зданиями рядом с дорогой поднялся фонтан головастого, как медуза, пыльного дыма. Самолеты бомбили город. Им отвечали зенитки, улицы исчезли в пороховых облаках и в дыму горящих зданий. С поводков конвоиров в черной форме СС, визжа, рвались перепуганные собаки. Люди с нашитыми на одежду желтыми звездами слепо метались, наталкивались друг на друга, падали, барахтались, прикрывая головы руками.

«Звезда Давида, – подумала Мария. – Эти люди – евреи».

Но вот грохот зениток смолк. Бомбардировка кончилась, и охранники с деревянными дубинками ринулись собирать рассыпанную колонну. Распахнулись ворота, широкие, массивные, опутанные поверху колючей проволокой. Такие были, кажется, в старинных укреплениях Каунаса, в каком-то из фортов, где располагалась тюрьма. Евреев загнали в ворота и повели...

Здесь стояли деревья, среди зелени белела отцветающая черемуха, земля под нею словно снегом присыпалась... Беззвучно крича, охранники, похоже литовцы, принуждали пленников раздеться, тыкали дубинками в спины женщин, били по плечам мужчин. Два вороха – тряпья и обуви – росли, росли...

Мария зажмурила глаза – там, во сне. Она что-то смутно вспомнила и не хотела узнавать это снова, она бы сошла с ума от этого, но сознание, вернув часть парализованного воспоминания, не собиралось вновь его отключать. Закрытые глаза видели все со сверхъестественной ясностью.

Люди тщетно пытались спрятаться друг за друга. Голые мужчины обнимали голых родителей, жен и детей. С краю обувной груды кто-то аккуратно поставил маленькие коричневые ботиночки. Они блестели, несколько не запыленные, значит, ребенка несли на руках.

Глаза Марии перебегали с одной обнаженной фигуры на другую. Почти все лица были опущены, и на немногих открытых застыли гримасы ужаса, только слезы лились и мелко дрожали подбородки. Среди темноволосых головок детей она не увидела ни одной светлой,

**но, может, белокурый ребенок находился внутри толпы...**

В звенящем безмолвии раздался одинокий крик. Мария поняла, что кричит наяву, сопротивляясь помрачению, которое собралось накрыть ее голову валом безудержных воспоминаний. А тело ощущало неодолимую тягу, его куда-то влекло с болезненной силой, и Мария вдруг испугалась, что проснется, выйдет из приневоленного кошмара. Нет, не сейчас, нет, нет... Она с лихорадочной надеждой вглядывалась в глубину памяти, ища себя – себя потерянную, оцепеневшую от невыносимой беды, с клубком неразмотанного видения в руках. И когда в круговерть, неразличимую человеческим оком, прыснула разгоряченная кровь, а брешь слизнула ее, как жертву, колодец, дрогнув, остановился. В круглых стенках сверкнула пламенеющая лавой бездна – не пустая, с ослепительным ядром в фокусе, и потрясенная память повиновалась движению. Головокружительный круг начал обратное вращение, раскрутился и помчался вспять, к тому фрагменту сна, где каратели еще не собрали разбежавшуюся колонну.

...То ли советские бомбардировщики, то ли люфтваффе лавировали в тучах дыма и кровавых отблесках пожара. Пронзительный вой сирен, толчки содрогавшейся земли, залпы, взрывы, трескотня автоматов, крики и стоны, визг ополоумевших собак – все слилось в сплошной вопль. Подгоняемая ужасом толпа вспенилась посреди улицы, оглушенные люди звали друг друга, в давке и сутолоке никто никого не слышал. Солнце исчезло, дома и земля подлетали кверху, сузившийся мир казался вздыбленной глыбой горящего железа. Гигантскими кучами перекасти-поля колобродила, трепыхалась, напирала то вправо, то влево распаленная страхом толпа. Хаос кричащих лиц, тел, ног катился по дороге. Под сапогами карателей ломались чьи-то кости, в дымном угаре занимались языки пламени, пахло паленой шерстью и жженой одеждой...

Сумев спастись в этом бедламе, цепь стражи оттеснила мельтешащую массу от входа в переулок, и тут совсем близко взорвалось здание. Поднялся ураган пыли, иссеченный крошевом кирпича, щепками, осколками стекол. На одного из конвоиров упал кусок пилястры. Цепь распалась, отвлеклась и замешкалась, в освободившийся промежуток хлынул людской поток. В начале толпы, с быстротой снаряда и большим отрывом от остальных, в порыве крайнего отчаяния и решимости неслась дородная пожилая женщина. Черный факел волос стелился за нею в вихре сумасшедшего бега, шею обвивали ручки ребенка, спрятавшего лицо на ее плече...

Мария подалась вперед, в груди что-то зазвенело туго натянутой

струной... подпрыгнуло к горлу, лопнуло...

Ребенок был светло-русый.

Застрекотали автоматы, веером покосило часть выбившихся в переулок людей. За другими кинулись каратели, и пока они, группируясь по двое-по трое, ловили, дубасили и расстреливали беглецов, женщина с малышом, не замеченная преследователями в густых клубах пыли, юркнула в двери открытого подъезда какого-то дома...

На долю секунды она обернулась, и Мария увидела ее лицо. Впервые. Так получилось, что в Каунасе невестка Готлибов ни разу не встречалась со своей свекровью, видела ее только на фотографиях – важную, полную надменного достоинства даму. Теперь в перекошенном безмолвным криком лице матушки Гене не осталось и следа прежнего высокомерия. Искривленный угол рта дергался в страшном тике, щеки и лоб кромсали резкие морщины. Но в глазах не было паники. Все материнское горе земли вместили в себя эти разучившиеся плакать, горящие сухим блеском глаза. Беспредельная скорбь пылала в них черным огнем. Скорбь, которая не поддается ни времени, ни забвению и не перестает кровоточить до тех пор, пока измученное сознание не возьмется обрубить часть памяти, как кусок отмершей ткани, чтобы спасти человека от смерти.

...Струя холодного воздуха прорвалась извне, хлестнула Марии в лицо. Откинувшись на подушки, она проснулась. Невероятное напряжение сна действительно заставило ее наклониться вперед. Скрюченное тело покрылось потом и мелко дрожало, сердце подскакивало на качелях смятения, перекрывая горло. Дыхание никак не могло восстановиться.

Рябинка тревожно стучала в окно. Началась вьюга.

В комнате сумеречно, а на улице бело, Изочке будет тяжело идти... Мария задышала часто-часто. В сердце искрами, бликами вспыхнула оглушительная и хмельная, неподавляемая вьюгами радость. Жив!.. Сын жив! Матушка Гене сберегла кровь Хаима и Марии, смешанную в плоде их любви. Род Готлибов не прервался.

Острое желание подтвердить обретение въяве, хотя бы несколько мгновений подержать сына на руках, ужалило раскаленным железом. Осязать, трогать, чувствовать тепло прижатого к груди живого тельца... Сквозь сумбур желаний, дум, вертящихся на языке нежных слов поздним укором всплыл вопрос: почему я не рассказала Изочке о сыне? О ее брате?!

«Я ждала сна», – ответила себе Мария, оправдываясь, каясь, и сжалась в испуге: сон, вознесший на волнах неожиданной радости, внезапно внушил опасения. Был ли он вещим? Если да, то спаслись ли матушка Гене с внуком позже?

Мысль о потере едва закрепившейся надежды чуть не довела Марию до помешательства. В исступленном порыве страха она принялась «заговаривать» бомбы, забормотала лихорадочно:

– Нет, не в этот дом, только не в этот!..

Лопнувшая струна в голове завибрировала, в глазах стало темно, и Мария опомнилась. Полежала, изнемогшая, думая, как бы успокоиться и вернуть прошлое. Она забыла, что сын давно не малыш, она опознала бы его среди тысяч детей в ночи по запаху, на ощупь.

Вновь нахлынула тоска. Померещилось, что он здесь, рядом, возится на полу у кровати с игрушечным грузовиком. Мария боялась разбить хрупкое видение, боялась пошевелиться, но уже почти чувствовала дыхание ребенка. Замаячил белокурый чубчик, розовая округлость щеки... Она протянула руки – схватить, выкрасть сына у внутреннего зренья, вытянуть ожившую грезу в реальность...

Сильный стук в окно прервал сон. Мария подняла голову и увидела крупные кровавые капли, брызнувшие снаружи в стекло.

## **Глава 18**

### **Что такое счастье**

Классная руководительница не отпустила Изочку домой. Татьяна Константиновна, сменившая первую Изочкину учительницу, добрую Елизавету Сергеевну, была очень строгой.

– У нас классный час, – отрезала с холодной категоричностью. – Ты должна на нем быть.

Она каждую неделю затевала разные чтения и диспуты. Изочке было интересно слушать о том, как летом в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, о запуске первого в мире искусственного спутника Земли и о выходе в море атомного ледокола «Ленин». Татьяна Константиновна хорошо читала вслух газетные подборки. А на диспутах Изочка обычно отмалчивалась. Она, конечно, преклонялась перед пионерами-героями, но размышлять, смогла бы или нет повторить чей-нибудь подвиг, ей сегодня совсем не хотелось. И каким будет коммунистическое общество через двадцать лет, не хотелось фантазировать.

«Лучше бы дядя Паша выписал мне ветеринарную справку», – жалела Изочка. Смеялась про себя словам соседа: «Может, у тебя, к примеру, колики начались в копыте правой задней ноги!» и радовалась тому, что

маме утром стало лучше...

Время, словно нарочно, тащилось ме-едленно, тя-яжко, как старая кляча, еле стуча копытами-минутами. Но вот наконец отзвенел звонок последнего урока. Осталось как-нибудь высидеть классный час и с полным правом бежать домой.

Окно вдруг сделалось белым-белым, а в классе, наоборот, потемнело. На улице взвихрилась метель. Татьяна Константиновна зажгла свет. Тему разговора она в этот раз выбрала непривычную: «Что такое счастье?» Вопреки ее ожиданиям, вопрос ребят не увлек, и дискуссии не получилось. Тогда Татьяна Константиновна стала вызывать по одному:

– Как ты считаешь, Шапошников, что нужно для счастья? А ты, Никифоров? Что значит по-твоему счастье, Маевский?

Ребята отвечали:

– Вырасти комунистом.

– Победа Советской армии на всей земле!

– Жить так, чтобы тобой гордилась страна.

Ответы казались Изочке похожими на газетные заголовки.

...Не устранить сомнений из человеческого разума, если уж они там зародились. Учительница пения Ольга Васильевна огорчилась из-за отказа ученицы петь в школьном хоре. Спрашивала – почему. Изочка сказала: «Директор же запретил». И Ольга Васильевна отстала. В прошлом году Изочку приняли в пионеры. Но незаметно участие в общественной жизни школы и класса потеряло для нее всякое значение.

Что такое счастье?..

Вспомнился девиз немецкого города, переименованный папой: «Счастье, когда твоя душа согласна с миром, а мир – с тобой». Изочка вздохнула. Какая же она была легкомысленная и не ценила своего счастья, когда мама не болела!

– А ты, Готлиб, что скажешь?

Изочка не успела придумать ловкий ответ, чтобы и правдивым был, и классной руководительнице понравился. Пришлось повторить вслух «папин» девиз Любека. Изочка только добавила:

– ...а главное для счастья – здоровье.

Татьяна Константиновна кивнула с непроницаемым лицом и поинтересовалась у Нины Гороховой, как та полагает, – есть ли у человека душа?

Нинины щеки густо заалели. Наверное, выбросила свой крестик. Тербя концы пионерского галстука, Нина сказала:

– Души у человека нет. В душу верят только невежественные люди,

которые думают, что Бог существует.

– А счастье – есть?

– Есть, – неуверенно обронила Нина, уставилась в парту и замолчала. Татьяна Константиновна, вроде бы удовлетворенная ее кратким ответом, торжественно заявила:

– Счастье, дети, действительно есть! Но оно постепенно вытесняется из категории личного, становится общечеловеческим. Человек живет в коллективе и по коллективным правилам, а если бы жил в отрыве от него, то чувствовал бы себя одиноким и никому не нужным. Горе одного человека имеет обыкновение растворяться в счастье большинства, а радость вливается в общую, и ее становится много.

Потом Татьяна Константиновна заговорила о душе. Объяснила невозможность наличия «данного сегмента» у человека с точки зрения науки. Никто не видел душу даже под микроскопом. Слово «душа», разумеется, применяется в обществе, но не в религиозно-обывательской трактовке. Понятие души сохранилось как обозначение красоты человеческих чувств. А самое высокое чувство, сказала руководительница, – любовь к Родине. Это патриотическое чувство стоит неизмеримо выше узких сентиментальных эмоций. Советский человек всегда готов пожертвовать для Родины славным трудом, а если будет нужно – жизнью. Очень жаль, что отдельные люди по-прежнему употребляют такие неоднозначные слова, как «душа» и «счастье», для выражения мыслей мелочных и эгоистичных...

Татьяна Константиновна выразительно посмотрела на Изочку и повела беседу о расширении кругозора современного человека, чуждого мещанству и шагнувшего далеко за пределы ближайшего окружения.

Метель, между тем, побушевала и кончилась. На улице снова стало светло и спокойно. Изочку клонило в сон.

– ...ветер сметет пылинку. А ведь из пылинок складывается земля. Для того, чтобы мир преобразился и стал единым союзом, надо собрать все эти ничтожные пылинки, сплотить идеей общего счастья...

– ...мнение коллектива. Им проверяются труд, подвиг, желание жить для людей и, наоборот, лень, трусость...

– Поэтому смерть отступает, когда...

От слова «смерть» Изочка вздрогнула и проснулась. Она и не заметила, как нечаянно оторвалась от коллектива.

...Вот у нее, Изочки, ничего не болит. Но почему ей делается так невыносимо больно от мысли, что мама может умереть? В груди колет, будто после долгого бега, горлу тесно и в носу щиплет... Что, как не душа,

мечется в человеке и заставляет чувствовать боль не от удара или хвори, а от какого-нибудь переживания, взгляда, слова – они же не материальны? Мама когда-то сказала: «Душа – в сердце». Майис была уверена, что во всем живом и добром есть душа...

Татьяна Константиновна предложила подготовить литературный монтаж к ноябрьским праздникам, и ребята проголосовали за его название: «Счастье человечества – коммунизм». Изочка тоже подняла руку, совершенно согласная с общим счастьем для людей на земле.

Спеша к дому, она снова думала об узком счастье...

У всех оно разное. У нее – здоровье мамы, у мамы – Клайпеда, у Гришки – капитанский мостик. Мечты о личном счастье нисколько не мешают им любить Родину. Изочка горячо желала Родине поскорее прийти к светлому коммунистическому завтра, в котором не нужен будет девиз «Кровь за кровь, смерть за смерть!»

Изочка поехала. От этих слов тревожно в душе – человеческом органе-невидимке. Никакое счастье невозможно в мире, где люди убивают друг друга. Где они вынуждены чего-то бояться и лгать, как Нина Горохова...

Недолгая метель припорошила улицы, подбелила снегом крыши домов. По дороге красиво вилась голубоватая поземка. Легкий ветер сыпанул в лицо снежной крупкой с забора соседского дома. Дядя Паша, кажется, уже «слинял» с работы – сквозь струйки поземки на тропе виднелись большие следы.

Подбегая к общежитию, Изочка резко остановилась, и портфель выпал из разомкнувшихся пальцев. Мамино драгоценное имя заполнило сердце, душу, улицу Карла Байкалова, всю землю и небо...

Любимая рябинка мамы, надломленная метелью, мертво повисла, прислонившись к окну. Снег под нею расстреляли огненные пули ягод.

## **Глава 19**

### **...и падал снег**

В изголовье гроба, поставленного на четыре табурета посреди комнаты, горела тонкая восковая свеча. Церковную свечу принес добытчик дядя Паша. Мама лежала в гробу такая умиротворенная, будто хорошо отдохнула и вот-вот встанет. С лица сошла болезненная одутловатость, бледная кожа обтянула впалые щеки, и четкие полукружья бровей казались нарисованными под разглаженным лбом. Синее шерстяное платье с белым

вязаным воротником, которое она надевала по праздникам, сделалось широким. Тетя Матрена присборила его в поясе. Мама напоминала себя прежнюю и одновременно казалась незнакомой девочкой – строгой старенькой девочкой в серебристой короне кудрявых волос.

Изочка в последний раз подержала в ладони янтарные бусы. Горючие слезы водяной девы Юрате окропили пальцы нездешним солнечным светом, оплакивая земную любовь Марии и Хаима, и упокоились под заострившимся подбородком, подвязанным бинтом. Изочка украдкой поцеловала мамины сложенные на груди руки. Губы ожгло холодом.

– Догнало Марию ледяное море, – вздохнула Наталья Фридриховна.

Соседки сварили кутью, кисель и напекли блинов. Изочкин взгляд бездумно бежал от предмета к предмету, некстати примечая разные мелочи: хрустящие оборки блинов, непроглаженные складки на чьей-то новой простыне, зашторившей зеркало умывальника, карандашные пометки на косяке двери, оставленные рукой мамы, – так она каждые полгода измеряла рост дочки. Пахло, опять-таки, блинами и смолкой свежеструганых сосновых досок...

Изочка не могла думать о главной, невозможной и непостижимой правде. Эта правда противоречила привычному порядку вещей и живых существ: вот лежит Мария – Изочкина ненаглядная мамочка... – но ее больше нет.

Утром возле мамы молча просидел Гришка. Он не плакал. Мореходы, наверное, не плачут или умеют плакать внутри. Гришка дрожал всем телом, словно озяб, хотя в комнате, несмотря на полную колотого льда ванну под гробом, холодно не было.

Народу на похороны собралось неожиданно много. Явились работники рыбтреста, поселенцы, еще не получившие справки об освобождении, и те из них, кто решил остаться на Севере. Люди говорили о маме добрые слова. Изочка безотрывно смотрела на ее лицо, и понемногу всё вокруг, кроме этого светлого, спящего лица, стало чудиться неживым – последние мамины гости, их голоса, легкий ветер, покачивающий за окном прижатые к стеклу ветки павшей рябины.

Тетя Матрена прикрыла веки мамы монетами, и мир развернулся слева направо... Мир ожил, а мама устала в потолок мертвыми медяками.

– Зачем они? – спросила Изочка.

– Обычай велит, миленька моя. Копейки – плата тому, кто доставит душу на тот свет.

– В чем доставит?

– Поди, в лодке...

Прибыла ветеринарная лошадь с подводой, на которой дядя Паша возил маму в больницу и обратно. Теперь стационарный кучер повез гроб с ее отболевшим телом на кладбище. Изочка снова видела мир будто бы издалека и чувствовала ревнивое отчаяние, что другие вместе с ней провожают маму. Если б не эта толпа, прижалась бы к гробу и немножко полежала бы так, а может, и поспала.

В одном месте между пригорками, отмеченными темными крестами и звездами с облупленной краской, земля была то ли выкопана, то ли взорвана. Бурые, уродливо вывернутые губы дерна окаймляли разинутую прямоугольником пасть могилы. Тревожный воздух напрягся странно, как вздувшаяся перед внезапным ветром река. В воздушных волнах ошметками мусора плавали всхлипы, сморкание, приглушенный шепот.

После речи маминого начальника Изочка просеменила вместе со всеми вокруг ямы. Комья земли с гулким стуком повалились на крышу закрытой лодки, приготовленной к таинственному отплытию – конечному переселению. Замахали лопаты, дерновые губы поджались, сомкнулись бесшовно и скоро исчезли под холмиком. А едва в его свежее изголовье установили увенчанную красной звездой тумбочку, начал падать снег. Легкий шорох погасил затянутую минуту молчания и сорные звуки.

**«Снег валил хлопьями, мягкий снегопад, спокойный, без ветра. Башенка над часовней, кусты, деревья, скорбящий народ – все кругом белым-бело – пухом земля»,** – вспомнила Изочка мамин рассказ о похоронах Варвары Алексеевны Пушкиной. Он повторился наяву, только сейчас это были похороны мамы. Сонный пух за считанные минуты покрыл пригорки, сосны, головы и плечи людей, все беспорядочно раскиданное кладбище за Никольской церковью. Снежинки трогали веки прохладой. Снег первозданной чистоты и нежности летел вниз, а душа Марии невидимой снежинкой поднималась к новому обитанию.

Дома соседки приготовили поминальный стол. Растворженные водкой разговоры о загубленной рано жизни стали свободнее и громче. Изочка услышала кое-что из того, чего не знала о маме. Молча удивилась, какой она была скрытной, потому что и люди многого о ней не знали...

Одни товарищи и сослуживцы уходили не прощаясь, их заменяли другие. К вечеру, когда Изочка устала до полного изнеможения, все наконец разошлись. Остался только дядя Паша. Уронив в ладони пьяное лицо, он через каждые пять минут раскачивался на табурете и как-то чудно, по-коровьи, мычал.

Изочка с открытыми глазами лежала в одежде на маминой кровати. Смотрела в обиде на стены комнаты, как ни в чем не бывало

продолжающие жить без главной хозяйки. И стены словно бы усовестились, начали раздвигаться, исчезать понемногу, пока не растаяли совсем. Впереди показался солнечный лес – чистый, без кустов и валежника. Прямо от кровати в глубь леса бежала тропинка. Изочка встала и пошла по рыжему песку, мягко пружинящему под ногами. Прямоствольные сосны соединялись в кронах, золотые нити пронизывали дрожащую сеть, сплетенную из веток и теней. Снизу из клюквенной впадины к горному лесу поднимались лазурные стрекозы... И вдруг там, где кончалась тропинка и ослепительное солнце распахивало дверь в свободное небо, Изочка углядела тонкую фигурку. Фигурка была прозрачная и светилась, точно горящая свеча. «Ангел», – подумала Изочка в восхищении, а через секунду поняла, что ошиблась. Это был не ангел. Это была женщина. Навстречу ей с простертыми руками двигался мужской силуэт. Обведенный лучами, он напоминал рисунок на просвеченном солнцем оконном инее...

Резкий грохот прервал красивый сон. Со спинки маминой кровати с шумным клекотом взлетели хищные птицы. «Невермор, невермор!» – каркали, исчезая за «голландкой», черные вóроны.

Невермор – никогда... Ужасное слово из стихотворения Эдгара По на английском языке, которое мама читала вслух.

Протерев глаза, Изочка, конечно, не увидела никаких птиц, а увидела дядю Пашу и неприбранный стол. Горбясь за столом, сосед сливал в чашку остатки вина из захватанных пальцами рюмок. Изочка подошла, положила руку на его большую, косматую голову. Он медленно повернулся и поднял вверх испитое лицо. Опухшее, в седой щетине, с щелочками воспаленных глаз, оно неузнаваемо изменилось за три дня.

– Я... ее любил... – прохрипел дядя Паша, упал на стол грудью, сильным движением сметя на пол тарелки с объедками, и затрясся в безмолвном и страшном плаче.

## Глава 20

### Детдом

Мамина смерть полностью разбила привычный уклад Изочкиной жизни. Горсовет отказал Павлу Пудовичу в опекунстве. Ему дали понять, что и отъезд девочки из республики исключен, поскольку родственников у нее нигде нет.

Через неделю после праздника 7 Ноября в общежитие приехала на машине комиссия из гороно.

– В детском доме сироту воспитают достойным членом нашего общества, – сказал мужчина с быстрыми глазами, судя по начальственным ноткам в голосе, главный из четверых прибывших. Изочка хотела вмешаться в разговор взрослых и возразить, что она не сирота. Кроме дяди Паши, у нее есть тетя Матрена с Мишей, Наталья Фридриховна с дядей Семеном и другие, но выловить резвый взгляд главного не смогла, а без конца заглядывать чужому человеку в лицо стало неловко.

Ей велели взять с собой только самое необходимое.

– А куклу?

– Дети в детдоме находятся на полном государственном обеспечении, – не очень вразумительно пояснил главный.

Женщина в черном пальто погладила Изочку, как маленькую, по голове, то есть по оленьему капюшону, и мягко упрекнула:

– Зачем плакать? Все хорошо, ты не одна.

– Я и так не...

– Тебе надо готовиться к новой жизни, – перебила женщина, – к встрече с новыми друзьями. Их теперь будет много.

Изочка поспешно вытерла слезы рукавичкой. Для дружбы ей хватило бы соседей, двух-трех человек из класса и Гришки (если он признается, почему избегает ее), но вместо того, чтобы сказать об этом, она спросила:

– Мне разрешат иногда приходить сюда?

– Маму, разумеется, жаль, очень жаль, но что поделаешь, люди смертны, – вздохнул главный, умело избегая Изочкиных глаз, и сделал широкий жест рукой. – Отныне ты вправе считать своей матерью всю нашу большую Родину.

«Он пропустил слово «зато», – подумала Изочка. – «ЗАТО отныне ты вправе считать своей матерью...»

Она поняла, что больше не заплачет при людях из комиссии и говорить

ничего не станет, все равно никто ее не слышит. Может, у них принято не отвечать на вопросы, или они притворяются тугими на ухо, потому что не знают ответов, а может, и то и другое.

На проспекте у горсовета шустроглазый и два его сотрудника вышли из машины. С Изочкой осталась женщина в черном пальто. Скоро машина выехала на окраинную дорогу и углубилась в зимний лес.

В лесу было красиво, сосны припудрились снежком, а на густых елочках снег уже лежал, словно пышные песцовые воротники в витринах универмага. Но ехали недолго, до первых домов дачного поселка и длинного забора. Вывеска над воротами извещала: «Детский дом «Радуга». За ними открылся просторный, обсаженный березами двор. В центре двора друг против друга стояли два бревенчатых барака, замкнутые «в головах» массивным зданием с двумя отдельными входами по бокам и красным флагом над крышей.

– Тут живут девочки, тут – мальчики, – показала спутница, – а в общем корпусе, что посередке, находятся спортивный зал, ленинская комната, столовая и остальное.

Машина притормозила у левого крыльца общего корпуса.

«Медпункт», «Библиотека», «Воспитательская», «Директор Л. В. Скрынникова», – прочла Изочка на дверных табличках в коридоре. Легонько подтолкнув ее к приоткрытой двери директорской, провожатая зашла следом и сказала ележным голоском:

– Здравствуйте, Леонарда Владимировна!

Сидя за столом, женщина с мужской прической глянула на посетительниц из-под очков и холодно кивнула:

– Добрый день.

– Доставили вам новенькую. Прошу любить и жаловать – Изольда Готлиб.

На стол, по-домашнему покрытый бело-голубой жаккардовой скатертью, легла папка с документами. Хозяйка кабинета вынула Изочкину амбулаторную тетрадь:

– Изольда, пройди, пожалуйста, в медпункт и передай тетрадь доктору. Скажешь, что новенькая. Оставь свою сумку здесь. После осмотра вернешься, и мы с тобой побеседуем.

Голос у директрисы был низким и шел будто из глубины живота. Изочке почудилась усмешка в том, как было произнесено ее «взрослое» имя.

Все, что приказывал врач, осматривая волосы, зубы, уши и прочее, она выполняла беспрекословно и равнодушно, как механический человек. Врач

так же равнодушно пролистал записи о прививках.

– Здорова, – сказал он Леонарде Владимировне, отведя Изочку обратно. – Анализы брали месяц назад в школе во время плановой медицинской проверки. Думаю, нет необходимости в карантине.

Горсоветовской сотрудницы в кабинете уже не было.

– Пока врач тебя обследовал, я ознакомилась с твоей характеристикой, – сообщила Леонарда Владимировна. – Классная руководительница пишет, что девочка ты замкнутая, склонная к упрямству, не инициативная и сторонись общественной работы. Почему?

Изочка не поняла, о чем именно из перечисленного Татьяной Константиновной спрашивает директриса.

– Почему ты избегаешь школьных поручений? – уточнила Леонарда Владимировна.

– Я не люблю их, – помедлив, соврала Изочка. Не могла же она сказать, что дорожила каждым часом времени, проведенным с мамой. А участвовать, например, в концертах, то есть до запрета директора школы петь патриотические песни, она очень даже любила и не отказалась бы от предложения быть октябрятской вожатой, если б мама не болела.

– Выходит, ты действительно упряма, – задумчиво произнесла директриса. – Или нет?

– Не знаю.

– У тебя были хорошие отношения с классом?

– Обыкновенные.

– Что значит «обыкновенные»?

– Обыкновенные – значит... обыкновенные, – смущенно пожала плечом Изочка.

– У каждого человека есть любимое занятие. Чем любишь заниматься ты?

– Читать книжки.

– И все?

– Люблю смотреть на ледоход, ходить в лес... любила, с мамой. – Изочка почувствовала, что сейчас расплачется, и замолчала.

К счастью, на этом собеседование закончилось. Леонарда Владимировна монументально поднялась. Она оказалась высокая и угловатая, как памятник.

– Очень редко, но бывает, что и взрослые люди ошибаются. Надеюсь, Изольда, ты не упряма, не скрытна, обретешь в нашем доме много друзей, и он станет тебе родным.

Девчачий корпус был длинным, как в общежитии, только печки

помещались здесь не в комнатах, а между ними, и выходили топками в увешанный стендами коридор. Из дверей, хихикая и шушукаясь, высовывались девочки, одетые в одинаковые фланелевые платья. Такое же платье выдали Изочке вместе с новой школьной формой, постельным бельем и трикотажной ночной пижамой.

– Вот я вам, хохотушки, – пригрозила красивая и совсем нестрогая на вид воспитательница с «лермонтовским» именем Бэла Юрьевна. Изочка прошла с нею до конца коридора, где они завернули в тесную угловую комнату, белую, как больничная палата. В ней впритык стояли четыре койки с тумбочками и стол.

К Изочке обратились три пары любопытных глаз. Бэла Юрьевна указала на койку изголовьем к боковому окну:

– Располагайся и ничего не бойся. – Улыбнулась девочкам: – А вы помогите нашей новенькой освоиться, хорошо?

Едва воспитательница ушла, девочка с желтыми волосами, заплетенными в «калачики», ткнула пальцем в косицу куклы Аленушки, торчащую из маминой сумки, и воскликнула:

– О-ой, а мы-то, малышки, в куклы играемся!

Девочки засмеялись. Желтоволосяя, словно и не думала потешаться над Изочкой, подала ей руку:

– Я – Полина Удверина. А тебя как зовут?

– Изочка... Изольда.

Полина опять развеселилась:

– Ты что – изо льда? Девочки, вот смешно: она изо льда!

– Слушайте, у нас появилась Снегурка!

– Снегурка-малышка! В куклы играет!

Изочка опустила глаза. «Раз-два-три... Меня здесь нет... Не вижу, не слышу...»

– Что ты умеешь делать – петь, танцевать, рисовать? Мы уже к Новому году готовимся.

– Петь умею.

– Ну-ка, спой что-нибудь, – приказала Полина.

– Утро туманное, утро седое, – послушно пропела Изочка дрожащим голосом.

– А так – слабó? – прервала ее Полина и, открыв рот баранкой, звонко затянула: – Соловей мо-ой, с-о-оловей, голососисты-ый со-о-оловей!

– Здорово, – искренне восхитилась Изочка.

Полина гордо вскинула голову:

– А ты думала! Я лучше всех здесь пою.

– У тебя родственники есть? – спросила Изочку большая плотная девочка, почти взрослая девушка, со светло-русой косой вокруг головы.

– Нет. Только дядя Паша и другие соседи.

– А дядя Паша тебе родной?

– Он тоже сосед...

Противная Полина ввернула:

– Бывший сосед. С этого дня мы твои соседи, поэтому изволь нас слушаться!

– Чего лезете к человеку? – вступилась, заглянув в комнату, старая няня. – И так дитю плохо, а тут еще вы.

– Дитю! – сузив глаза, передразнила Полина. – Ей одной плохо? Она у нас одна сирота, да?

Няня обняла Изочку мягкими руками:

– Не надо гнобить друг дружку, жалеть надо.

Полина обидчиво скосилась на няню:

– Ну и жалейте, а я не буду!

– Заревновала, – засмеялась та. – Дай и тебя обниму.

– И меня, и меня! – закричали девчонки и потеряли к новенькой интерес.

Изочка застелила постель, спрятала сумку в тубочку, Аленушку и мамину деревянную шкатулку – под подушку. Посидела бездумно на койке, – а теперь что делать?

– Обед, обед! – взголосили в коридоре.

– Наконец-то, – вздохнула темненькая большеглазая девочка.

Все, кроме Изочки и няни, засуетились, побежали куда-то.

– И ты иди, а то не достанется, – сказала няня и осуждающе покачала головой. – Эта повариха Молчанова всегда с опозданием...

Двери с обеих сторон коридора с шумом распахивались, и воспитанницы спешили в гардероб. Выяснилось, что спальни тут разные: есть для восьми человек, десяти и даже двенадцати. Изочке повезло попасть в самую маленькую. Свой отсек в гардеробе она с трудом отыскала по пояснению, выведенному поверх зачеркнутого на углу дверцы: «И. Готлеб». Ну вот еще – с ошибкой!

Цигейковая шапка и телогрейка сухо пахли газетной бумагой и перцем – новая одежда почему-то всегда так пахнет. На рукав был пришит ситцевый лоскут ярко-зеленого цвета.

Девочки в синих телогрейках, мальчики – в серых, все с разноцветными лоскутами на рукавах, торопились к правому крыльцу общего корпуса с вывеской «Столовая» под навесом. В противоположной стороне двора

густо росли кусты и березы, виднелись какие-то хозяйственные постройки и гора аккуратно сбитого стога в снежном берете.

В фойе Изочку остановила дежурная по столовой «санитарка» с красной повязкой над локтем:

– Покажи руки. Ты их мыла?

– Не мыла, – растерялась Изочка, протягивая ладони. – Я думала, здесь есть рукомойник...

– Нет тута умывалки. Вертайся обратно и вымой.

– Поела уже? – на бегу спросила Полина Удверина.

– Руки мыть иду.

– Вот дуреха! Сказала бы, что мыла!

В начале коридора девчачьего общежития шумела возбужденная толпа.

– Куда прешь! – сердито закричала бритоголовая девочка с лицом как колобок. – Не видишь – очередь!

Расстроенная Изочка разглядывала настенный щит с портретами пионеров-героев и тайком – бойких девочек, а девочки украдкой посматривали на нее.

Добраться до свободного умывальника удалось не скоро, пол кругом уже был залит водой, и мыла не досталось. Здешняя дежурная объяснила, что по бруску хозяйственного мыла выдают жилым корпусам с утра на целый день. Вторая, бритый колобок, бросила на Изочку презрительный взгляд и велела:

– Кто последние, швабры в руки – живо полы подтереть!

Из-под рук ее вывернулась чернявая первоклашка и вприпрыжку поскакала к двери, на ходу вздевая телогрейку. Пришлось Изочке одной вытирать полы.

Полина уже мчалась из столовой в корпус и, увидев Изочку, громко расхохоталась:

– Копуша!

Худая, совсем не похожая на повариху женщина в засаленном переднике проворчала:

– Второго нету, подмели вчистую. Борщ остался и сладкий чай.

Не глядя, плеснула в железную миску свекольно-капустной водицы с картофелинкой на дне. Чай был чуть подсахаренный. Несколько последних ломтей хлеба, показав Изочке язык, рассовал по карманам скуластый мальчишка. Впрочем, голодной она себя не чувствовала, да и дядя Паша успел сунуть ей в сумку тети-Матрениных калачей и кулек ирисок...

От крыльца по всему двору ветвились тропинки, одна сворачивала за столовую, где раздваивалась и вела к побеленным известью дощатым

уборным «М» и «Ж». Изочка отправилась к другому краю двора, где располагалось подсобное хозяйство, и обрадовалась: там за березами скрывался коровник. За изгородью жевала сено белая с рыжими подпалинами корова. Просунув руку между жердями, Изочка погладила жесткую коровью холку:

– Хорошая... Вечером я тебе хлебушка принесу...

Корова волооко поглядывала на Изочку и, шумно дыша, подрагивала ухом.

– Я была знакома с такой, как ты. Ее звали Мичээр. Она жила у матушки Майис. Мы с Сэмэнчиком пасли Мичээр летом...

То лето, казалось, было давным-давно, словно Изочка постарела. Поговорив с коровой, она закрыла глаза и несколько секунд постояла в оцепенении. Перед нею разгонялись знакомые дорожки травяного аласа. Побежать бы вот так, с закрытыми глазами к сайылыку и обрывистому берегу Лены. Ни разу бы не споткнулась, помня на летней тропе все выступающие из земли камни, все кустики, растущие вдоль. И теперь бы побежала свободно по снежному лугу, с ликующим сердцем, раскинув руки навстречу ветру. Куда? Она не знала. Не знала, ждал ли ее несокошенный алас у берега Лены, будет ли ждать улица имени Байкалова... Изочка любила свою улицу: магазин через три дома от начала – место встреч местных сплетниц, барачные дворы с кучей разновозрастной ребятни; водоколонку, к которой зимой ходят в калошах, – случалось, что к не замерзающей вокруг луже намертво пристывали подошвы валенок неопытных водоносов... А может, на всей земле для Изочки не осталось места, где бы ее кто-то ждал.

К ночи по корпусу прокатилось: «Отбо-ой!», и горластый коридор заглох. Взрослые строго следили за тишиной, могли наказать за непослушание и разговоры «карцером» – так воспитанницы называли кладовушку рядом с гардеробной, где хранились под замком банки с краской, разные инструменты и ведра. Про этот карцер рассказала Изочке взрослая девочка Галя, староста комнаты. О кладовке ходили жуткие слухи. Когда-то в ней приютили на время бездомную уборщицу, а она вместо благодарности взяла и умерла прямо в кровати.

Изочка переоделась в пижаму и скользнула в резко пахнувший хлоркой холод постели. Девочки тоже легли и затихли. Сквозь щель в двери проступал коридорный свет.

– Эй, Снегурочка! – прошелестела Полина, приподнявшись на локте. – Изольда... или как там тебя!

Изочка решила не откликаться.

– Уснула, что ли?

– Нет.

– Отвечай сразу, если спрашивают, Изо-льда, – зашипела Полина. –

Откуда такое имя?

– Из оперы Вагнера «Тристан и Изольда».

– Из оперы?

– Меня папа так назвал. Он любил оперу.

– Я тоже ее люблю, – заявила Полина. – Нас иногда водят в театр.

Когда вырасту, я выучусь на оперную актрису и, может быть, спою партию Изольды на сцене... А она – кто?

– Исландская принцесса, колдунья.

Из-за слова «колдунья» Изочка вспомнила дайте Базиля и прикусила кулак, чтобы не заплакать.

– Мы будем звать тебя просто Иза. Или по фамилии.

Изочке не понравилось.

– Меня все зовут Изочкой.

– Будто малышку...

– Я привыкла.

– Леопарда с тобой разговаривала?

– Какая Леопарда?

– Леонарда Владимировна, – прыснула в кулачок Полина. – Здесь все ее так называют, даже взрослые, когда думают, что мы не слышим. Ты с Леопардой осторожней, она хитрая. Любит, чтобы девочки приходили к ней жаловаться друг на друга и воспиталок.

– А Бэлу Юрьевну мы Белочкой зовем, – сказала большеглазая Наташа. – Белочка у нас хорошая...

Полина затрясла плечами от смеха:

– Белки, леопарды – не детдом, а зверинец!

Галя взмолилась:

– Давайте спать!

– Соня-засоня!

– А я сейчас няне скажу, и она Бэлу Юрьевну кликнет, – пригрозила Галя.

– Жалобная книга!

Галя сердито поднялась, распущенные волосы разлетелись, как полы белого плаща. Полина свесилась с койки, смеясь, поймала старосту за край пижамы.

– Все, все, сдаюсь!

– Ладно. До первого обзывания.

Минуту царило спокойствие. И снова стрекочущий шепот:

– Готлиб, у тебя «эти» пришли?

– Кто?

– Кто-кто, – придушенно закатилась Полина. – Красная армия!

– Красная армия? – переспросила Изочка, чувствуя подвох. – Что за армия?

– Месячные, – сказала строгим «докторским» голосом Наташа, и все три девочки, включая засоню Гаю, засмеялись.

– Раз не знаешь, значит, не пришли.

– Мы – девушки, а она еще нет!

– Впрямь же малая. Дитя-а-а... – зевнула Галя.

– Сколько тебе лет, Готлиб?

– Двенадцатый пошел.

– А нам с Наташкой по тринадцать.

– Галке семнадцать скоро!

– У тебя мама умерла? – внезапно спросила Полина.

Изочка всхлипнула, и комната умолкла.

– Мама, – нежным басом пробормотала во сне взрослая Галя и повернулась на другой бок...

Чтобы не жалеть себя, Изочка попробовала представить какой-нибудь праздник. Но не представлялось. Вспомнились слова из характеристики, составленной Татьяной Константиновной: «...замкнутая, склонная к упрямству, не инициативная». Услышав их утром от «Леопарды», Изочка удивилась, а обиделась только сейчас.

Девочки, ставшие девушками из-за непонятной Красной армии, спали. Разметалась по подушке соломка Полининых желтых волос. Лицо разгладилось, спокойное – не верится, что больше всех кричала и злилась. Примостив под щеку мягкую ладонь, похрапывала староста Галя. Дверной луч выткал серебром красивую полосу на белой макушке. Наташа, с головой укрытая одеялом, лежала как гусеница в коконе...

Изочка слушала усталый скрип и дыхание стен, вобравших в себя бестолковые звуки дня. Вот он и кончился, этот первый недомашний день, чужой и неприятный, большей частью заполненный чужими и неприятными людьми. Под смятенной робостью, окутавшей душу, шевелилось что-то неуловимо знакомое, строптивное – наверное, та самая склонность к упрямству. А ведь сегодня, несмотря на непокорные мысли, Изочка честно старалась жить в коллективе и по коллективным правилам.

Хорошо, что мысли не проступают на лбу. Знай их классная руководительница Татьяна Константиновна, она бы добавила в

характеристику кучу возмущенных слов и была бы права. Не на что обижаться...

Изочка все не могла уснуть. Опасалась, что не сумеет привыкнуть к детскому дому на полном государственном обеспечении и Родине-матери.

## Глава 21

### Сквозь волнистые туманы

Учились детдомовцы в школе пригородного поселка, в двадцати минутах ходьбы от дач. Перевод в другую школу казался Изочке огромным и страшным событием, но незнакомый класс отнесся к новенькой без особого интереса. Только поселковые мальчишки после уроков закричали вслед:

– Инкубатор!

– Сирота казанская!

Изочка собралась было кинуться на обидчиков с кулаками, и хорошо, что Полина удержала:

– Плюнь-разотри. Рук не хватит со всеми засранцами драться.

Медленно покатился по времени снежный ком однообразных, многолюдных дней. Мало-помалу режим с подъемом в шесть часов утра, ежевечерние линейки с разбором поведения и толкотня в умывалке сделались обыденными.

Дядя Паша принес зубной порошок и земляничное мыло. Дома Изочка не замечала, как оно вкусно пахнет, не то что хозяйственное. В коллективной жизни ощущался недостаток массы мелочей, а легкие, непостоянные запахи-дуновения забивались детдомовским духом хлорки, который въедался в одежду и был неистребим. Изочка попросила у Гали перочинный нож, хотела разрезать мыло на пять долек и только раскрошила. Тогда дядя Паша раз в неделю стал покупать отдельное мыло каждой девочке в комнате. Правда, порошком Изочка пользовалась сама, все равно никто, кроме нее, не имел зубной щетки.

В воскресенье воспитанники ездили на автобусе в городскую баню. Народу в бане всегда была уйма, но их пропускали без очереди. В помывочной томилаась другая очередь – за шайками, и, чтобы не стоять долго, девчонки полоскались по двое из одного таза. Чистые, румяные, обратно шли пешком.

Возле военных складов, обнесенных колючей проволокой, Полина выклянчивала у охранников стреляные гильзы и обменивала потом у

мальчишек на ворованную в кухне картошку. Тонкие картофельные кругляши прилеплялись к жарким печным дверцам – успевай отдирать, бегая от печи к печи. Получалось не хуже блинчиков, и сильный аромат поджаристой корочки долго боролся в коридоре с хлорными парами над свежевывмытыми половицами.

Дядя Паша навещался ближе к вечеру. Явление посетителей обычно беспокоило воспитательниц, но добродушного ветеринара, сразу взявшего шефство над животными подсобного хозяйства, скоро посчитали своим.

Он получил письма от друзей Марии. Гринюсы ждали позволения переехать в Каунас, и Нийоле сообщила, что чуть позже готова удочерить девочку. Дядя Паша очень хотел вызволить Изочку из детдома.

Вопреки ожиданиям, она отказалась:

– Съезжу в Литву, когда вырасту. Напишите, пожалуйста, маминим землякам – пусть не волнуются за меня. Спасибо им. И... я больше не хочу о них слышать.

– Почему?!

– Будут звать, а мне это больно, – ответила она по-взрослому.

Резкие жизненные перемены настораживали Изочку, ей хватило потерь. Было и тайное неприятие всего чуждого – чужбинного. Неизвестно, что в этих сложных чувствах, не вполне ясных ей самой, понял дядя Паша, но он перестал заговаривать о Литве. Гарри Перельман и Нийоле, знакомая лишь по рассказам мамы, вероятно, тоже что-то поняли. Изочка и позже ни разу не спросила о переписке дяди Паши с музыкантом, которая продолжалась еще несколько лет.

Кулон со спящим в капле семечком-яблоком лежал в шкатулке с фотографиями, документами и круглой коробочкой маминой пудры «Кармен», а шкатулка – под матрасом в изголовье кровати. Талисман, опоздавший принести Мариечке счастье, вызывал слезы. Бел-горюч камень... Изочка его не доставала, без того помнила до мельчайшей прожилки янтарной росы в золотом сердце.

Долго ждать нежному камню возвращения в волны-руки морской девы Юрате. Может, столько же времени, сколько Изочка уже прожила на свете. А сейчас она сосредоточилась на школе. Решила доказать Леонарде Владимировне свою инициативность. Изочка – не из инкубатора, отдельный человек. Да и любой человек в детдоме – отдельный.

Пусть бы директриса, встретив когда-нибудь Татьяну Константиновну, сказала ей: «Очень редко, но бывает, что и классные руководители ошибаются. Вы написали несправедливую характеристику на ученицу Изольду Готлиб. Она не упряма, не скрытна и активно участвует в

общественной жизни школы».

Изочке не лень было бы бегать на всякие советы отряда и прочие собрания, но скорейшему проявлению инициативы помешал Бык Мороза. Рога его опасно доросли до критической отметки закрытия учебных заведений, вынуждая школьников опроретью мчаться сквозь туман на уроки и обратно. Государственные валенки быстро протерлись до дыр, а новые в середине сезона не положено было выдавать. Вся тропинка до школы усеялась мелкими клочками сена – зимняя обувь прохудилась не у одной Изочки. Вспомнив, как дядя Степан вкладывал толстые ягельные стельки в торбаза, она нарвала мха в ближнем лесу. Мягкий ягель, сваявшись, не кололся и вываливался из дырок меньше, чем сено.

Увидев однажды мшистый клок, торчащий из подошвы наружу, дядя Паша ахнул и в тот же день притащил рулон плотного войлока. Замелькало в умелых руках копьеобразное граненое шильце, потянулся, распускаясь, моток суровых ниток. Изочка поблагодарила дядю Пашу за подшитую обувку и неожиданно для себя расплакалась:

– Мама мерзла в ботинках... Ей нужны были валенки, вы могли их найти... Вы же всё-всё где-то добываете!

Он погладил Изочкину голову, цепляя волосы заусенцами, глянул беспомощно, и до нее донесся запах недавнего перегара.

– Неужто, думаешь, не предлагал? Она и говорить о том запретила.

Девочки согнулись за столом над тетрадями с нарочито озабоченными лицами, а сами прислушивались. Дядя Паша вздохнул:

– Давайте и вашим валенкам подошвы прилажу.

После его ухода Изочка всегда находила два-три смятых рубля или трешку то под подушкой, то под учебниками на тумбочке.

– Павел Пудович! Зачем вы опять деньги оставили? – сердилась она в следующее воскресенье. – У меня все есть, нас же бесплатно обеспечивают!

– Кто сказал, что я их подложил? – ворчал он, краснея. – Сначала докажи, что я, за руку попробуй поймай!

Изочка никак не могла уличить дядю Пашу в «подлоге», и в конце концов неуловимая передача денег превратилась в игру. Девочки покупали на них конфеты «Раковая шейка», булочки в пригородном магазине и устраивали перед сном пир горой.

Все «свои» навещали Изочку, кроме Гришки, и никто больше не звал ее Журавленком. Бывшие соседки рассказывали общежитские новости. Наталья Фридриховна передавала неизменный «привет» от Семена Николаевича.

– Миша сам к тебе придет, – говорила тетя Матрена. – Как ослобонится от работы, так и придет, а покамест план горит у них в мастерской, по выходным вкалывают.

Наталья Фридриховна выуживала из сумки покупные гостинцы – пряники, бутылку кефира, банку килек в томате.

– Вот еще от Петра Яковлевича шоколадка...

Тетя Матрена гордо водружала на тумбочку объемистый пакет с домашними кренделями и шаньгами. Допытывалась с пристрастием:

– Ты почто похудела, миленька моя? Плохо кормят, поди?

Кормили в детдоме не плохо и не хорошо. При жизни мамы Изочка ела гречневую кашу только по праздникам. Гречку в магазинах выбрасывали редко, давали по килограмму в руки, и надо было еще очередь отстоять. А тут варили почти ежедневно. Но домашняя каша была вкусная, с маслом. Изочка знала, как сделать, чтобы не пригорала и оставалась сухой и рассыпчатой. Столовая же состояла наполовину из воды. Повариха Молчанова считала кашу «гарниром». Три ложки склизкого гарнира с лужицей мучного соуса, котлета из пережаренного хлеба со слабым запахом фарша («бессовестными» называла котлеты Молчановой няня, за что-то недолюбливающая ее) – это сложноприготовленное блюдо считалось «вторым».

Дежуря в столовой, Изочка порывалась сказать Молчановой о «правильной» гречке, но сдерживалась. Неразговорчивая женщина вполне оправдывала свою фамилию – могла без всяких слов съездить по шее. Девочки сплетничали, будто повариха крадет продукты. Муж – калека, обе руки оторвало на войне, а детей умудрились нарожать кучу.

– Что им делать-то остается, как не... – Полина добавила страшное слово. Изочке неясно было значение этого глагола, но он, несомненно, нес в себе тот же смысл, что и другие подобные, пестревшие на стенах школьного туалета. Там их сопровождали разъяснительные рисунки мелом, напоминающие орудия на колесах и далекие африканские орехи-кокосы в разрезе. Развязная на язык Полина легко выбалтывала страшные слова, вставляла их между другими, не ведая, какую смесь лингвистико-анатомического ужаса испытывает при этом Изочка.

– Северные ночи длинные, – непонятно вздохнула Галя.

...Жадные зимние ночи вбирали в себя часть утра и начинались рано. Большую часть суток на небе сквозь волнистые туманы пробиралась пушкинская луна. Из-за темноты и холода Леонарда Владимировна отменила участие воспитанников в школьных новогодних мероприятиях, поэтому начались спешные репетиции: детдомовцы своими силами

собрались устроить концерт и маскарад в ленинском зале. К общему корпусу уже подвезли и свалили в сугроб большую елку.

– Ты говорила, что умеешь петь, – приставала Полина.

– Не, не сейчас, я к 8 Марта подготовлюсь, – отнекивалась, стесняясь, Изочка. Полину ей было не перепеть.

Праздник прошел весело. Мальчики сплясали негритянский танец, девочки поставили отрывок из якутской сказки об охотнике, красавице и злой шаманке. Изочку вновь потряс голос Полины, струящийся в хвойном воздухе зала, точно сильный лесной ручей. Невозможно было заподозрить, что из пухлого Полининого рта, откуда рвались на волю эти прекрасные звуки, нередко вылетают не просто грубые слова, но даже те, волосатые, туалетные... Певицу долго не отпускали со сцены и заставили исполнить еще три песни.

Повариха Молчанова расстаралась к ужину. На столах возвышались золотистые горки «совестливых» пирожков, богато начиненных мясом и рисом, молочных калачей и пончиков с брусничным вареньем. Всем досталось по два пирожка, калача и пончика – за раз не съешь!

Старшеклассницы остались танцевать, Изочка прихватила свою недоеденную норму и ушла с малышами. Ей хотелось побыть одной. Ну, не совсем одной, с куклой. Пока никто не видел, вволю наигралась с Аленушкой, угостила берестяную подружку пончиком в честь Нового года... Скорее бы кончилась зима.

## Глава 22

### Артистка погорелого театра

Весной в коровнике появилась новая жиличка. Разумная корова Пятнашка будто нарочно подгадала с отелом к воскресенью, к приходу дяди Паши. Новорожденной телочке дали кличку Марта. Она была капризная, слабая, часто маялась животом. Дежуря в коровнике, Изочка по дяди-Пашиному совету поила ее из берестяного рожка смесью молока, свежезаваренного чая и сенного настоя. Охотно помогала истопнице тете Аглае, подрабатывающей в скотном дворе, чистила животных щетками, заваривала для Пятнашки отруби в подсоленном «снятом» молоке-обрате. Обрат остается после сепараторного вывода сливок. В детдом субпродукт доставлялся из молокозавода, шел на болтушку коровам и в столовую настряпню.

Скребли коровник лопатами, вывозили навоз в цинковой ванне на приусадебный участок. Помня уроки матушки Майис, Изочка сама сплела Марте намордник из тальниковой лозы, чтобы отвадить телочку от вымени, и приучила маленькую к измельченному сену.

– Что бы я без моей помощницы делала, – нахваливала тетя Аглая.

Изочка мечтала напроситься ухаживать за коровами в летнее время, когда истопница уйдет в отпуск. Сказала девочкам, а Полина подняла на смех:

– Пастушка нашлась! Кто тебе по лугам гонять запросто даст? Ты ж не дома! Летом в корпусах затеют ремонт, а нас отправят в трудовой лагерь. Горбатиться будем допоздна – Маня, не горюй!

Полина вроде бы опекала младшую в комнате, но в то же время часто смеялась над ней и словно соперничала. В сборных концертах первенство признавалось, конечно, за певуньей Полиной, зато Изочкой был доволен физрук. Она вышла победительницей в городском соревновании по лыжам, и ее выбрали членом физкультурного бюро. Вместе с другими она должна была отвечать за проведение весенних спортивных мероприятий. Для начала председатель бюро велел вести учет результатов БГТО<sup>[65]</sup> в классе.

Леонарда Владимировна приятно удивилась школьной активности Изольды Готлиб и упомянула имя воспитанницы на общей линейке. Вот и красавица Бэла Юрьевна, которая в свободные от воспитательской вахты дни вела в ленинском зале танцевальный кружок, заметно выделяла Изочку среди других. Никто не знал, как тяжело давались ей лыжные гонки и

занятия танцами. Напомнило о себе младенческое обморожение – колени ныли по ночам.

К сожалению или нет, кипучая физкультурная деятельность кончилась быстро. Возвращаясь однажды с Полиной из школы, Изочка заметила на тропе выроненную кем-то пачку папирос «Казбек». Курить она ни разу не пробовала, и Полина предложила восполнить пробел, убеждая, что хотя бы по разу в жизни человек должен испытать всё.

– Скажи в себя: «А-а-а» и вдохни, потом: «У-у-у» – выдохни, – учила она. – Очень просто: вдох-выдох, вдох-выдох, «Ау – ау», будто в лесу потерялась.

Изочка сразу же провалила жизненный экзамен – раскашлялась и выкинула папиросу.

– Не могу... И ты не кури, голос испортишь.

– Не можешь, так на шухере постой. Дармовой же табак, жалко.

«Бывалую» Полину тоже бил кашель, но она все равно картинно отставляла руку, держа папиросу двумя пальцами, и дымила, как паровоз.

Компания девочек вроде бы ушла далеко вперед и ничего не видела. Курильщицы так и не узнали, кто из них пожаловался Леонарде Владимировне. Пометав на линейке громы и молнии, Леопарда доложила о морально разложившихся воспитанницах в школу.

Перспективную спортсменку с позором выставили из состава физкультурного бюро. Полину исключили из школьного хорового коллектива до окончания учебного года. Сочувствуя расстроенной подружке, Изочка совестила. Втайне она вздыхала с облегчением: нескончаемая общественная работа перестала мешать ее занятиям полюбившимися танцами. А то физрук уже начал было поговаривать о том, что пора ученице прекратить «работать на два фронта» и «завязать с песнями-плясками»...

Бэле Юрьевне когда-то доводилось солировать в одном из известных театров страны. Потом что-то произошло со здоровьем, и она была вынуждена расстаться со сценой. На Север балерина приехала с мужем-археологом. Окруженная облачком тонких духов, в сногшибательных шляпках, с сумочками в тон платьям и нитяных митенках, она считалась у девочек эталоном женственности и очарования. Глядя на элегантную «столичную штучку», подтягивались воспитательницы. Даже Леопарда к весне сменила мужскую стрижку на нечто перманентное, рыхло взбитое, чем вызвала оторопь женской половины детдома и сдержанные ухмылки мужской.

Слова: «Плие! Де ми! Батман тондю!» – казались Изочке волшебными

заклинаниями к танцевальным фигурам. Бэла Юрьевна рассказывала не только о танцах, но и об особенностях национальной одежды у разных народов мира. А еще Изочка крепко запомнила, что «...уважающая себя женщина – это безупречно чистая обувь на каблучке, прическа и капля польских, лучше – французских и совсем уж на крайний случай рижских духов».

Детдомовцев не зря дразнили «инкубаторскими» – комплекты одежды и обуви они получали соответственно возрасту и временам года. Соседкам по комнате выдали весной тонкие хромовые сапожки и полупальто из плащовки, а Изочке – ботинки и вельветовую куртку. Ее еще не коснулись качественные перемены, означающие государственное повышение в девичьем статусе.

Белея в темноте лицами, городские парни бросали в окна березовые ветки и вызывали девушек на свидания. Старшие девочки пели песни, шептались ночи напролет, и кто-нибудь непременно рыдал от неразделенной любви.

Детдом дышал речным и зеленым, наполненным невнятным волнением воздухом мая. По вечерам в коридоре разносился могучий гуталиновый запах. Вскоре начищенные голенища хромовых сапожек заблестели на стихийных «взрослых» танцах за воротами. Воспитательницы с ног сбились в попытках прекратить вспышку сезонного бедствия и, махнув рукой, разрешили молодежи порезвиться до наступления трудовых каникул.

Как-то раз, напугав Изочку, на школьной тропе бесшумно возник Гришка. Воровато оглянувшись, схватил за руку и исчез. В ладони осталась плитка шоколада «Садко». От встреченной потом в кино Гришкиной одноклассницы Изочка с изумлением узнала, что он – отличник и с «немкой шпрехает» почти на равных.

Поздним вечером, почти ночью, Гришка свистнул в окно:

– Эй, Журавленок!

Возмущенная Изочка прошипела в форточку:

– Геть отсюда, люди спят!

– А ты выйди, и не разбужу.

Изочка выбралась через оконную створку. Молча стояли у забора лицом к лицу, как тогда, в другом мире и мае. Изочку ошеломил ливневый поток воспоминаний о Коле-Ораторе, драке, вывихнутой руке, море солнечных луж, о маминых путешествиях-рассказах... обо всем.

Гришка сильно вырос. Ноги стали длинными, плечи – широкими, только цвет рыжих волос, оттенка спелых ягод боярышника, не изменился.

– Сказали, ты мной интересовалась, – пробормотал Гришка, и веснушки его знакомо слились в одну большую.

– Не интересовалась, а просто спросила.

– Ну, спросила.

Изочка мерзла, маялась и не знала, о чем говорить.

– Я в мореходное училище решил поступать, – брякнул он зачем-то.

– После восьмилетки?

– Потом в армии отслужу и – в институт. Стану капитаном дальнего плавания... Не веришь?

Изочка с деланным безразличием пожала плечом:

– Мне все равно.

В душе она зауважала Гришку за дальновидность – надо же, всю жизнь наперед рассчитал.

– Ну и ладно. Подумаешь, птица-журавль, – в его голосе звучала обида.

– Не называй меня так!

– А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Изочка растерялась. Она собиралась когда-нибудь съездить в Литву и выполнить данное маме обещание, но ни о каких институтах еще не думала, поэтому с вызовом выпалила первое, что пришло в голову:

– Артисткой!

– Погорелого театра, – хохотнул Гришка.

Тут и она обиделась. Разошлись без «до свидания».

Проникая сквозь ситцевые занавески, матовые лучи белой ночи освещали угол Полининой тумбочки, где лежал альбом с вырезанными из журналов фотографиями артистов. Изочка полистала альбом и нашла кадр из киноленты «Сорок первый». Марютку играла прекрасная тетка Изольда Извицкая. На снимке она и белогвардейский офицер Говоруха-Отрок стояли друг против друга, как Изочка с Гришкой.

Фильм шел недавно в кинотеатре «Мир». На афише была приписка: «До шестнадцати лет», потому что Марютка с поручиком целовались прямо на экране у всех на виду. Рассеянная контролерша, обрывая билеты, в потоке взрослых девочек за спиной Гали не заметила Изочку с Полиной, и они посмотрели картину.

Ах, как Марютка кричала в конце фильма: «Синегла-азенький!» Сама убила любимого человека и сама же кричала. Все девочки плакали.

...«Счастья вам, синеглазые», – сказала Зина Тугарина, прощаясь перед отъездом в Уржум. У Марии были синие глаза, и у Изочки они синие. Это все, что унаследовала она от мамы. На маму почему-то походила Майис, вовсе ей не родственница, словно кто-то закрасил глаза и волосы Марии в

черный цвет и кожу тронул загаром. «Одного литья серебро», – говорил о них дядя Степан...

Мама однажды обмолвилась, что Изочка – вылитая Сара, папина младшая сестра. Гарри Перельман не сумел узнать, в какую страну уехало большое семейство Готлибов. Жаль, не сохранилось карточек Сары... А дядя Паша хранит в своем паспорте фотографию Греты Гарбо. Эта голливудская актриса напоминает ему Марию. Изочка видела снимок и не нашла ничего общего с мамой в холодном лице американки, но промолчала...

Под кадром из «Сорок первого» Полининой рукой было мелко выведено: «Умру, но не отдам поцелуя без любви!»

Послышался смешок. Полина, оказывается, тоже еще не уснула. Усевшись на кровати по-турецки, кивнула на альбом:

– Отдала.

– Поцелуй без любви?! И что?

– Ничего, не умерла. Как видишь, живу до сих пор.

Потрясенная Изочка глаз не могла отвести от пухлого рта Полины. Никто из знакомых ей девочек еще не целовался. Даже Галя.

– А признайся-ка, Готлиб, к кому ты сейчас шастала на улицу? Только не ври!

– Зачем врать? – удивилась Изочка и вкратце рассказала о Гришке.

– Понятно, – Полина снова легла. – Шибко-то не бегай, как позовет, а то девчонки подумают всякое. И пусть пораньше приходит.

Изочка не спросила, что могут подумать девочки, ее занимал другой вопрос.

– Полина... Я, честное-пречестное слово, никому не скажу... С кем ты целовалась?

– Да с однокла-а-ассником, – зевнула Полина. – Просто так попробовали. Ему понравилось, а меня с первого разу затошнило.

– А со второго?

– Не было второго. Говорю же – противно стало от слюней.

Изочка вдруг нечаянно вспомнила Гришкины губы и рассердилась на себя: дался ей этот «боярышник»!

Моряку, наверное, все равно, какой он – рыжий, черный или вообще лысый, но актером такого бы не взяли, разве что клоуном в цирк. Вот Басиля бы точно пригласили сниматься в кино. Изочка никогда не встречала людей красивее. Басиль, конечно, успел вырасти там, на Кавказе, или в другом месте, куда привели чернобородого «короля» неведомые цыганские дороги...

Скоро лето. Отпустят ли воспитатели на пристань встречать первые пароходы?

Вода плещется, шуршит у смолистых бортов, солнце кладет яркие лоскуты на белую палубу, звенит трос, туго затянутый на причальном столбе... Суждено ли Изочке когда-нибудь увидеть солнечного мальчика?..

Вздыхнув, она достала из ящика тумбочки карманное зеркальце, глянула на себя искоса, издалека и вблизи. Сочла, что нос мог быть покороче. Огорчил стыдный румянец, весело заливший по-детски округлые щеки. Ничуть она не худая, ошибается тетя Матрена. Всякому, кто бросит взгляд на это румяное лицо, ясно, что отсутствием аппетита Изочка не страдает. Спасибо, что хоть не рыжая. Если похудеет к десятому классу, может, стоит подать документы в институт, где учат на актрис. Не один же Гришка такой предусмотрительный.

«Стану актрисой! – решила она и невольно прыснула: – Погорелого театра...» А что? Пусть не красавица, как Изольда Извицкая и Бэла Юрьевна, но не дурнушка. И память у нее хорошая, помнит наизусть все «мамины» монологи из пьес Чехова.

- Чего не спишь? – пробурчала Полина.
- Я хочу стать актрисой, – не стерпела Изочка.
- Хоти на здоровье, только спи, Готлиб...

## Глава 23

### Безобразная красота

Детдом попрощался с очередной группой выпускников. По завершении восьмилетки их определяли на работу с предоставлением жилья в общежитиях. Остальных воспитанников вывезли в лагерь, под который наспех приспособили несколько сараев, – пропалывать кукурузные поля. Нисколько Полина не преувеличила: работали от зари до заката. Изочка и думать не смела о том, чтобы отпроситься пасти коров, а тем более встречать пароходы на пристани.

Секретарь ЦК партии Никита Сергеевич Хрущев побывал в гостях у американского фермера и влюбился в кукурузу, дающую зерно и силосную массу, поэтому колхозам пришлось сеять универсальный злак на травяных землях. Под Якутском высеяли сорта «Рисовый» и «Конский зуб».

Сколько ни удобряй почву навозной жижей и древесной золой, початки не успевали вызреть за короткое северное лето. Позже выяснилось, что на земле, истощенной привередливой культурой, на следующий год не растет даже трава. Партия, тем не менее, требовала претворять в жизнь кормовые планы на основе именно кукурузы, и сокрушенные председатели сельсоветов велели агрономам кое-где использовать под нее пшеничные поля. Ведь если партия сказала: «Надо», солдатское «Есть!» выпаливалось в любой точке Советского Союза. Никто и не заикался о «нецелесообразности» и «неморозостойкости».

Сочные стебли «царицы полей» распробовали и повадились поедать гусеницы лугового мотылька. Днем колхозники и дети ловили летучих паразитов, шагая гуртом по полю с бреднями, ночами жгли костры. Мотыльки слетались на огонь и погибали. Утром пропольщики дергали осот и очищали гряды от куч мертвых бабочек. Следом шли «рыбаки», и снова в сетях трепетали жемчужные хлопья, сбитые из тысяч крохотных крыл...

Время за кукурузной страдой незаметно приблизилось к традиционному сбору картофеля, который назывался «осенней сельскохозяйственной практикой». С начала сентября студенты и ученики городских школ с четвертого класса по десятый во главе с педсоставами почти месяц проводили на картофельных полях. В выходные привозили «учиться труду» и младших детдомовских школьников. Никому без уважительной причины не дозволялось отвлекаться от работы более чем на

пятнадцать минут. С утра бригадиры давали задания, вечером подводили итоги. Не выполнишь свою норму за день – вернешь «долг» завтра.

Партия призывала к трудовым подвигам, по всей стране гремела фамилия Стаханова. Командиром стахановского движения у детдомовцев назначили Галю. Самая трудолюбивая из девочек, она умудрялась выполнять по две нечеловечески завышенные нормы. Могла бы, наверное, выполнить и три, но подводила жалость. После рапорта об ударной сдаче плана Галя платила нормативные «долги» за изнемогающих малышей.

Подружки молча подключались к этому антипоказательному акту. Только языкастая Полина, не разгибая спины, зло каламбурила:

– Для Галочки стараемся, не для «галочки»...

К вечеру девочки не отличались друг от друга – с грязевыми потеками на лицах от пота и пыли, в пыльной одежде, с серыми волосами, такими пыльными, что все расчески лишились зубьев. По распоряжению Леопарды завхозихе пришлось закупить ящик железных гребней. В умывалках на время устроили помывочную и выдали на каждую комнату по большому эмалированному тазу.

Когда сытые девочки еле ноги волокли из столовой, успевшая помыться и принарядиться Галя выпархивала за дверь и куда-то загадочно исчезала.

– Куда носится? – недоумевала Изочка. – Не поужинала даже!

– На свидания, – снисходительно пояснила Полина. – Не видела, что ли, опять Сережа ейный приперся.

– Который шофер из колхоза?

– Ну да, «кукурузный» роман у них с начала лета.

Недавно Изочка заметила, что Галя чистит зубы мелом, и поделилась с ней зубным порошком, а потом увидела, как она припудривает им нос! Тогда Изочка отдала Гале мамину пудру «Кармен» с красивой цыганкой на коробочке...

– Если кто из воспиталок Галю спросит, так ты скажи, будто она уже спит, – предупредила Наташа.

– А когда Галя придет?

– Налюбятся властью, и придет, – усмехнулась Полина.

Ночью Полина в подробностях рассказала, что значит «налюбятся». Туалетные секреты – пушки на колесах, расколотые пополам волосатые кокосы, лежащие друг на друге фигуры – замельтешили перед Изочкиными глазами, как полное трупов поле фантастической битвы.

Она вначале не поверила ни про Галю, ни вообще... Услышанное было омерзительным, невозможным. Полина явно ненормальная, если на ум ей

приходят эти кошмарные мысли! Может, она сошла с ума и ее надо лечить? Не посоветоваться ли потихоньку с Галей? Галя ведь староста...

Изочка размышляла так в гадливом смятении, а в голове вставала картина на Зеленом лугу, когда она нечаянно подглядела то, чему до сегодняшнего дня не придавала настоящего значения и с чем никак не связывала оскорбляющий слух глагол, – как выяснилось, синоним невинного слова «любить».

...Весной прошлого года ей позволили посещать маму в больничной палате, велели только не засиживаться. Изочка ходила в больницу после уроков каждый день. Потом наступили каникулы, и она бегала к маме до обеда и вечером. Прощаясь, всякий раз со щемящим сердцем отмечала многолетнюю усталость на бесцветном, словно вылепленном из стеарина, мамином лице. Думала, что бы приятное сделать для Мариечки, и ничего не могла придумать. Ей нравились грибы, но грибная и ягодная пора наступает ближе к осени. Изочка собирала на ближних лугах букетики белых ветрениц и фиолетовые незабудки. Мама тихо радовалась, опускала лицо в прохладные лепестки. Синие глаза ее становились ярче, она говорила: «Такие же незабудки растут у православного кладбища в Клайпеде». Стараясь не выдать своего огорчения, Изочка целовала ее бледные щеки и просила рассказать о папе и пани Ядвиге. Вспоминая их, мама всегда немного взбадривалась.

В начале июня у китайцев, торгующих возле магазина ранними овощами, появились связки зеленого лука. Изочка обрадовалась: полевой лук! Должно быть, подошло лучшее время сбора. Свежим луком можно присыпать супы и салаты, а лучше есть его просто с хлебом и постным маслом. Лук, говорят, повышает аппетит...

День выдался удачный – солнечный, ветреный, значит, не комариный. По маминой просьбе дядя Паша присматривал за Изочкой, поэтому она набросила на двери внутренний крючок, будто читала книжки ночью, а теперь спит. Каникулы же! Обувшись в резиновые сапоги, вылезла в окно и помчалась в низину Зеленого луга, на известную ей всхолмленную поляну в роще, где половодье убыло.

Ветер не давал зависать в воздухе проснувшимся шмелям в нарядных плюшевых одежках. Крохотными черно-желтыми торпедами носились они в воздушных течениях, с лету врезааясь в кусты цветущей кашки. А стрекоз, вестниц разлива, не было видно. Спрятались в траве, слабые их тельца ветер мог унести далеко от воды. Изочка тоже любила воду, ей хотелось посмотреть на уходящие в реки ручьи, но нельзя – время безжалостно, тогда она ничего не успеет.

Нежные перышки лука еще не успели взяться скороспелыми бутончиками семян. Изочка быстро собирала горьковато-пряные стебли, жуя их на ходу. В переносе шибало терпким духом, ядреный сок пощипывал края языка. Содрав лыко с тальниковой ветки, связала первый пучок. Готов был гостинец для мамы, осталось нарвать себе и соседям. Час сборов, дядя Паша хватиться не успеет...

В тени раскидистой осины трава поднималась гуще, и времени потратилось даже меньше рассчитанного. Помедлив, Изочка не удержалась, побежала к знакомой промоине под сенью гудящего комарами тальника. Туда, прилизывая зеленые прядки луга, отовсюду стекались мелкие ручьи, и журчащие их песенки сливались в хор кипучего водопада. Бешено вертя охапки мертвого перекасти-поля, веток и лежалой осенней листвы, поток устремлялся к речке, вздутой талыми водами сверх берегов.

Возле промоины, на безопасном расстоянии от нее, возвышалась каменная пластина с ровной серой макушкой и ребристыми боками, подернутыми бархатистым лишайником. Словно добрый великан перетащил сюда этот скальный обломок с берега Лены, чтобы кто-нибудь с удовольствием полюбовался игрой воды, шаловливой в ручьях и грозной в потоке.

Присев на пригретое темя камня, Изочка бездумно разглядывала чистые струи, обнимающие камень прозрачными рукавами, мягкое колыхание расчесанной водой травы, неширокий овражек – водный проход, неразмываемый потому, что был схвачен поперху корнями старых и побегамии новых кустов.

Шум водопада не заглушал иные звуки. Выветренные космы намытого мха и плауна шелестели на нижних ветвях деревьев, выше слышался птичий щебет. За кустами смородины громко заворковала дикая голубка – будто вездесущая вода и тут всклокотала, переливаясь в птичьей горле. Изочка не без сожаления слезла с камня – пора идти.

В молодой смородиновой поросли обнаружился оброненный кем-то мешок. Из него наполовину вывалился луковый пук в ивовом свясле. Алая кофточка повисла на ветке березы, как спущенный флаг...

Голубка снова взбурлила порожистым горлом. Изочка подкралась на цыпочках, тихо-тихо разомкнула кусты, залепленные клочьями погибшего ила.

...Двухголовое лесное существо, обнаженное, светлое на фоне темной земли и зелени, двигалось размеренными рывками, не сходя с гнезда из вороха одежды и прошлогоднего сена. Человечьи головы чудища, зажмуренные и слегка оскаленные, то запрокидывались в разные стороны,

то сближались. Трудно было сразу сообразить, что это – двое. Кто-то из них пел прерывистую голубиную песнь. В путанице сплетенных тел змеились по чьим-то мускулистым плечам чьи-то гибкие руки, лозами свивались за шеей, вонзались ногтями в лопатки... Чьи-то большие загорелые пальцы перебирали и сдавливали чьи-то податливые ягодицы, и ягодицы светились, как шары фосфоресцирующей глины. Пара полусогнутых ног упиралась пятками в землю, другая пара обнимала бедрами и коленями смуглый торс, похожий на ошкуренный волнами древесный ствол, – он колыхался мощно, опасно, словно собираясь вот-вот вывернуться из-под изгибов и перекатов крепко сбитой плоти. Трепеща в резких толчках, вздымалась и терлась о тернии небритого подбородка молочно-белая грудь. Красные губы открывались широко, влажно и прихватывали жадным ртом торчащие кверху розовые бутоны сосцов... И все это, туго налитое молоком и кровью, в бликах и переходах от млечного к золотисто-смуглому, взблескивало и переливалось, качаясь снаружи и друг в друге бесконечно, упруго и празднично.

Оцепеневшая Изочка понимала, что не доросла до постижения человека, слитого из двух, что ей запрещено это видеть. Зрелище казалось одновременно уродливым и прекрасным и, конечно, не предназначалось для детей. Оно вообще ни для кого не предназначалось. Это и зрелищем не было, это была тайна, чужая, только на двоих тайна. Но что-то странное, тягучее горячо поднималось внутри, и хотелось смотреть и смотреть, как спаянные воедино мужчина и женщина летают на невидимых качелях, сидя в птичьем гнезде на совершенно бездвижной почве, затянутой дырявым войлоком сухой тины.

В Изочке боролись жгучий стыд, изумление, любопытство... и стыд победил – она опрометью бросилась из кустов.

У края луковой поляны ее догнал, ударил в спину гортанный крик. Птичья песнь позади завершилась душераздирающим стоном. Горлица кричала глубоким жалобным голосом, на пределе высокой мольбы, будто билась в силке.

Изочка неслась с Зеленого луга, яростно расчесываясь на бегу. Комары все-таки покусали лицо и руки, пока она стояла в сырых кустах. А те люди, похоже, не чувствовали ни комариных укусов, ни сырости, хотя были голыми. Они не заметили Изочку и вряд ли увидели бы, даже если б она встала к ним ближе. Они ничего вокруг не видели, до самозабвения увлеченные своей работой... нет, скорее, игрой, ведь качели – развлечение. Хотя, если эти двое забавлялись, почему женщина стонала так жутко – мужчина же ее не убивал?..

Теперь выяснилось: чудная игра называется словом «любится» и другим, непроизносимым. А Полина спокойно перечислила всякие матерщинные слова. Изочка часто их слышала и, случалось, без всякого умысла повторяла некоторые при Марии, за что получала по губам. Спросила потом у Гришки, а он покраснел и пробормотал: «Ты дура».

...Оказывается, после того, как люди налюбуются, у них рождаются дети. Мужчина бросает в женщину семя. За девять месяцев семя в таинственной брюшной полости превращается в дитя. Ребенок выпадает из того места, которым писают. Ужасная Полина назвала эту часть тела «кокосовым» словом, самым тошнотворным из всех, грязным, как дыра уборной...

Раз дети появляются только так и не иначе, все имеющие детей взрослые, несомненно, любились. Все – цари и царицы, короли и королевы в сказках, принцы и золушки, ученые, поэты, художники, учителя, балерины – даже учителя и балерины! – любились. А звери? Наверное, и они! Зайцы, волки, медведи... Изочка замерла от невероятной догадки: все человечество и все «зверство» на земле занимается этим!..

Выходит, если повзрослеешь, выйдешь замуж и захочешь родить ребеночка, тоже придется... Изочка содрогнулась, представив себя с зажмуренными глазами и оскаленным ртом на коленях мальчика... то есть мужчины. «Вранье, выдумка, Полина спятила», – отбивалась она от диких мыслей, уже нисколько не сомневаясь, что это – правда.

– Откуда ты про такую «любовь» знаешь? – поинтересовалась Изочка с нехорошими подозрениями.

– Все кругом знают, кроме тебя, Готлиб, – сонно засмеялась Полина.

Изочка страшно устала от картофельной нормы, но долго не могла уснуть. В темноте перед нею маячило, сотрясаясь в конвульсиях, двухголовое существо. Черты его запрокинутых в необъяснимой истоме лиц чудились знакомыми. Мелькали русый вихор колхозного шофера Сергея и русые косы Гали – оба они были светло-русыми, крупнотелыми и походили друг на друга, как брат и сестра.

Нет, в прошлом году Изочка видела не их, они тогда не встречались, даже не познакомились еще. А в глазах все равно мелко подрагивала большая, белая Галина грудь, виденная в бане, – предмет девчоночьих обсуждений, насмешек, а может быть, зависти...

Сердце Изочки заходило от бесконечной жалости к красоте и безобразию нераздельного существа, и сжатый комок внутренностей медленно поднимался в животе снизу вверх, как бывает от высоты.

## Глава 24

### Подарки

Началась учеба, а Галя, не дождавшись совершеннолетия, ушла жить к Сергею. Ушла, хотя стыдили и звали, поэтому не получила ничего, что с поздравлениями и пожеланиями вручают напоследок выпускнику. Правда, позднее Леонарда Владимировна все же послала самовольщице положенную сумму денег – на свадьбу.

Девочки отправились к Гале после уроков за неделю до торжества. Найти двор молодых оказалось несложно: колхоз выделил водителю участок на окраине, где друзья помогли ему поставить засыпуху-временку – перемочь год-два, пока не поднимется пятистенка с денежкой в лапу<sup>[66]</sup>, рассчитанная не на одно поколение. На символически огороженном столбиками дворе уже возвышалась груда золотистых бревен.

Новоиспеченная хозяйка обрадовалась гостям, налила чаю и застеснялась, что, кроме сухариков, угостить нечем:

– Мы ж на чашки-ложки, на вещи нужные потратились... Зарплату Сереже завтра должны дать. А к зиме с долгами расплатимся, накупим продуктов и станете ко мне на обед бегать. Не хуже Молчановой буду первое-второе стряпать!

Свадьба, выяснили девочки не без некоторого разочарования, ожидалась скромная, без пышного наряда и золотых колец.

– Да никакая это не свадьба, – смущалась невеста. – Просто чаепитие. И не вздумайте ничего дарить! Будто я не знаю, что денег вам неоткуда взять. Лучший подарок – вы сами, а то ведь могут и не отпустить.

– Пусть попробуют, – нахмурилась Полина.

Опасаясь опоздать на обед, девочки сидели как на иголках. Галя торопила конфузливо:

– Бегите, голодными же останетесь...

В дороге Полина кричала:

– Я лично без подарка не пойду! Галка не хочет нас затруднять и жалеет, но это позор – идти на свадебное чаепитие без подарка!

Наташа согласилась – конечно, позор. Принялись бурно обсуждать животрепещущий вопрос – что подарить? Посуду, постельное белье, электрочайник, утюг, радиоприемник?

Предложений была куча. Денег не было.

– Готлиб, попроси-ка ты рублей двести у своего дяди Паши в долг, – нашла выход Полина. – Он добрый, согласится подождать несколько лет. А

как начнем работать, с первых же получек отдадим.

Просьба тяжело обременила Изочку.

– Посмотрим. Если придет в воскресенье...

Она не видела его с «картошки» и сильно беспокоилась. К вечеру уже было прикинула, не сбежать ли в общежитие на улице Карла Байкалова, и вдруг дядя Паша сам притащился, крепко подвыпивший, с огромным мешком за плечами, как Дед Мороз.

Девочки деликатно удалились, чтобы не смущать Изочку и поддатого дядю Пашу. Закрывая за собой дверь, Полина безмолвно, одними губами напомнила: «Деньги попроси!»

– Павел Пудович, вы б не пили больше...

– Не-е, не буду, – дыша в сторону, виновато просипел он. – Извиняй, что под градусом... Сейчас уйду. В командировку отправляют, не скоро вернусь, решил подарок к твоему дню рождения заранее принести.

С этими словами дядя Паша извлек из мешка... патефон! И коробку с грампластинками. Изочка выставила вперед ладони:

– Не возьму.

– Обидишь меня. Ты у нас нынче взрослая барышня. Танцевать будете. Плясовых тут нет, но танго с романсами – пожалуйста: Строк, Вертинский, Лещенко, зарубежные певцы. Редкие пластинки, в Москве заказывал.

– А как вы, Павел Пудович? Вы же раньше часто музыку заводили...

– Теперь не завожу. Не могу слушать. Вспомню, как ты «Утро туманное» дуэтом с Козиным пела, и не могу...

Смахнув пьяные слезы, он пошарил за пазухой и выложил с краю тумбочки пачку рублей, перетянутую аптечной резинкой.

– Вот деньги еще. Справишь свой праздник по-человечески, с тортом-конфетами, себе что-нибудь необходимое купишь.

Из головы Изочки мгновенно вылетели всякие просьбы, свадьбы, подарки... Горький ком подступил к горлу, и голос зазвенел, точно на срыве:

– Я его не справляю! Когда я родилась, умер папа, и мама тоже – в мой день рождения! Этот день проклят... проклят!

– Напрасно так думаешь, – покачал головой дядя Паша. – Наверно, Мария там, – он поднял палец к потолку, – огорчается, глядячи на тебя сейчас. Не нарочно же отец и она ушли к Богу по твоей дате, совпало просто.

– Зачем вы о Боге говорите... Вы же в Него не верите...

– Верю, не верю – какая разница? – припухшие глаза дяди Паши смотрели почти трезво и строго. – Не обо мне речь. Мария верила, значит,

к Нему ушла.

– Правда?..

– Правда, – вздохнул он. – Все куда-то уходят от болезни ли, от старости... У меня вот наступает пора, когда дни рождения не очень-то ждешь и не радуешься им, как прежде. Сокращается впереди время. Но пока человек маленький... юный, хотел я сказать, – отмечать надо. Не огорчай маму, Изочка. А то получается, что ты виноватишь ее в нечаянном уходе, если не желаешь считаться с датой своего рождения. Как ни крути, выходит, коришь, что Мария любила тебя, жила ради тебя и о себе не думала... Ты к этому дню по-другому попробуй отнестись. Особенный он: хоть и печальный, а в то же время с благодарностью к матери за счастье жить, и сама эта радость. Хохот-веселье вовсе не обязательно устраивать, однако музыка хорошая, песня, танец спокойный – душе отрада и памяти не мешает...

Увидев на Изочкиной тумбочке патефон, девчонки восторженно заскакали между кроватями: ура, ура!

– Подарил?

– На день рождения.

– Так ведь не сегодня?

– Павел Пудович в командировку уезжает.

– А Галке на подарок? – грозно надвинулась Полина.

Изочка кивнула на незамеченную девочками стопку денег на краю тумбочки.

– Молодец! Сколько здесь?

– Не знаю. Это не в долг.

– Ничего себе, балует как...

Полина пересчитала деньги:

– Ровно двести, будто подгадал! Ну что, дашь в долг?

– Без долга.

– Нет уж. Заработаем и свою часть вернем.

## **Глава 25**

### **Детская душа человека**

Не стали размениваться на мелочи, решили купить в подарок диван. В день чаепития девочки, как могли, принарядились. А Изочке воспитательница сказала:

– Исполнится четырнадцать, вступишь в комсомол, тогда и начнешь на

свадьбах гулять.

Наташа утешала:

– Не огорчайся, чаепитие же не настоящая свадьба. Наверное, торт будет, Галка обязательно пришлет тебе кусок.

При чем тут торт?! У Изочки ресницы дрожали от обиды.

Полина чуть подвела глаза черным карандашом, скулы тронула срезом свеклы и растерла, свеклой же нарисовала губы. Повернулась к девчонкам:

– Ну как?

Изочка в изумлении уставилась на Полину, тотчас забыв о всяких обидах. На нее смотрела журнальная красавица: прямые желтые волосы легли на косой пробор во взрослой прическе, глаза загадочно блестят и большой яркий рот, оказалось, ничуть не портит лица. Напротив, украшает.

– Ты прямо артистка какая-то! – восхитилась Наташа.

Полина гордо повела рукой:

– Не какая-то, а актриса оперного театра Полина Удде... – она поморщилась, – вот фамилию эту дурацкую я непременно сменю.

– Приехал, приехал, скорее давайте! – замахали руками в дверях собравшиеся девчонки.

За гостями и одолженным на Галин праздник патефоном прибыл на тракторе с прицепом друг Сергея.

В комнате поскучнело. Изочка начала и отложила штопку чулок. Не хотелось ни читать, ни даже выйти к коровам. Вспомнила об Аленушке – с Нового года не разговаривала с ней. Вынув куклу из тумбочки, вгляделась в смешное лицо с синими бусинками-глазками. На круглой Аленушкиной голове все так же задорно торчала жесткая косица, сплетенная из конских волос, но ладошки и ступни потемнели, а красный в белую крапинку сарафан выцвел. Куклины жестяные стол и стульчики, вырезанные папой из банок, Изочка оставила в старом общежитии на этажерке. Они давно проржавели и лишились нескольких ножек...

Дядя Паша подарил Аленушку после того, как Изочка нашла гнома Аборта Подпольного. Кукла спасала хозяйку от плохих мыслей и снов. Помнила маму...

**«Майис рассказывала, – раздался в памяти мамин голос, – в прежние времена при рождении ребенка якуты скручивали куклу из бересты. Она называлась «ого-кут» – детская душа человека...»**

– Аль-ленушка. Ль-люб-ль-ю, Ль-ена, Изо-ль-да.

Мягкий звук «эль» нежил нёбо, Аленушка улыбалась ласково и понятно. Она была не просто игрушкой, а «ого-кут».

Изочка вдруг обнаружила, что играть ей тоже не хочется. Не сейчас, а

совсем.

– Прости меня, – сказала она тихо. – Я, кажется, выросла.

Кукла, как раньше, обняла ее лицо берестяными ручками, деревянными ладошками. Изочка уткнулась в сарафанную грудь, вобравшую в себя кислый казенный запах, и закрыла глаза.

Песни и разговоры с Аленушкой, ожидание мамы с работы, из больницы, плач и холодные ночи с куклой вдвоем, когда Мариечка ушла к Богу, – все осталось близко и далеко. Там, в оставшемся времени, жил и легко превращался в белку и кукшу дух леса Байанай, и, наверное, продолжали подниматься из низин к вершинам волшебные создания воздуха и лазури, которых Изочка видела когда-то, а теперь будет видеть вместо них обыкновенных стрекозок. Там по лесной тропе шла впереди матушка Майис, озаренная веснушчатым солнцем, и ангелом летела в небо светлая мамина душа...

Изочка подумала, что никогда не уедет отсюда, из-под этого неба, от всего дорогого, к чему крепкими корнями, как берега ручьиного овражка на Зеленом лугу, привязана ее собственная детская душа.

«Лесное, речное, небесное – лес на моей земле, река и небо, вода и воздух...»

– Смотри, малышка-то наша с куклой в обнимку спит! – услышала Изочка насмешливый Полинин голос.

– Пусть спит, а ты не буди, – сказала Наташа. – Давай гостинцы на подушку положим.

Донеслось бумажное шебуршанье, и над головой сладко заблагоухало кондитерской выпечкой. Изочка потянула носом, сонно протерла глаза:

– Вы уже пришли?

– А то кто, если не мы?!

Синие сумерки завесили снаружи окно.

– Вставай, все на свете проспичь! Гляди, что мы тебе принесли.

Вместе с обещанным куском торта Галя отправила Изочке целый пакет разных вкусовностей – сахарные рулетки, ватрушки, печенье с повидлом, конфеты...

– Галка сильно жалела, что тебя не пустили.

Скоро в комнату набились девочки из других комнат, и получилось маленькое пиршество для тех, кто не был у Гали. Полина с Наташей наперебой рассказывали, как продавцы, узнав, что диван куплен на свадьбу, по своему почину упаковали его в бумагу и перевязали атласными лентами. Роскошный подарок гости привезли все на том же тракторе и еле протащили в узкую дверь засыпухи.

– Галка рада была-а! Аж разревелась. Сергей сразу выкинул ящики, на которых они спали.

– Мы думали – во что Галя оденется? Наизусть же знаем все два ее платья! А она – в белом, жених настоял! Наряд шелковый, шторка на голове кружевная!

– Фата, – поправила Полина.

– Ну да, невестина, с цветами веночком.

– А прическу Галке в парикмахерской делали.

– Людей пришло! Кроме наших еще человек пятнадцать, парни стоя угощались.

– Галка полный стол всего наготовила, ей сестры жениховские помогли.

Наташа шепнула на ухо Изочке:

– Мы шампанское и сухое вино попробовали, так что не совсем чаепитие...

– Жаль, на пластинках быстрых танцев не было, но хорошо потанцевали, когда стол на улицу вынесли. Галка «спасибо» передавала за патефон. Над пластинками тряслась, боялась, что разобьют.

– А тракторист с Полинки глаз не сводил и раз пять приглашал на танго!

– Больно мне нужен этот колхозник! – фыркнула Полина. – Я для другого себя берегу.

– Для кого это?

– Все вам вынь да положь!

– Для артиста из Москвы, – засмеялась, дразнясь, Наташа, – она пока только на фотке с ним познакомилась!

– А правда, что Галя беременная?

Девочки переглянулись. Вопрос, заданный известной в детдоме болтуньей, повис в воздухе.

– Вот что, дорогуша, – красная от гнева Полина поймала болтуньин локоть, – будешь сплетничать – отлуплю!

– Она с лета не целка, все знают, – защищалась та.

– А тебе завидно? Или мстишь за то, что не позвала? – прошипела Полина, выпуская локоть из цепких пальцев.

Настроение у всех испортилось, и потихоньку девочки разошлись.

Изочка ничего не поняла. Что за целка, в чем обвинили Галю? Полина сокрушенно всплеснула руками:

– Ты, Готлиб, хоть маленько в жизни смыслишь? Целка – это наша честь. Галка с «кукурузы» нечестная, потому и балаболят про нее.

– Я не помню, чтобы Галя кого-нибудь обманывала.

Полина захохотала:

– Насмешила, будто сама в капусте родилась!

– Это кукленьш родился в капусте, – некстати ляпнула Изочка, еще близкая к посетившим ее сегодня воспоминаниям. – А я под кустом нашла.

– Чей кукленьш? – насторожилась Полина.

– Не знаю... Я долго думала, что это гномик. Нибелунг...

– Ну-ка, что за гномики-кукленьши?

Изочка послушно начала рассказывать, внутренне напрягаясь и холодея. Полина слушала, сидя в изножье кровати, окаменевшая, с белым, как стена, лицом. Косточки пальцев на кроватиной спинке тоже побелели, словно бездвижная Полина собралась согнуть железо силой мысли. В глазах никогда не плачущей девочки – бесшабашной, веселой, злобной, дерзкой, грубой, какой привыкла видеть свою соседку Изочка, застыли слезы и боль. Едва рассказ кончился, Полина молча закрыла лицо руками и бросилась вон из комнаты.

– Зря ты, – вздохнула Наташа.

Изочка растерялась:

– Я ничего... я не дума...

– Не догадываешься, почему она тебя по фамилии все время зовет?

– Почему?

– Твоя фамилия не по-простому звучит, артистично, и нравится ей. А своя не нравится. Она же Удверина. У двери, значит, поняла?

– Нет...

– Вот у тебя мать померла, – безжалостно сказала Наташа, – у меня – тоже, от туберкулеза, у Галки обое, мать и отец, враз потонули, когда наводнение случилось. Но у всех нас родители кой-какие имелись, хоть и померли, поэтому сироты мы. А Полинка – подкидыш. Оставили ее, новорожденную, у двери нашего корпуса, в одной пеленке с запиской – имя там было, и всё. Хорошо, что летом родилась, а то бы напрочь замерзла.

– Кто... оставил?

– Кто-кто. Такая же «прости господи», что кукленьша в кусты кинула.

## **Глава 26**

### **Алый цветок**

Через несколько дней молодая жена пришла в гости. Изочке бросился в

глаза ее подросший живот. Привычная и незнакомая, Галя сияла белым лицом, светлым венком косы.

– Отпросилась у мужа. Дай, думаю, загляну к своим.

Пили чай с домашним рыбным пирогом, Галя рассказывала какие-то неинтересные деревенские новости. В заминке Полина навалилась на стол локтями, подалась к гостье. До Изочки донесся горячечный шепот:

– Как диван? Хорошо вам спать на нем?

– Ага. Мягкий.

– А с мужем как спать... хорошо тебе?

Галя метнула на Изочку смущенный взгляд, прикрыла ладонью зардевшееся лицо:

– Без особого интересу я к этому... Перестань, что ты при малой-то...

– Ой, будто она не знает! Все она знает!

Изочке стало неловко и стыдно за Полину:

– Спасибо, Галя, очень вкусный пирог.

– Почему не доела тогда?

– Я потом... Я домашние уроки еще не сделала.

Разложив на тумбочке учебники и тетрадки, Изочка попыталась сосредоточиться, но в их камерке далеко не спрячешься, хоть уши затыкай, и лица – лица девочек вот они, перед глазами.

– Сплетничают, что ты сразу ему дала, – не унималась Полина. – Чего торопилась?

– Я поверила Сереже, как можно было ему не поверить? Он у меня такой... он добрый. Ну и пожалела, конечно. – Галя словно оправдывалась, или впрямь считала себя в чем-то виноватой. Щеки полыхали малиновым жаром. – Люблю я его, Полинка...

– Дожалелась, – жестко сказала Полина, садясь прямо. – Женщины от родов дурнеют, и многие мужики перестают любить своих жен после рождения детей.

– Только не мой Сережа, – уверенно улыбнулась Галя. – Он ребятишек любит, как я. Мы не меньше четырех хотим – двух мальчиков и двух девочек. Я ж привыкла, что детей много вокруг. Но семья у меня будет родная, собственная. Не детдом. Я матерью стану, Полинка. Матерью, понимаешь?!

...Вечером Изочка с Полиной должны были дежурить в коровнике. Пятнашка привыкла к тому, что девочки доят ее по очереди, а Изочкиным рукам особенно доверяла. Так говорила тетя Аглая.

Изочка подошла к коровнику и рассмеялась. Кто-то из девчонок повесил у входа плакат со стихами Маяковского:

Если тебе «корова» имя,  
У тебя должны быть молоко и вымя,  
А если ты без молока и без вымени,  
То чёрта ль в твоём коровьем имени?

Под стихотворением красовался рисунок акварельными красками. Пятнашка была в рисунке круглая, как воздушный шар, а вымя напоминало морское животное. Румяного кальмара с толстыми щупальцами.

Сняв с замшевого носа Марты тальниковый намордник, Изочка подтолкнула ее к вымени Пятнашки. Машинально поглаживала курчавый Мартин лоб, а у самой из головы не выходило: «...с мужем как спать... хорошо тебе? – Без особого интересу я к этому... – Женщины от родов дурнеют...»

Ничего не поделаешь, если тебе «женщина» имя. «Не выйду замуж и рожать не буду», – решила Изочка. Привязала Марту, пока теля не высосала все молоко. Подсела к Пятнашке и, в ожидании замешкавшейся с ведром Полины, принялась читать монолог из чеховской «Чайки».

– Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустыне уныло, и никто не слышит...

– Да слышу я, слышу, – звякая подойником, откликнулась от двери Полина. – С кем болтаешь?

– С коровами, – стушевалась Изочка.

Полина задумчиво усмехнулась:

– Вот смотрю я на тебя, Готлиб, и никак не пойму: то ли ты шибко умная, то ли, наоборот, дура дурой. А может, «луч света в темном царстве»?..

Перед обедом забежал Галин Сережа. Все испугались, думали, что-то случилось, а он вручил Изочке коробку с бисквитным тортом. Только тогда она вспомнила, что у нее день рождения.

Полина подарила общую тетрадь, почти новую, всего без пяти передних листов. Наташа, рукодельница и чистюля, – носовой платок с тоненькими кружавчиками по краям. В детдоме носовые платки не полагались, не напасешься на всех. Если у кого-то начинался насморк, кастелянша выдавала чистые тряпочки.

Самой приятной неожиданностью для Изочки стал подарок Бэлы Юрьевны. Воспитательницы в этот день не было, но передала через няню таинственную сумочку, шитую из зеленого шелка. Изочка открыла, а там – пуанты! Она видела пуанты только на ногах Бэлы Юрьевны во время занятий танцами – белые, атласные, твердые, со срезанным носочком и

завязочками. Белочка, наверное, специально заказала мастеру балетную обувь, ведь в магазине такая не продается, и размер как-то узнала...

Пуанты пришлись впору и крепко держали ступню, чуткие к ногам. Изочка закружилась между койками – ах, как весело, как легко! Плие! Деми! Батман тондю!

– Ишь, пируэты откалывает, – кивнула Наташа Полине, любуясь Изочкой, – балерина!

Полина отложила учебник истории, засмеялась:

– Готлиб, мы с тобой в одном театре будем работать! Я – петь, ты – танцевать!

– Нет, я хочу сниматься в фильмах! – крикнула Изочка, прыгая у двери. – Актрисы кино умеют петь, танцевать, представлять смех и слезы, все-все умеют!

– Может, и станешь сниматься, – согласилась покладистая отчего-то Полина. – У тебя глаза красивые. Волосы тоже ничего, сами по себе вьются. И скачешь, как горный козел.

– Ты же говорила, что никуда отсюда не уедешь, – напомнила Наташа. – А на актрис не здесь, в Москве учат. Если еще Леопарда позволит десять классов закончить.

– Отучусь и приеду, к тому времени здесь свою киностудию откроют!

– Ага, через тыщцу лет, имени знаменитой Изольды Готлиб!

Наташа щекотнула под ребра, когда будущая знаменитость пролетала мимо. Изочка рухнула на койку, хохоча, задргала ногами в чудесных пуантах... ой, мамочки, – и, захлебнувшись смешком, замерла.

Мама!

**«Мария любила тебя, жила ради тебя и о себе не думала... Ты к этому дню по-другому попробуй отнестись. Особенный он: хоть и печальный, а в то же время с благодарностью к матери за счастье жить, и сама эта радость. Хохот-веселье вовсе не обязательно устраивать...»**

Как Изочка посмела веселиться, плясать и прыгать в день маминой смерти?! Как могла забыть?!

Пуанты упокоились до времени в тумбочке. Изочка вытащила патефон из-под кровати. Пластинка Вадима Козина поверх конверта была бережно обернута газетой. Дорожки на старом диске стерлись, игла шипела, «заедала» и подскакивала на слове «туманное»: «Утро туман-ма-манное».

На ужин не пошли. У запасливой Наташи с прихода Гали сохранился кусочек плиточного чая, попросили у няни кипяток из «титана». Весь

вкуснющий торт съели втроем. Он, впрочем, был небольшой, размером с пять пирожных. Изочка никого не позвала.

– Ты чего закуксулась? – спросила Наташа.

– Так...

Полина взглянула внимательно:

– Плакать, что ли, собралась?

Изочка не ответила, отошла к тумбочке и снова завела патефон.

– Ма-ма, ма-ма, – страдал бархатный голос. Изочка легонько подталкивала иглу, и «больное» место перескакивало сразу на «Нехотя вспомнишь и время былое...»

Окно схватилось к ночи искристыми иголочками. Через дорогу и перелесок за ним простирались нивы. Печальные, снегом покрытые.

Давно ушел с земли писатель Тургенев, ушел и автор прекрасной музыки, а Изочка, живая и пока еще не старая, сидела и слушала их романс. До самого отбоя крутила одну и ту же пластинку. Девочкам надоело, но они терпели, все-таки день рождения у человека...

Под утро Изочка проснулась оттого, что между ног стало горячо и мокро. «Неужели описалась?» – удивилась она. Но было не просто мокро, а скользко и липко. Изочка встала с постели, подошла к светящейся дверной щели и нагнулась. Прямо на ее глазах в середине пижамных штанов расцвел алый цветок.

«Умираю! – ужаснулась Изочка. – Бог покарал меня за веселье и пляски в смертный день!» И вспомнила: «Красная армия...»

Няня, дремлющая в конце коридора на трех табуретах, открыла глаза и села, едва Изочка подошла к ней. Заметив красноречивое пятно, сочувственно качнула головой:

– Пока полотенечко чистое дам, а завтра у кастелянши попроси, у нее на это дело старые простынки откладены.

Потом, лежа в кровати и стараясь не двигаться, Изочка с отвращением прошептала:

– И так двенадцать раз в год.

В окно поверх тонких узоров инея уже заглядывало туманное утро. Его сдержанный, царственно синий свет будил на стенах неспящие тени. Тело дышало знойной пропастью, живот потягивало больно и жарко.

Изочка думала о маме Марии и матушке Майис – что бы они сказали ей сегодня? Думала, что теперь весной законно получит от государства вместо ватника полупальто с цигейковым воротником и хромовые сапожки. Она будет начищать их гуталином до безупречного блеска. Если майской ночью к ней, как в тот раз, явится Гришка, он, может быть,

согласится поцеловать ее один раз для проверки – интересно это или так себе. Изочка думала, что когда дядя Паша вернется из командировки, она расскажет ему про диван для Гали и попросит в долг немного денег на польские духи, либо рижские, какие найдутся, чтобы меньше пахнуть детдомовской хлоркой. Думала, что стала настоящей девушкой, взрослой Изой – Изольдой, и маленькой наивной Изочкой не будет уже никогда...

Никогда.

# Примечания

**1**

Огокко́ – дитя (**якут.**).

**2**

Начало истории читайте в романе А. Борисовой «Змеев столб».

**3**

ТФТ – Тяжелый Физический Труд. Рекомендация ТФТ стояла на справке спецпоселенца.

**4**

«Равновесие в доме – мир вокруг» (**лат.**).

**5**

Нельма – ценная промысловая рыба семейства лососевых, подвид белорыбицы.

**6**

Лагушок – кадушка емкостью в два-три ведра.

**7**

Сметона Антанас (1874–1944) – государственный деятель, один из идеологов литовского нацизма, президент Литовской Республики (1926–1940).

**8**

Огокком – дитяtko мое (**якут.**). Буква «м» придает слову «огокко» (дитя) более нежный и собственнический оттенок.

## 9

Белым золотом якуты называют серебро.

## 10

Ысыах – кумысное торжество, от слова «ыс» – «кропи», «брызгай», отмечается во второй половине июня. В старину к этой поре накапливалось необходимое для отправления празднества количество кобыльего молока, и якуты готовили кумыс. Во время главного праздничного обряда в честь богов и грядущего плодородия жертвенным кумысом окропляли огонь и землю. В советские годы «праздник с духами» не приветствовался и его справляли негласно либо под видом праздника, посвященного лету. Вновь начали повсеместно отмечать в 90-е годы. Теперь ысыах – самый большой и любимый национальный праздник в Якутии.

## 11

Дорообо – якутская интерпретация слова «здравствуй».

## 12

Балтым – сестренка (**якут.**).

## 13

Кулун – жеребенок (**якут.**).

## 14

Ынах – корова, здесь – коровью (**якут.**).

## 15

Ыт – собака (**якут.**).

## 16

Оголор – дети (**якут.**).

## 17

Соло – свободное время, досуг (**якут.**).

**18**

Догор – друг (**якут.**).

**19**

Уус – мастер (**якут.**).

**20**

Ок-сиэ – ироническое междометие (**якут.**).

**21**

Красным (ребенком) якуты называют новорожденного.

**22**

Письменность появилась у якутов в 1922 году. Алфавит вначале состоял из латинских букв, а незадолго до войны их заменили кириллицей, только в написании тех звуков, которых не было в русской речи, буквы остались латинскими.

**23**

Нууча – русский (**якут.**).

**24**

Саха – самоназвание якутов.

**25**

Хомус – якутский варган.

**26**

Чохоон – национальное якутское блюдо из взбитого с теплым молоком сливочного масла, часто с земляникой. Едят в замороженном виде.

**27**

Юрюнг кэмюс – белое золото, т. е. серебро (**якут.**).

**28**

Бурдук – мука (**якут.**).

**29**

Куобах – заяц (**якут.**).

**30**

Балык – рыба (**якут.**).

**31**

Мунгха – неводьба и сам невод (**якут.**).

**32**

Дьэдьэн – земляника, дьэдьэнээх – с земляникой (**якут.**).

**33**

Накаас – мучение, трудность (**якут.**).

**34**

Кыыл – зверь (**якут.**).

**35**

Тый! – возглас удивления вроде «ох!», «надо же!» (**якут.**).

**36**

Тойон – богатый человек, начальник (**якут.**).

**37**

Камусы – олени «лапки», полосы шкур с ног оленя. В центральной

части Якутии оленей не держат, камусы завозятся из северных мест.

### 38

Пешня – ледоруб.

### 39

Эр киһи́ – мужчина (**якут.**). Буквально – человек-мужчина.

### 40

Алас – удобная для сенокоса луговая низина в обрамлении тайги (**якут.**).

### 41

Заболонь – подкорковая мездра хвойного дерева. Сосновую заболонь мололи в муку после кипячения в нескольких водах и сушки, использовали для заправки молочных блюд.

### 42

Раньше сахар продавался большим куском, напоминающим пирамиду, и назывался сахарной головой.

### 43

Сайылык – летник на месте покоса (**якут.**).

### 44

Чорон – деревянный ритуальный кубок для питья кумыса (**якут.**). Формой напоминает грушу.

### 45

Домм-эре-домм – заставка к молитве, песне, песенному сказанию.

### 46

С 1950 по 1953 г. делами спецпоселенцев ведало 9-е управление в

составе Министерства госбезопасности СССР.

#### **47**

Скопцы – религиозная секта, возникшая в конце XVIII века, основа вероучения которой состоит в утверждении, что спасти душу можно только оскотлением (кастрацией). Принадлежность к секте каралась ссылкой в Сибирь и на Север.

#### **48**

«Кольцо нибелунга» – оперная тетралогия Р. Вагнера, основанная на сказаниях скандинавского и древнегерманского эпосов.

#### **49**

Тугунок – мелкая, вроде анчоуса, речная рыбка, водится в Лене.

#### **50**

Маро – хлеб (**цыганск.**).

#### **51**

Кон ту? Ромны? – Кто ты? Цыганка? (**цыганск.**)

#### **52**

На дар! – Не бойся! (**цыганск.**)

#### **53**

Со тукэ трэби? – Чего тебе надо? (**цыганск.**)

#### **54**

Аи – да (**цыганск.**).

#### **55**

Йав кэ мэ! – Иди сюда! (**цыганск.**)

**56**

Са – всё (цыганск.).

**57**

На бистыр – Не забудь (цыганск.).

**58**

Нат бахт тукэ... – Нет счастья тебе... (цыганск.)

**59**

Чяво – сын (цыганск.).

**60**

Ром – цыган (цыганск.).

**61**

Ийэ – матушка (якут.).

**62**

С 1947-го по 1954-й учебный год мальчики и девочки обучались в городских школах отдельно. Большое значение в мужских школах придавалось урокам военного дела. В 1954 г. постановлением Совмина СССР совместное обучение было восстановлено.

**63**

Плата за обучение в старших классах средних школ, училищах и вузах СССР была отменена в 1956 году.

**64**

Дойчлянд, Дойчлянд юбер аллес! – Германия, Германия превыше всего!  
(немец.)

**65**

БГТО – Будь Готов к Труду и Обороне – комплекс спортивных нормативов в общеобразовательных, профсоюзных и спортивных организациях Советского Союза. Программа спортивной подготовки входила в систему патриотического воспитания молодежи и поддерживалась государством. Существовала с 1931 по 1991 г.

## 66

Выражение «с денежкой в лапу» теперь, к сожалению, имеет совсем другой смысл. А раньше оно касалось домашнего строительства: стены изб возводились с вырубками в концах бревен, замыкаемых поперечными бревнами, – это и значило «в лапу». По поверью, с надеждой на достаток в доме в лапах углов оставляли медные копейки.